

Готфрид  
Келлер

\*

НОВЕЛЛЫ

\*

# Тотаррид Келлер

\* Н О В Е Л Л Ы \*

ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Ленинградское отделение

Ленинград

1970

**И (Нем),  
К-34**

**Вступительная статья  
А. Левинсона**

**Художник  
А. Гасников**

**7-3-4**  

---

**202-69**

## НОВЕЛЛЫ ГОТФРИДА КЕЛЛЕРА

Швейцарская литература на немецком языке долгое время рассматривалась как часть немецкой литературы. Эта традиция восходит к эпохе политической раздробленности Германии, когда области и земли собственно германской территории были связаны между собой не намного более прочно, чем с соседней Швейцарией. Поэтому в старых учебниках немецкой литературы не делалось обычно различий между швейцарцами, писавшими по-немецки, и коренными немцами. Между тем исторически Швейцария развивалась иначе, чем немецкие княжества. Феодальная аристократия играла в ней меньшую роль, чем в монархической Германии, в ее литературе обычно идеализировался «простой» человек, а классовые противоречия эпохи капитализма сглаживались благодаря сохранившимся элементам старого, патриархального уклада жизни.

Поэтому, говоря о творчестве Келлера, следует, с одной стороны, учитывать, что мы имеем дело со швейцарским писателем, а с другой, не забывать о тесных литературных связях немецкой Швейцарии с идеологической жизнью Германии.

Готфрид Келлер родился 19 июля 1819 года в Цюрихе, старинном приозерном городе, который в ту пору насчитывал не более десяти тысяч жителей. Тем не менее эта маленькая городская община с аристократическим управлением уже тогда слыва центром интеллектуальной жизни немецкой Швейцарии.

Келлера не привлекала жизнь ремесленника или государственного служащего. Романтическая эпоха возвеличила сверх всякой меры свободное творчество художника. И Келлер, открыв у себя способности к пейзажной живописи, решает посвятить свою жизнь этому искусству. В Цюрихе ему удалось изучить лишь первоначальные основы своей профессии. Настоящих учителей можно



было найти в то время только в Мюнхене, где баварский король покровительствовал искусствам и где собрались многие известные живописцы Германии. Здесь Келлер и пытается пробиться к славе, но, претерпев множество лишений, пройдя годы суровой жизненной борьбы и истощив скудные ресурсы семейного бюджета, он вынужден был вернуться на родину, так и не добившись признания. Впоследствии в романе «Зеленый Генрих» он подробно описывает сначала свои детство и юность, а затем и годы мюнхенского периода (1840—1842).

Между тем на родине Келлера в сороковых годах развернулись бурные политические события. Во многих передовых кантонах к этому времени было низвергнуто господство родовой аристократии и гильдейского патрициата. В порядок дня стал вопрос о новой конституции для всей Швейцарии. Клерикалы, стоявшие во главе «лесных» кантонов — Ури, Швиц, Унтервальден и других, — образовали в 1843 году особый сепаративный союз «Зондербунд». Они говорили о разделе Швейцарии и демонстративно пригласили в Люцерн иезуитов, пребывание которых в стране было запрещено. В 1847 году дело дошло до военного столкновения. При этом генерал Дюфур в один месяц наголову разбил армию Зондербунда. Вожди клерикалов вынуждены были бежать в Италию. Швейцария получила новую конституцию, став из конфедерации федерацией, из союза государств — единым союзным государством.

В предгрозовой обстановке сороковых годов вышла в свет первая книга стихов Готфрида Келлера «Песни самоучки» (1846). Тут были пламенные инвективы против иезуитов, насмешки над реакционерами и слабодушными отступниками от общего дела («Марш отступников»), гимны швейцарской демократии. Стихотворение «К моей отчизне», положенное на музыку другом Келлера Баумгартнером, стало впоследствии официальным гимном швейцарской республики. Стихи Келлера примыкали к боевой «предмартовской» политической поэзии Германии, к лирике Гервега и Фрейлиграта, которые в позднейшие годы, живя в Цюрихе, подружились с Келлером.

Победа радикалов в Швейцарии отразилась и на личной судьбе писателя. В 1848 году друзья Келлера выхлопотали ему у нового правительства стипендию для продолжения образования в университетах Германии. Келлер едет в Гейдельберг, где слушает публичные лекции Людвиг Фейербаха «О сущности религии». Келлер и раньше с недоверием относился к мистике и ненавидел клерикалов. Лекции Фейербаха и личное общение с этим философом окончательно выработали у него материалистические фило

софские взгляды. В 1850 году Келлер переезжает в Берлин, где в последующие пять лет (он вернулся в Цюрих лишь в декабре 1855 года) окончательно созревает его литературное дарование. Он пишет в эти годы роман «Зеленый Генрих» (1854—1855) и выпускает первый том повелл «Люди из Зельдвиль» (1856).

Этот период жизни окончательно формирует и политическое убеждения Келлера. Он выехал из Швейцарии исполненный ликования и надежд, весь под впечатлением победы радикалов, а в Германии внезапно попал в совсем иную обстановку. Сцены разгрома баденского восстания, которые он застал весной 1849 года в Гейдельберге, гнетущая атмосфера «душевного штиля» в Берлине лишь усилили в нем ожесточение против сил реакции. Он чувствовал себя свободным швейцарцем, радикалом и патриотом и, наблюдая всеобщее духовное оскудение и измелъчание, мечтал о том времени, когда и в Германии рухнут тропы деспотов.

Эти настроения владели им при создании романа «Зеленый Генрих». Келлер обращается здесь к босвым традициям буржуазного Просвещения, к жанру воспитательного романа, начало которому положил Гёте в «Годах учения Вильгельма Мейстера».

Задачей Келлера было показать духовное созревание швейцарского юноши из народа, который вырастает патриотом и демократом. Воспитательный роман давал возможность проследить, как высшие условия жизни формируют внутренний мир героя. Гёте, говоря о Шекспире, сравнивал его драмы с хрустальными, прозрачными часами, где видно не только расположение стрелок, но и все движение внутреннего механизма, приводящего эти стрелки в движение. Именно так и строится реалистический воспитательный роман Келлера. При этом автор, сохраняя идейную ясность своего замысла, пишет не назидательную притчу, которая должна подходящими примерами иллюстрировать заранее задуманную мысль, а реалистическое произведение, черпающее свой материал из закономерностей самой реальности. Он отправляется от фактов собственной биографии, и духовное развитие его героя, Генриха Лее, во многом повторяет жизненный путь самого Келлера. Но, с другой стороны, он и не копирует натуралистически истину факта, предпочитая ей истину обобщения. События собственного детства и юности отбираются и осмысляются Келлером пятидесятих годов, когда он, умудренный истекшим временем, видит, как эти события отражались на его духовном развитии. И не случайно в начале романа возникает идеализированный образ отца героя, активного гражданского деятеля, вышедшего из самой гущи народа. Это тот маяк, который освещает

Гебриху его путь в жизни. «Народная почва» постоянно утверждается в романе как источник морального здоровья пацни.

Гебрих обнаруживает в себе способности к живописи и решает стать художником. Путь юноши в искусство стал в немецкой литературе традиционной темой романтической школы. Но Келлер показывает нам не художника милостью божьей, а неудачника в искусстве. Искусство играет в романе ту же роль, что и в «Годах учения Вильгельма Мейстера», — это лишь этап в духовном формировании гражданина.

Испытав все невзгоды, на которые осужден бедняк в большом равнодушном городе, Гебрих разочаровывается в своих способностях и бросает живопись ради практической деятельности, ради участия в политической борьбе на стороне демократии. Романтики бы сочли этот отход от искусства профанацией, но Келлер считал, что жизнь бесконечно богаче художественного творчества и что в обычной практической деятельности у человека больше возможности определить свое призвание, чем в этой сравнительно узкой сфере. Сам Келлер дважды отступал от избранного им искусства — в сороковых годах, когда он отошел от живописи, и в 1861 году, в Цюрихе, когда он определился на должность первого секретаря цюрихского каптона и с величайшей тщательностью нес свои обязанности государственного чиновника. В этот период на протяжении долгих лет из-под его пера выходили лишь государственные бумаги и протоколы заседаний правительственного совета. И только в семидесятые годы он возвращается к литературной деятельности.

Если сороковые годы были связаны в его творчестве с жанром политической лирики, а пятидесятые — с появлением воспитательного романа и первого сборника новелл, то новый период в творчестве Келлера был связан преимущественно с жанром новеллы. Один за другим выходят его новые сборники: «Семь легенд» (1872); новое издание «Людей из Зельдвилы» (1874), где к пяти новеллам первого тома были добавлены еще пять второго тома; «Цюрихские новеллы» (1878); «Изречение» (1881). В восьмидесятые годы Келлер заново пересматривает свое творчество и как бы подводит ему итоги. Он издает антологию своих стихотворений (1883), вторую, переработанную редакцию «Зеленого Гебриха» (1879—1880). В 1886 году выходит десяти томное собрание его сочинений. В 1889 году Швейцария празднует семидесятилетний юбилей писателя.

Смерть писателя наступила 15 июля 1890 года.

Строго говоря, уже в романе «Зеленый Гебрих» попадают вставные новеллы и эпизоды повеллистического характера, но по-

настоящему Келлер-новеллист раскрылся в «Людах из Зельдвиль», первом и, пожалуй, лучшем своем сборнике, два тома которого разделяет во времени пауза в восемнадцать лет.

В романе мы видим торжество активного реального мира над иллюзорным, в первом томе «Людей из Зельдвиль» эта линия также нашла свое воплощение. Но только акцент переместился с положительного примера на отрицательный. Иллюзорной, ирреальной жизнью живет целый город — Зельдвила. Некогда, в середине века, зельдвильцы с их раблезианским жизнелюбием противостояли мрачной кровожадности соседнего Рюхенштейпа, где фанатики наслаждались пытками и казнями ни в чем не повинных людей (новелла «Дитеген»), но впоследствии жизнелюбие зельдвильцев выродилось в пустое легкомыслие и полное неумение вести свои дела. Община богата, но сами зельдвильцы нищенски бедны, и никто не знает, на что они, собственно, живут. Многие из них делают вид, что трудятся, но все валится у них из рук, все они банкроты и тунеядцы, что, впрочем, никак не влияет на их веселое самочувствие. Кроме того, они завязанные политиканы, но и в политике их интересует лишь суетный спортивный элемент, средства, а не цели. Они с легкостью меняют свои убеждения и, подобно тарасконцам Доде, всегда настроены против «существующего порядка». Такова рамка этих повелл — единное место действия, город, неблагоприятный для реальной практики, как частной, так и общественной, как бы отставший от исторического развития и в своей архаичности являющий превосходную почву для анекдотов. Зельдвильцы вовсе несвободны от пороков своего времени, они такие же стяжатели, как и жители других городов, но они неумелые стяжатели, и поэтому их попытки обогатиться не сопровождаются успехом. Жизнь в этом городе создает особый склад характера, который, при некотором усилии, можно бы и исправить. В новелле «Панкрау Бука» типичный зельдвильец, проводивший свои дни в постоянной праздности, уехав из Зельдвиль, становится на чужбине дельным офицером и возвращается на родину, утратив зельдвильскую непрактичность. В другой новелле, «Фрау Регель Амрайн и ее младший», зельдвильцу-мужу, сбежавшему после банкротства за границу, противопоставлена его жена (Келлер подчеркивает, что она родом не из Зельдвиль), которая храбро принимает на себя руководство обанкротившимся предприятием, выпутывается из долгов и воспитывает сына достойным человеком. Характерно при этом, что мать заставляет сына участвовать в политической жизни города и что он становится не только опытным дельцом, но и образцовым гражданином. Эта повелла, так же как и роман

«Зеленый Генрих», — просветительский гимн «правильному воспитанию».

Но среди новелл сборника есть и противоположный пример, когда приезжие, «не-зельдвильцы», оказываются глупыми и непрактичными людьми, и в этом случае коренные жители города животы надрыдают от смеха, глядя на их неудачи.

В новелле «Три праведных гребенщика» саксонец Иобст ищет случая стать владельцем гребеночной мастерской в Зельдвиле. В отличие от влюбленных в плотские наслаждения зельдвильцев, он аскет и накопитель. В середине века аскетизм слыл добродетелью, приметой праведной души. В новое время для успеха в жизни требуются иные качества. Даже жалкая гребеночная мастерская может стать объектом ожесточенной борьбы. Келлер как бы спрашивает: «А что будет, если таких мучеников бережливости окажется не один, а больше?» — и тут же иронически «утраивает» своего героя, заставляя его вступить в борьбу с двумя во всем похожими на него конкурентами. Комизм усиливается тем, что приобрести мастерскую можно, только воспользовавшись приданным зашедшей в девицах Цюз Бюндлин, и «праведники» должны выступать в не свойственном им амплуа вздыхающего влюбленного. Да к тому же еще им приходится проявить и спортивные таланты, ибо хозяин мастерской решил оставить у себя того из них, кто быстрее других добежит к нему из-за городских ворот. Соревнование праведников в искусстве ухаживать за дамой и в беге на скорость полно комических эффектов, но за этим комизмом стоит серьезная мысль об уродующем человека стяжательстве, об аморальности «праведничества» ради накопления. В жестокой схватке, переходящей в конце новеллы в физическую потасовку, жадность гребенщиков утрачивает свою благопристойную внешность. Правила честного соревнования нарушаются. Победу одерживает наиболее бессовестный, тот, кто лучше других сумел использовать ситуацию. Шваб Дитрих догадался подпоить и соблазнить Цюз Бюндлин и, завладев ее приданным, получил вожделенную гребеночную мастерскую. Справедливости ради Келлер в концовке сообщает, что, став видным человеком в городе, Дитрих не добился полного счастья, ибо злая жена постоянно отравляет ему сладость его победы. Но тем не менее в соревновании трех гребенщиков победил наименее добродетельный и наиболее предприимчивый.

Таким образом, пассивности и непрактичности противопоставляет у Келлера, с одной стороны, высокоморальная, «правильная» активность фрау Регель Амрайн, с другой же стороны — аморальная, «плутовская» активность, сохранившая в какой-то мере традиции

швапка или поведлы эпохи Возрождения, где ловкий пройдоха постоянно одерживает верх, играя на чужом простодушии. Особенно силен этот мотив плутовства в «Сказке про котика Шпигеля».

Традиция ранней новеллы включает в себя известное сочувствие плуту — он, конечно, действует безразлично, но ведь и его противник не ангел. В борьбе двух аморальных сил сочувствие на стороне искуснейшего. Котик Шпигель, живший у заботливой хозяйки, вырос типичным тунелдцем-зельдвильцем, неприспособленным к жизни и не умеющим о себе заботиться. После смерти хозяйки он голодает и едва не становится жертвой хитрого чернокнижника Пинайса, который пользуется его беспомощным положением и навязывает ему кабальный договор. Пинайс обязуется кормить кота, пока Шпигель не обрстет салом, а затем Шпигель будет убит и колдун использует его сало для своей черной магии. Но тут оказывается, что под влиянием смертельной опасности утливый и воспитанный Шпигель обрстет незаурядную проицательность и, играя на жадности Пинайса, сам околичивает чародея. Теперь уже Шпигель играет роль плута, а злобный маг оказывается потерпевшим. При этом традиционный мотив плутовства сочетается с изощренной техникой новеллы XIX века. Рассказанная Шпигелем перед самой казнью история о захороненном кладе восходит еще к «Рейнеке-лису», равно как и сам образ животного-пройдохи, выходящего сухим из воды. Но сколько в рассказе о Шпигеле реалистических примет, выдающих его человеческое происхождение, сколько рассуждений и намеков, адресованных современному образованному читателю, воспринимающему сказочную форму как иносказание! Когда голодный кот в доме у чародея жрет мышей и дроздов, это естественно. Но когда он рассуждает над дроздом в духе героя «Шагреновой кожи» о том, что каждое удовлетворенное желание сокращает его жизнь, что каждый съеденный им кусок способствует наращиванию сала и приближает кота к гибели, это уже весьма далеко от швапка.

Когда Пинайс с пожом в руке требует у кота его сало, это, конечно, иронически обыгранный образ шекспировского Шейлока, требовавшего свой фунт мяса у купца Антонио. А когда «дикий полет страстей» — битва с соперниками и изнурительные любовные игры с белоснежной подружкой — спасает кота от потолстения и тем отодвигает роковую расплату, это опять-таки пародийно обыгрывается мелодраматический тезис: любовь побеждает смерть.

Такая прихотливая игра со знакомыми литературными образами и мотивами, сочетание возвышенных и серьезных мыслей



с комической формой неизменного «животного» мира сближает «Котика Шпигеля» уже не со шванком, а с новеллами Э. Т. А. Гофмана с их романтической иронией. Образ же философствующего кота непосредственно примыкает к известному роману Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра». Однако, в отличие от Гофмана с его превознесением художника и культом искусства, Келлер стремится воспитывать у своих читателей вкус к активной практической деятельности.

Вместе с тем эта деятельность не должна причинять ущерб другим людям. Келлер — утопист. Он считает, что возможна буржуазная активность на моральной основе. Поэтому он наказывает тех, кто стремится обогатиться бесчестным путем, кто ищет случая утопить своего ближнего или, выражаясь метафорой Келлера, «вытопить его сало». Так злодей Пинайс, заполучив свои вожделенные десять тысяч золотых гульденов, одновременно приобретает и жену-ведьму, которая превращает его жизнь в ад. (В ослабленном виде эта же кара постигает и расчетливого шваба Дитриха.) Но особенно жестоко наказания Келлером два крестьянина, Манц и Марти, из новеллы «Сельские Ромео и Джульетта». Они виновны в том, что запахивают лежащую между их землями полосу пашни, отнимая ее у нищего бродяги-скрипача, который без их свидетельских показаний не может подтвердить свое право на владение. Этот шаг становится роковым в их жизни. Сама эта полоса и служит орудием возмездия. Вокруг владения клочком земли между соседями разгорается длительная тяжба. Манц и Марти разоряют друг друга, впадают в нищету, доходят до безумия и преступлений. Этому одиночню двух стариков Келлер противопоставил светлую и бескорыстную любовь их детей Сали и Френхен, которых он в названии новеллы сравнивает с Ромео и Джульеттой. На самом деле, при всей силе и яркости их чувств, эти двое влюбленных далеки от героев Шекспира. У веронских любовников их страсть была безоглядна и абсолютна, они знать ничего не хотели о законах и условностях своей эпохи. Сали и Френхен — дети швейцарских крестьян — с молоком матери впитали особое представление о счастье. У них есть свое «чувство чести» — они отказываются от «свободной любви», какой живут Черный скрипач и его друзья. Им нужна «честная» свадьба, устойчивое положение в обществе, и так как это счастье им недоступно, они бунтуют против реальности. Они подменяют правду иллюзией, игрой, и эта игра составляет лучшую часть новеллы. Действие выглядит неслыханно ускоренным. В один подаренный судьбой день Сали и Френхен успевают насладиться приветствиями, какими обычно встречают молодых, обмениваются подарками и

кольцами; им играют шутовскую свадьбу с выпивкой, танцами и пожеланиями счастья, устраивают буйный свадебный кортеж. Они находят брачную постель на барке с сном и, завершив свой единственный счастливый день, добровольно принимают смерть. В этой небольшой повелле представлены и болезнь и лекарство, силы алчности и эгоизма, разъедающие здоровое сознание народа, и его нравственное начало, героически противостоящее стихии стяжательства. Любовь, бескорыстная и самоотверженная, выводит человека из мира расчетливости и всеобщего недоверия, жестокой схватки встречных интересов.

Келлер пишет свои повеллы, имея в виду их воспитательный эффект. Он призывает читателя быть хорошим гражданином и честным человеком. Но одних нравственных достоинств, по мнению Келлера, мало для успеха — нужны еще знания, таланты, практическая сноровка. В повелле «Знамя Семи Стойких» он показывает, как талантливый юноша Карл Гедигер именно этими качествами снимает преграды имущественного неравенства и завоевывает любимую девушку, дочь богача. Но здесь любовь не единственная объединяющая сила. Преодолению разобщенности людей способствует также единство убеждений, единство целей и, прежде всего, патриотическое единство. В начале повеллы богач Фримен, отец Гермины, не хочет отдавать свою дочь за бедняка, а портной Гедигер, гордый демократ, не хочет, чтобы его сын Карл женился на дочери богача. Социальное неравенство, казалось бы, должно разлучить влюбленных. Но и Фримен и Гедигер — участники радикального патриотического кружка Семи Стойких. У них общие демократические идеалы. Они вместе готовятся к празднику годовщины революции 1848 года, в которой они принимали активное участие. И вот во время праздничного воодушевления и решается судьба Карла и Гермины. Старики ветераны, придя на общенародный праздник, теряются, не умеют произнести речь, они готовы вовсе отказаться от своего участия в торжестве. Но их выручает Карл, который произносит отличную речь, славящую старую гвардию, и выигрывает приз в стрелковом соревновании. Старики гордятся им, и брак Карла с Герминой устраивается сам собой. Келлер написал эту повеллу в 1860 году. Ветераны революции уже тогда казались чем-то анахроничным. Дальнейший же рост капиталистических отношений все дальше отодвигал в прошлое энтузиазм демократов и выдвигал на первый план эгоизм дельцов и накопителей. Келлер сам ощущал это и в одном письме семидесятих годов писал, что теперь, в новых условиях разобщенности народа, ему бы уже не написать «Знамени Семи Стойких». Во всяком случае, его повеллы семидесятих

годов хоть и сохраняют прежний моральный пафос, но акцент этой проповеди смещается постепенно с общегражданских проблем на проблемы личного счастья, в особенности счастья в любви и семейной жизни.

Келлер начинает этот этап своего творчества с полемического сборника «Семь легенд», где по-новому, по-фейербаховски, переписывает старинные христианские легенды. Не в небесах, а на земле должен человек искать счастье; не в отказе от плотских радостей, а в любви и счастливом супружестве находит он удовлетворение. В повеллах этого сборника («нормальная», граждански-активная жизнь побеждает аскетизм христианского праведничества, и зовы плоти пересиливают мудрствования рассудка. В повелле «Святой распутник Виталий» монах стремится наставлять на путь праведный развратниц и направлять их к благочестивой жизни в монастыре. Но получается так, что в одном случае он сам становится убийцей, вором и святотатцем, так и не исправив блудницу, а в другом принята им за блудницу добродетельная девушка добивается его любви и хочет выйти за него замуж. Ее трезвый здравый смысл побеждает его извращенную, надуманную схему. Вместо того чтобы «исправить» ее, он сам уходит из монастыря.

Таким образом, и в семьдесятые годы Келлер остается материалистом и антиклерикалом. Но окружающая писателя действительность изменилась к этому времени. Патриархальной Швейцарии приходил конец. Если в шестидесятые годы писатель противопоставил немецкой реакции швейцарскую демократию, то в семьдесятые годы не только объединенная бисмарковскими методами Германия, но и сама Швейцария все больше сближались в рамках капиталистического пути развития. В предисловии ко второму тому «Людей из Зельдвилы» Келлер с грустью отмечает, что Зельдвила утратила свое своеобразие, она стала обычным городом. Иллюзорная деловая практика зельдвильцев переросла свои анекдотические масштабы. В новое время, с его гонимством, игрой на бирже, спекуляциями на акциях, зельдвильцы обрели удобную форму деятельности. Не обременяя себя трудом, они стали в новом обществе нужными людьми и ничем теперь не отличаются от жителей прочих городов. Келлер считает, что нужно собирать сохранившиеся еще анекдотические истории из ее прошлого. К прошлому же обращается он и в «Цюрихских повеллах», среди которых наиболее выразительной была новелла «Ландфогт из Грейфензе», посвященная проблемам любви и личной жизни. Это, по существу, целый цикл новелл, к которым добавлен еще ряд «судебных» анекдотов и даже историческая хроника. Ге-

рой этого произведения — реальное лицо; Соломон Ландольт (1741—1818) — действительно был ландфогтом в Грейфензе, неподалеку от Цюриха. Неясно, в какой мере рассказ Келлера о его любовных неудачах соответствует биографии почтенного цюрихского патриция, но несомненно, что образ неудачника в любви носил автобиографический характер. Келлер не знал успеха в любви, хотя неоднократно влюблялся в разных женщин. Подобно Соломону Ландольту, он так и остался навсегда холостяком.

В повелле «Ландфогт из Грейфензе» у ее героя возникла причудливая идея собрать в один день у себя в замке пять «ошибок» его прошлой жизни — пять женщин, которые по разным причинам не вышли за него замуж. Так возникает обрамляющая повелля, внутри же проходит пять вставных повелл о пяти отказах, каждый из которых продиктован каким-нибудь важным недостатком у соответствующей героини: у одной это бездушная расчетливость, у другой — жадность к деньгам, у третьей — узость крохотного, «витичьего» душевного мирка, у четвертой — любовь к другому претенденту, и только у одной из девушек, у Фигуры Лей, — опасение за самого Ландольта в связи с ее дурной наследственностью и грозящей ей душевной болезнью. Смысл повеллы в том, что то, что Ландольт воспринимал ранее как несчастье, оказалось, по существу, его удачей — он избег союзов, которые могли бы искалечить ему жизнь, тогда как в своем холостом состоянии он счастлив и, как убедились его гости, живет в свое удовольствие.

Любовь, согласно келлеровской повелле, должна преодолевать эгоизм и своекорыстие, ей должны быть чужды тщеславие и мелочное самоутверждение. Но реальная жизнь не часто дарит человеку подобное идеальное чувство. И лучше вовсе не знать брачных уз, чем совершить ошибку, в которой будешь затем раскаиваться всю жизнь. Такой вывод был, конечно, крайностью, и сам Келлер, как бы в противовес «Ландфогту из Грейфензе», выпустил затем сборник повелл «Изречение», где также собраны исключительно любовные повеллы, но общий смысл в том, что поиски идеальной невесты в конце концов увенчиваются успехом.

Повеллы Келлера — это целая галерея образов, целый мир, своеобразный и пестрый. Его проблематика серьезна, он пишет о важнейших вопросах жизни своей страны и о таких, которые волновали не одну лишь Швейцарию. Он ненавидел реакцию и видел оружие против нее в буржуазной демократии. Но он видел и аморализм буржуазного общества, хотя и недооценивал

его опасность. Ему казалось, что нравственное воспитание читателя может поставить заслон на пути индивидуализма и стяжательства. Это было утопично, но заблуждения Келлера объяснимы специфической обстановкой в Швейцарии, неразвитостью, непроисненностью в этой стране капиталистических форм жизни. Его иллюзии были сродни иллюзиям просветительской литературы в более развитых странах. Особенность его творчества состоит в том, что просветительская борьба против задержавшихся феодальных порядков перекрещивается у него с демократическим недовольством гуманиста теми сторонами жизни, которые вытекали из буржуазного развития. С тех пор прошло немало лет, и история дала ответ на то, что Келлеру казалось неразрешимой задачей.

*А. Левинсон*

\* Н О В Е Л Л Ы \*

СЕЛЬСКИЕ  
РОМЕО  
И ДЖУЛЬЕТТА

ТРИ ПРАВЕДНЫХ  
ГРЕБЕНЩИКА

СКАЗКА  
ПРО  
КОТИКА ШПИГЕЛЯ

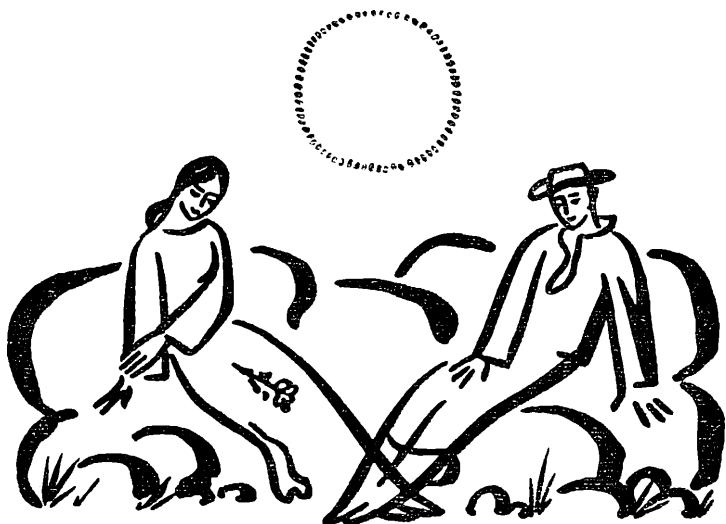
ЛАНДФОГТ  
ИЗ ГРЕЙФЕНЗЕ

СВЯТОЙ  
РАСПУТНИК  
ВИТАЛИЙ









## СЕЛЬСКИЕ РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА



тот рассказ был бы ненужным подражанием, если бы он не основывался на истинном происшествии и не показывал, как далеко в глубь человеческой жизни уходят корни всех сюжетов, которые лежат в основе великих произведений прошлого. Таких сюжетов не много, но они вновь и вновь оживают, всякий раз в ином обличье, и тогда рука невольно тянется их запечатлеть.

Над живописной рекой, которая протекает недалеко от Зельдвилы, в полудне ходьбы от нее, поднимается обрывчатая, хорошо возделанная возвышенность, сбегаящая к пло-

дородной равнине. У отдаленного ее подножия расположена деревня в несколько крупных крестьянских дворов, а по отлогому склону долгие годы, словно три гигантские ленты, лежали друг подле дружки три большие прекрасные пашни.

В одно солнечное сентябрьское утро два крестьянина пахали на двух крайних полосах. Средняя, по-видимому, много лет оставалась в полном запустении, ибо она была покрыта камнями и разросшимся сорняком, а над ней безмятежно жужжало бесчисленное множество крылатых насекомых. Что касается крестьян, шагавших с обеих сторон за своими плугами, то это были высокие, крепкого сложения люди лет сорока, в которых с первого взгляда можно было признать хорошо обеспеченных, зажиточных хозяев. На них были короткие, по колено, штаны из прочного тика, каждая складка которых лежала неподвижно, словно высеченная из камня. Когда они, натываясь на препятствие, крепче налегали на плуги, грубые рукава их рубашек колебались от легкого сотрясения, а гладко выбритые лица оставались спокойными и внимательными, и оба они, чуть шурясь от солнца, смотрели вперед, прикидывая на глаз длину борозды или оглядываясь время от времени на доносившийся издали шум, который нарушал тишину полей. Медленно, с какой-то естественной грацией ступали они шаг за шагом, не произнося ни слова, разве только давая указания батраку, который погонял рослых лошадей. Издалека они казались чрезвычайно похожими друг на друга, ибо таков был исконный тип крестьянина в здешних местах, и на первый взгляд их можно было бы различить только по тому признаку, что у одного белый колпак на голове сидел острым концом вперед, у другого же свисал на затылок. Но и этот признак менялся: пахали они в противоположных направлениях, и когда, встречаясь на вершине холма, проходили один мимо другого, у того, кто шел против свежего восточного ветра, колпак сбивался назад, а у другого, которому вестер дул в спину, он сдвигался наперед. Бывало и так, что сверкавшие на солнце колпаки сидели прямо, колеблясь и вздымаясь к небу, как языки белого пламени. Так они пахали в полном спокойствии, и приятно было смотреть в тиши полей, под золотом сентябрьского солнца, как они, встречаясь наверху, снова расходились безмолвно и медленно, все более удаляясь друг от друга, пока, словно два заходящих светила, не исчезали за округлостью холма, чтобы

спустя некоторое время появиться вновь. Когда они находили на своих бороздах камни, то небрежным и сильным движением кидали их на середину запущенной пашни, хотя это случалось редко, так как туда уже свалили все камни, какие только попадались на соседних полосах.

Так прошла часть долгого утра, пока со стороны деревни не показалась едва заметная издалека красивая повозочка, — она только начинала взбираться по отлогому склону. В этой выкрашенной в зеленый цвет детской колясочке дети обоих пахарей — мальчуган и девчурка — везли завтрак своим отцам. Для каждого тут был припасен вкусный хлеб, завернутый в салфетку, кувшин вина со стаканами и еще какой-нибудь лакомый кусочек, посылаемый заботливой крестьянкой трудолюбивому хозяину. Кроме того, в коляске были свалены в кучу надкусанные яблоки и груши самой причудливой формы, подобранные детьми на дороге; и среди хлебов, словно барышня, которая благосклонно разрешает себя везти, восседала совсем голая кукла с одной только ногой и замусоленным личиком. После нескольких заминок и остановок коляска наконец добралась до вершины холма и приютилась под тенью молодых лип, на краю поля, и теперь уже можно было разглядеть обоих возниц: мальчика семи лет и девочку — пяти, здоровых, веселых и ничем не примечательных, разве что у обоих были очень красивые глаза, а у девочки — смуглый цвет лица и курчавые волосы, придававшие личику пылкое и прямодушное выражение. Пахари тоже снова добрались до вершины пригорка и, задав лошадям клевера, оставили плуги на полпути, на недоделанной борозде, а сами, как добрые соседи, принялись за общий завтрак и только тогда поздоровались, так как в этот день они еще не обмолвились ни словом.

Когда они с удовольствием съели свой завтрак, благодушно поделившись с детьми, которые ждали, не трогаясь с места, пока отцы ели и пили, взоры их стали блуждать по окрестностям ближним и дальним и задержались на городке, лежавшем между гор, дымясь и поблескивая, ибо от обильной стряпни, которой ежедневно занимались зельдвильцы, над их кровлями обычно подымались видимые еще издали серебряные облака, весело плывшие над горами.

— Эти зельдвильские бездельники опять стряпают обед! — воскликнул Манц, один из крестьян, а Марти, другой, ответил:

— Вчера один из них заходил ко мне насчет пашни.

— Из окружного совета? Он был и у меня.

— Вот как? И тоже, надо думать, предлагал тебе пользоваться землей, а денежки за аренду платить этим господам?

— Да, пока не решат, чья это пашня и что можно с ней сделать. Но я отказался поднимать этот пустырь ради кого-то другого и посоветовал им продать пашню и попридерживать выручку, пока найдется владелец, чего, вероятно, никогда не случится; ведь то, что попало однажды в канцелярию Зельдвилы, долгонько задерживается там. Да, кроме того, и разобраться в этом деле мудрено. А эти бездельники только того и ждут, чтобы поживиться арендной платой, хотя, впрочем, и выручка от продажи могла бы им пригодиться. Но мы, разумеется, не подумаем набивать цену, а уж если купим, то будем знать, что мы получили и кому принадлежит эта земля.

— Вот-вот, так я и сказал этому франту.

Они помолчали немного, затем Манц снова заговорил:

— А все же обидно, что зря пропадает хорошая земля, просто глаза не глядели бы, а тянется это уже лет двадцать, и ни одна живая душа не займется этим; ведь здесь, в деревне, нет никого, кто заявил бы права на эту пашню, и никто не знает, куда девались дети сгинувшего трубача.

— Гм, — сказал Марти, — в том-то и дело! Когда я смотрю на этого черного скрипача, который только и знает, что с цыганами путаться да на скрипке пиликать на деревенских гулянках, то готов поклясться, что он внук трубача; конечно, ему невдомек, что у него есть пашня. Но что он стал бы с ней делать? Пьянствовал бы с месяц, а потом опять за старое! К тому же никто и не займется об этом, раз толком не известно ничего.

— Да, тут можно дел натворить, — согласился Манц. — И без того нам нельзя добиться, чтобы этого скрипача не оставляли у нас в общине на постоянное жительство, — ведь нам хотят посадить на шею этого оборванца. Родители у него были бездомные, так пусть и сам остается бездомным и играет на скрипке цыганам. Откуда, скажи на милость, нам знать, внук он трубачу или нет? Что до меня, то хоть и чудится мне, что в этом чернявом лице я узнаю старика, все же, я говорю, человек может ошибаться, и один какой-нибудь клочок бумаги, свидетельство о крещении, скорее

успокоил бы мою совесть, чем сходство с десятью такими грешниками, как он сам.

— Ну, разумеется, — ответил Манц. — Правда, скрипач говорит, что не его вина, если его не крестили. Переносную, что ли, купель нам устроить и носить ее по лесам? Нет, она прочно стоит на месте в церкви, переносят только носилки для покойников, что висят снаружи у церковной стены. Наша деревня и без того переполнена, скоро уже и второй учитель понадобится.

На этом трапеза и беседа крестьян закончились, они поднялись, чтобы доделать работу, положенную на сегодня, на утро. А дети, порешившие между собой пойти домой вместе с отцами, поставили колясочку под липами и отправились побродить; заброшенная пашня со своими сорняками, кустами и кучами камней представлялась им необычайной, удивительной чашей. Взявшись за руки, они ходили по этой зеленой чаше, забавляясь тем, что цеплялись сплетенными руками за высокие кусты чертополоха; потом уселись в тени одного из кустов, и девочка стала наряжать куклу, смастерив ей из крупных листьев подорожника красивое зеленое платье с зубчатой каймой; одинокий, еще не облетевший цветок мака был надет, как чепчик, на голову куклы и закреплен травинкой, и крошка стала выглядеть как фея, особенно после того, как она еще украсилась ожерельем и пояском из красных ягодок. Затем ее посадили наверх, на стебли чертополоха, и несколько мгновений оба не отрывали от нее глаз, пока мальчик, вдоволь наглядевшись, не сшиб ее камнем с вершины куста. Наряд ее пришел в беспорядок, и девочка поспешно сняла с нее все, чтобы заново приодеть; но как только кукла опять оказалась голой, в одном только красном чепчике на голове, озорник вырвал у подружки из рук игрушку и подкинул ее высоко в воздух. Девочка с плачем бросилась за ней, мальчик, однако, успел подхватить куклу, снова подбросил ее и долго еще дразнил подружку, которая тщетно пыталась поймать игрушку. Но порханная кукла не вышла из его рук невредимой: на колене ее единственной ноги образовалась дырочка, из которой посыпались отруби. Как только мучитель заметил это, он присмирел и, разинув рот, стал усердно ковырять дырку ногтями, чтобы посмотреть, откуда берутся отруби. Это затишье показалось крайне подозрительным бедной девочке, она побежала и с ужасом обнаружила его злую проделку.



— Вот, смотри! — воскликнул он, размахивая перед самым носом подружки кукольной ногой, так что отруби лети ей прямо в лицо, а когда она с мольбой и плачем протянула руку за куклой, он снова удрал и угомонился только тогда, когда пустая, тощая нога повисла, как жалкая кожуря. Затем он швырнул изувеченную игрушку и напустил на себя донельзя наглый и равнодушный вид, а малютка с плачем бросилась к кукле и завернула ее в свой фартук. Но вот она опять развернула ее и стала с жалостью разглядывать бедняжку; увидев ногу, она снова громко заплакала, ибо нога болталась на туловище, совсем как хвостик у саламандры. Девочка плакала так неудержимо, что преступнику стало наконец как-то не по себе, и он в страхе и раскаянии стоял возле нее; заметив это, она внезапно перестала плакать и несколько раз ударила его куклой, а он притворился, будто ему больно, и так естественно закричал «ай!», что она успокоилась и прищлась уже вместе с ним разрушать и разбирать куклу на части. Они протыкали в теле мученицы дырку за дыркой, так что отовсюду посыпались отруби, которые они тщательно собрали в кучку на плоском камне, перемешали и стали внимательно рассматривать. Единственное, что уцелело от куклы, была голова, и на ней главным образом сосредоточилось внимание детей; они тщательно отделили ее от выпотрошенного туловища и с любопытством заглянули в ее пустое нутро. Когда они увидели эту испугавшую их пустоту и тут же глянули на отруби, самой первой и естественной мыслью их было набить голову отрубями, и пальчики детей заработали наперебой, так что впервые в жизни голова куклы оказалась наполненной каким-то содержимым. Однако мальчик, по-видимому, решил, что в этом содержимом не хватает жизни; он вдруг поймал большую сизую муху и, держа жужжащее насекомое между ладонями, предложил девочке высыпать отруби из головы. Потом они сунули туда муху и заткнули дырку травой. Они поочередно прикладывали голову куклы к ушам и наконец торжественно водрузили ее на камень; так как она еще была украшена красным маком и издавала какие-то звуки, она стала похожа на вещую голову, и дети, притихнув и обнявшись, стали слушать ее откровения и притчи. Но каждый пророк возбуждает ужас и неблагодарность; капля жизни в этом жалком подобии игрушки пробудила в детях жестокость, и они решили похоронить голову. Они вырыли могилу и, не спросив мнения пойманной мухи, положили туда

голову и соорудили над могилой внушительный памятник из камней. Тут им вдруг стало боязно, что они похоронили живое существо, и они отошли на изрядное расстояние от этого жуткого места. Устав, девочка легла навзничь на землю, выбрав местечко, сплошь покрытое травой, и стала монотонно напевать какие-то слова, всё одни и те же, а мальчик, который подтягивал ей, уселся рядом на корточках и был в нерешительности — не растянуться ли и ему на земле, такая усталость и лень овладели им. Солнце заглянуло в открытый рот поющей девочки, осветило ее ослепительно белые зубки, играя на пухлых пунцовых губах. Зубы бросились в глаза мальчику; с любопытством разглядывая их и придерживая голову девочки, он крикнул:

— Угадай, сколько во рту зубов?

Девочка подумала мгновение, как бы сосредоточенно считая, и затем сказала наудачу:

— Сто!

— А вот и не угадала! Тридцать два! — воскликнул он. — погоди, я сосчитаю!

Он стал считать зубы девочки и все сбивался и начинал сначала. Девочка долго терпела, но, видя, что усердный счетчик никак не кончит, вскочила и крикнула:

— А теперь я сосчитаю твои!

Мальчуган лег на траву, девочка, склонясь к нему, обхватила его голову, он раскрыл рот, и начался счет: «Один, два, семь, пять, два, один», ибо маленькая красавица еще не умела считать. Мальчик поправлял ее и объяснял, в каком порядке называть числа, так что и она без конца начинала сызнова, и из всего, что они предпринимали сегодня, эта игра пришлась им больше всего по душе. В конце концов девочка свалилась на маленького учителя арифметики, и дети уснули под ярким полуденным солнцем.

Тем временем отцы допахали свои полосы, превратив их в благоухающие свежей землей коричневые пашни. Когда же батрак одного из них, пройдя последнюю борозду, остановился, хозяин прикрикнул на него:

— Чего стал? Пройди еще раз!

— Мы ведь кончили, — сказал батрак.

— Помалкивай и делай, что тебе велют, — повторил хозяин.

И они повернули и проложили основательную борозду на средней, выморочной пашне, так что сорняки и камни

летели во все стороны. Но крестьянин не стал убирать их. «Еще придет время для этого», — подумал он и, очевидно, удовлетворился на сегодня тем, что лишь начерно вспахал этот кусок. Так он быстро добрался до вершины по отлогому склону и, когда очутился наверху, где мягкий ветерок снова отогнул назад его колпак, на другой стороне мимо него прошел сосед в колпаке, загнутом наперед, и, в свою очередь, отхватил от средней полосы такую же широкую борозду, причем комья земли так и взлетели в воздух. Каждый из них, надо полагать, видел, что делал другой, но оба притворились невидящими и снова разошлись в разные стороны, проплыв один мимо другого, как безмолвные небесные светила, чтобы скрыться за краем этого круглого мира.

Так сплывают один мимо другого челноки судьбы, и «ткачи один не знает, какую ткань он тклет».

Проходила жатва за жатвой, и с каждым годом дети росли и хорошели, а заброшенная пашня все более суживалась среди раздававшихся вширь соседних полос. Каждый раз при вспахивании она теряла по борозде с той и с другой стороны, и никто не говорил об этом ни слова и ничей глаз, казалось, не замечал этого произвола. Все теснее сдвигались камни, образовав внушительный кряж во всю длину поля, а дикий кустарник так поднялся ввысь, что дети, хотя и выросли, не могли уже видеть друг друга, если мальчик был по одну, а девочка по другую сторону пашни. Они теперь уже не ходили вместе в поле, потому что десятилетний Соломон, или Сали, как его звали, молодецкато держался поближе к парням постарше и взрослым мужчинам, а смуглой и горячей Френхен приходилось подчиняться правилам, предписываемым ее полу, иначе ее подняли бы на смех, как девочку, которая водится с мальчишками. И все же каждый год, в дни жатвы, когда все уходило в поля, они не упускали случая взобраться на гребень дикого каменистого кряжа, разделявшего их, и stalkивать оттуда друг друга. Обычно они не встречались, но эту церемонию осуществляли ежегодно с тем большим рвением, что поля их отцов нигде более не соприкасались.

Тем временем пашню все же решено было продать и выручку хранить пока в кассе местных властей. Торги состоялись тут же на месте, однако, кроме Манца и Марти,

пришли только несколько праздных зевак, ибо кому была охота приобретать этот диковинный участок и возделывать его между двумя соседями. Хотя оба крестьянина и были на наилучшем счету в деревне и поступили так, как поступили бы при подобных обстоятельствах две трети остальных, их теперь все же молчаливо осуждали, и никто не желал вклиниться между ними с урезанным выморочным участком. Большинство людей способно или готово совершить любую несправедливость, если только представится случай, но стоит только это сделать другому, как все остальные радуются, что согрешили-то все-таки не они, что искушение миновало их, и виновный становится для них мерилом низости, они начинают псбанваться его, как носителя зла, отмеченного судьбой, а у самих слюнки текут, такими заманчивыми кажутся им выгоды, которые достались другому. Манц и Марти оказались поэтому единственными серьезными покупателями; после довольно упорного торга пашня досталась Манцу и была формально закреплена за ним. Чиповники и зевачи удалились; оба крестьянина, которые еще замешкались в поле, уходя, снова встретились, и Марти сказал:

— Наверно, ты сложишь старую и новую полосы и разделишь их на два равных участка. Я по крайней мере сделал бы так, если бы эта пашня попала в мои руки.

— И я поступлю так же, — ответил Манц. — Для одной пашни участок слишком велик. Кстати, вот что я хотел тебе сказать: на днях ты, как я заметил, заехал наискосок в нижнюю часть пашни, которая теперь принадлежит мне, и отхватил порядочный клин. Может быть, ты сделал это, рассчитывая, что купишь всю пашню и этот кусок тогда все равно останется за тобой. Но теперь, когда пашня моя, ты, я полагаю, согласишься, что этот несуразный горб мне ни к чему и я не потерплю его, и ты не будешь, надеюсь, против, если я выровняю полосу. Не станем же мы спорить из-за этого!

Марти так же хладнокровно ответил:

— И я не вижу, о чем нам спорить. Ты купил пашню, надо думать, в таком виде, как она есть, мы только что все вместе осматривали ее, а за какой-нибудь час времени она ни на волос не изменилась.

— Чепуха! — сказал Манц. — Не станем ворошить того, что было. Но что чересчур, то чересчур, и ведь во всем должен быть, наконец, какой-то порядок. Все три пашни

с незапамятных времен лежали ровно, будто их вычертили по линейке. Довольно странная шутка с твоей стороны так глупо и не к месту вдвинуть между пашнями какую-то закорючку. Только людям на посмешище! Этот кривой хвостик надо убрать во что бы то ни стало.

Марти засмеялся и сказал:

— Как ты вдруг испугался людских пересудов! Но ведь дело поправимое, мне эта загогуля не мешает нисколько; если она тебя раздражает, выровняй, пожалуй, полосу, но не с моей стороны. Голову свою прозакладываю, что этому не бывать.

— Оставь эти шутки, — сказал Манц, — пашню я выровняю, и непременно с твоей стороны, можешь быть спокоен.

— Поживем — увидим, — сказал Марти, и оба разошлись, не глядя друг на друга; напротив, они смотрели теперь в разные стороны, куда-то вдаль, как бы обозревая некую достопримечательность, которую надо было разглядеть во что бы то ни стало и каких бы душевных сил это ни стоило.

Уже на следующий день Манц послал на пашню батрака, поденщицу и своего сына Сали, наказав им вырвать сорняки и кустарник и сложить все в кучу, чтобы удобнее было вывозить камни.

То, что он, несмотря на возражения матери, послал на поле вместе с другими своего мальчика, еще никогда не работавшего — ему едва минуло одиннадцать лет, — означало какую-то перемену в его характере. Слушая суровые и назидательные слова, произнесенные им при этом, можно было подумать, что строгостью к собственной плоти и крови он стремился заглушить сознание совершенной несправедливости, плоды которой теперь начинали медленно созревать. А тем временем посланная в поле молодежь беспечно и весело выпалывала сорные травы и вырывала с корнем причудливые кусты и растения, бурно разросшиеся здесь за многие годы. Так как это была необычная, можно сказать — вольная работа, не требовавшая ни навыков, ни тщательности, она всем казалась просто забавой. Высохшие от солнца буйные сорняки были собраны в кучу, сожжены под веселые возгласы, дым от костра распространился далеко по окрестности, и молодые люди прыгали в его клубах как одержимые. Это был последний радостный праздник на злополучном поле, и маленькая Френхен, дочь Марти, тоже очутилась там и усердно помогала соседям. Необычность

этого происшествия и веселая кутерьма были удобным поводом для встречи с товарищем детских игр, и дети счастливо и беззаботно играли у костра. Пришли сюда и другие дети — собралось очень шумное общество, но как только друзей разъединяли, Сали опять устремлялся к Френхен, а та тоже всякий раз ухитрялась снова пробраться к нему, не переставая радостно улыбаться, и обоим казалось, что этому прекрасному дню не может и не должно быть конца. К вечеру старый Манц пришел посмотреть, много ли они наработали, и хотя все уже было сделано, выбрал их за то, что они забавляются, и разогнал всю компанию. Тут показался на своем участке Марти и, увидев дочь, так резко и повелительно свистнул, вложив в рот пальцы, что она в испуге бросилась к нему, и он, сам не зная за что, надавал ей пощечин, так что оба — и мальчик и девочка — возвращались домой плача, в глубокой печали, и оба не знали, отчего им так грустно, как не знали, отчего им только что было так весело. Непривычная суровость отцов была еще непонятна этим простодушным созданиям и не могла взволновать их более глубоко.

В последующие дни, когда Манц приказал убрать и свезти с пашни камни, работа пошла уже более тяжелая, требовавшая мужской силы. Казалось, что камням не будет конца, словно их натащали сюда со всего света. Однако Манц приказал не увозить их с поля совсем, а сбрасывать на том спорном треугольном клине, который Марти уже успел тщательно вспахать. Манц заранее провел между пашнями прямую межу и теперь свалил на этот клочок земли все камни, которые они оба с незапамятных времен швыряли на пустырь, так что образовалась внушительная пирамида, убирать которую, как думал Манц, противник не станет. Этому Марти ожидал меньше всего. Он полагал, что сосед будет орудовать по-прежнему плугом, и выжидал поэтому, пока тот выйдет на полосу пахать. О замечательном памятнике, воздвигнутом Манцем, он услышал, когда дело было уже почти сделано; в бешенстве кинулся он в поле, увидел приготовленный ему подарок, помчался назад и привел с собой старосту общины, чтобы прежде всего заявить протест против сваленной на его земле кучи камней и наложить судебный арест на этот клочок земли. С того дня оба крестьянина затеяли тяжбу и не успокоились до тех пор, пока не разорились дотла.



Эти обычно благоразумные люди теперь оказались во власти мелких, как труха, мыслей: каждый из них был преисполнен самого туманного представления о своем праве и не хотел, да и не был в состоянии понять, как это другой стремится так явно незаконно присвоить себе спорный клочок земли. Манца, кроме того, одолела страсть к симметрии и параллельным линиям, и его глубоко оскорбляло сумасбродное упорство Марти, настаивавшего на сохранении за ним этой нелепейшей, вздорной закорючки. Оба, однако, были убеждены в том, что если другой так нагло и грубо обманывает противника, значит, он считает его презреннейшим болваном, потому что так поступать можно с каким-нибудь слабым, беспомощным малым, а не с человеком решительным, умным, готовым к отпору; каждый, как ни странно, полагал, что затронута именно его честь, и с безудержной страстностью отдавался возникшей распре, идя навстречу неизбежному разорению.

Жизнь их с этих пор уподобилась кошмару, терзающему двух обреченных, которые, носясь на узкой доске по бурной реке, набрасываются друг на друга, но, промахнувшись, бьют и уничтожают самих себя, в полной уверенности, что схватились со своей бедой. И так как дело их было несправедливое, они стали жертвами ловких мошенников, которые со страшной силой раздували их большую фантазию, словно гигантский пузырь, наполненный никому не нужной дрянью. В особенности эта распря была на руку спекулянтам города Зельдвилы, и вскоре у каждой тяжущейся стороны оказалась куча посредников, доносчиков, советчиков, которые на сотни ладов ухитрялись выматывать у них наличные денюжки. Клочок земли с грудой камней, среди которых снова разросся целый лес крапивы и чертополоха, был только зародышем или первопричиной запутанной истории, перевернувшей весь уклад жизни двух пятидесятилетних крестьян, у которых теперь появились новые привычки и обычаи, новые правила и надежды, ранее им незнакомые. Чем больше денег они теряли, тем сильнее желали раздобыть их, чем беднее становились, тем упорнее мечтали разбогатеть, опередив своего противника. Их можно было завлечь любым мошенническим приемом: они, например, из года в год участвовали во всех заграничных лотереях, наводнявших Зельдвилу билетами, но выигрыш — хотя бы в какой-нибудь талер — они и в глаза не видывали, а только постоянно слышали о том, что выигрывают другие и что сами

они чуть-чуть было не выиграли. Между тем из-за этой страсти деньги у них систематически уплывали. Время от времени зельдвильцы забавлялись тем, что заставляли обоих крестьян, помимо их ведома, покупать доли одного и того же лотерейного билета, так что оба, в своей надежде раздавить и повергнуть в прах противника, делали ставку на один и тот же билет. Половину своего времени они проводили в городе, где у каждого была штаб-квартира в каком-нибудь кабаке, и каждого легко было разжечь и склонить к самым нелепым издержкам, к жалкому, безобразному кутежу, причем втайне у них у самих сердце обливалось кровью, так что оба, уйдя с головой в эту распрю для того, чтобы не прослыть дураками, на деле именно первостатейными дураками и оказались и всеми за таковых и почитались. Остальное время они проводили в мрачном безделье или набрасывались на работу, пытались неистовой спешкой и грубым понуканием наверстать упущенное, и отпугивали этим честных и надежных батраков. Так они стремительно катились вниз, и не прошло десятка лет, как оба основательно запутались в долгах и стояли, словно аисты, на одной ноге у порога своих владений, откуда их могло смести любое дуновение ветра. Но как бы там ни было, вражда между ними все возрастала; ведь каждый видел в другом виновника своей горькой судьбины, извечного и окончательно потерявшего разум врага, которого дьявол намеренно произвел на свет с целью погубить противника. Стоило им издаലെка увидеть друг друга, как они начинали плевать; никто из членов их семей не смел, под страхом жестоких побоев, перекинуться словом с женой, ребенком или батраком врага.

Жены их по-разному переносили этот унадок и обнищание. Жена Марти, женщина от природы хорошая, не выдержала этого разорения, зачахла и умерла от горя, прежде чем ее дочь достигла четырнадцати лет. Жена Мацца, напротив, приспособилась к изменившемуся положению, и, чтобы оказаться ненадежной спутницей жизни, ей только надо было дать волю некоторым присущим ей женским слабостям, которые превратились в пороки. Ее чревоугодие выросло в дикое обжорство; словоохотливость — в насквозь фальшивую льстивость и злословие; она непрестанно говорила как раз противоположное тому, что думала, все и всех натравливала друг на друга и втирала очки собственному мужу. Ее прежняя откровенность, склонность к более или

мене невинной болтовне превратилась в закоренелое бесстыдство, ей ничего не стоило лгать и фальшивить, и, таким образом, вместо того, чтобы подчиняться мужу, она сама водила его за нос. Если он бесчинствовал, то и она пускалась во все тяжкие, ни в чем себя не стесняя, и выказала себя во всей красе как перадивая хозяйка приходящего в упадок дома.

Плохо жилось и бедным детям, у которых не было ни надежд на будущее, ни радостной, беззаботной юности, ибо кругом них были одни заботы и дрязги. Положение Френхен, по-видимому, было более тяжелым, так как мать ее умерла и она одиноко росла в опустевшем доме, в полной зависимости от произвола одичавшего отца. В шестнадцать лет она была уже стройной, хорошенькой девушкой; ее темно-каштановые волосы крутыми завитками спускались почти на самые глаза, блестящие и карие; густая, алая кровь пробивалась сквозь щеки смуглого лица и сверкала на свежих губах таким ярким пурпуром, какой не каждый день увидишь, и это придавало смуглой девочке своеобразный вид, выделяя ее среди других. Пылкая жизнерадостность и веселость, казалось, трепетали в каждой ее жилке; она смеялась и готова была шутить и играть, как только выдавался погожий денек, если, конечно, ее не очень мучили и на нее не сваливалось слишком много забот. Но заботы терзали ее достаточно часто: ей приходилось не только делить с отцом горе и все возраставшую пужду, но надо было подумать и о себе; ведь ей хотелось поприличнее и поопрятней одеться, а отец не давал никаких средств. С величайшим трудом удавалось Френхен раздобыть себе самое скромное праздничное платьице и несколько пестрых, почти ничего не стоящих косынок. Красивая, цветущая девушка чувствовала себя крайне униженной, пришибленной и, уж конечно, чужда была всякого высокомерия. Кроме того, она уже в сознательном возрасте видела страдания и смерть матери, и это воспоминание стало уздой, сдерживавшей ее веселый, пылкий нрав; поэтому было приятно и трогательно видеть, как это милое дитя готово было, несмотря ни на что, развеселиться и улыбнуться при первом же луче солнца.

Сали, на первый взгляд, жилось как будто не так трудно; он стал красивым и сильным парнем, умевшим за себя постоять, и самая его манера держаться уже исключала возможность плохого обращения с ним. Он, конечно, видел,

как разваливалось хозяйство родителей, и смутно припоминал, что так было не всегда; более того — в его памяти даже сохранился прежний облик отца, крепкого, умного, спокойного крестьянина, того самого отца, который теперь вел себя как старый дурак, смутьян и лодырь, буянил, хвастался, брался за сотни неделых и подозрительных дел и с каждым шагом пятился, словно рак, все назад и назад. Если это и не правилось Сали и часто наполняло его чувством стыда и горя, — хотя он по своей неопытности не понимал, как это могло случиться, — то тревога его усыплялась лестью, которую расточала ему мать. Чтобы без помехи предаваться своим дурным склонностям и привлечь сына на свою сторону, да и чванства ради, она удовлетворяла все его желания, одевала опрятно и щеголевато и потакала всему, что он затевал для своего удовольствия. Он принимал все это, не изъявляя большой благодарности, потому что мать слишком много болтала и лгала; не находя в том особой радости, он вяло и без раздумья делал все, что ему нравилось, впрочем, ничего плохого, так как пример стариков еще не испортил его и он испытывал юношескую потребность в простой, спокойной и добропорядочной жизни. Он был почти такой же, как его отец в юном возрасте, и это внушало старику невольное уважение к сыну, в котором он, человек с нечистой совестью и мучительными воспоминаниями, чтит свою собственную молодость. Несмотря на свободу, предоставленную ему, Сали все же не чувствовал себя счастливым и, конечно, понимал, что впереди у него нет ничего хорошего, да ничему хорошему он и не научился, так как в доме Манца уже давно и помину не было о какой-нибудь толковой и разумной работе. Поэтому он утешался главным образом тем, что кичился своей независимостью и пока еще безупречной репутацией и, преисполненный гордости, жил изо дня в день, без оглядки на будущее.

Единственное, что ему навязывали, — это отцовскую вражду ко всему, что носило имя Марти или напоминало о нем. Но он знал лишь то, что Марти причинил отцу какой-то ущерб и что семья Марти настроена так же враждебно по отношению к ним, поэтому для него не составляло труда не встречаться с Марти и его дочерью и самому делать вид, что он растет их врагом, хотя и довольно безобидным. Френхен же, которая терпела много больше, чем Сали, и чувствовала себя дома гораздо более одинокой, менее склонна была к вражде, но думала, что щеголеватый и счастливый

на вид Сали просто презирает ее; поэтому она пряталась от него и, если он появлялся где-либо поблизости, поспешно убегала, а он даже не давал себе труда взглянуть на нее. Случилось так, что Сали уже несколько лет не видал девушку вблизи и не знал, как она выглядит взрослой. И все же временами он живо интересовался ею, и, когда заходила речь о семействе Марти, Сали невольно и без всякой ненависти думал только о дочери, чей облик он лишь смутно представлял себе теперь.

Однако его отец Манц первым из двух обнищал вконец и остался без крова. Это объяснялось тем, что у него была жена, которая помогала ему разоряться, да и на сына приходилось расходиться, тогда как Марти был в своем непрочном царстве единственным расточителем, а его дочь лишь работала, как домашнее животное, но не смела тратиться на себя. Манц же ничего лучше не придумал, как переселиться, по совету своих зельдвильских доброжелателей, в город и открыть там трактир. Всегда грустно видеть, как бывший крестьянин, состарившийся на земле, переезжает с остатками своего скарба в город, чтобы открыть там кабак или трактир, этот последний якорь спасения, и разыгрывать приветливого и расторопного хозяина в то время, как на душе у него совсем не так радостно. Лишь когда семья Манца выезжала со двора, люди увидели, в какую нищету они впали: воз был нагружен одной только старой, полуразвалившейся домашней рухлядью, и было ясно, что в хозяйстве уже много лет ничего не обновлялось и не приобреталось. Тем не менее жена вырядилась в свои лучшие одежды и бодро уселась на возу поверх этого хлама, пресерьительно, как будущая горожанка, оглядывая односельчан, которые с состраданием наблюдали из-за плетней приготовления к переезду, сулившему так мало хорошего. Она уже воображала, что своей обходительностью и умом очарует весь город и в качестве хозяйки солидного трактира справится с тем, с чем не сумеет совладать ее опустившийся муж.

На деле оказалось, что трактир, расположенный в каком-то маленьком закоулке, был жалким кабачком, разорившим уже старого арендатора, и зельдвильцы сдали его Манцу, которому еще причиталось с кого-то несколько сот талеров. Они, сверх того, продали ему пару бочонков разбавленного вина и всю утварь кабачка — дюжину простых белых графинов, дюжину стаканов и несколько еловых столов и стульев, выкрашенных когда-то в ярко-красную крас-

ку, а теперь во многих местах облупившихся. Перед окном на крюке гремел железный круг, а внутри круга сделанная из жести рука наливала красное вино из бочонка в стакан; над входной дверью, кроме того, висел высохший куст остролистника; все это Манц получил заодно с арендой. Он не был настроен так радужно, как его жена; погоня тощих кляч, которых ему одолжил новый владелец его двора, он был полон дурных предчувствий и затаенной злобы. Последний еще оставшийся у него захудалый батрак несколько недель тому назад ушел от него. Съезжая таким образом со двора, он увидел Марти, который с насмешливым и злорадным видом топтался неподалеку от дороги. Манц стал осыпать его ругательствами, считая его единственным виновником своего несчастья. Сали же, как только воз тронулся, прибавил шагу, опередил лошадей и отправился в город один, окольной дорогой.

— Вот и приехали! — сказал Манц, когда воз остановился у дверей кабачка. Жена испуганно вскрикнула: уж больно убогим оказался этот кабачок! Люди поспешно бросились к окнам и на улицу, чтобы поглазеть на нового трактирщика-деревенщину, и с высоты своего превосходства, которое давало им звание зельдвильцев, строили насмешливо-жалостливые физиономии. Серdito, с мокрыми от слез глазами, сползла Манциха с воза и побежала в дом, приняв гордое решение, хоть язык у нее и чесался, сегодня больше не показываться на улице: она стыдилась своей жалкой утвари, снятых с воза полуразвалившихся кроватей. Было стыдно и Сали, но ему пришлось помогать отцу, и они представляли собой странное зрелище в этом переулке, куда скоро высыпали дети разорившегося предшественника Манца, потешаясь над нищим мужичьем. Еще более неприглядно было в доме, напоминавшем настоящий разбойничий вертеп. От плохо побеленных стен отдавало сыростью; кроме темной, унылой комнаты для посетителей с некогда ярко-красными столами, в доме были еще только две плохонькие каморки, а прежний трактирщик оставил во всех углах отчаянную грязь и кучи мусора.

Так началась их жизнь, и так она продолжалась. В первые недели, в особенности по вечерам, еще набиралась, бывало, кучка посетителей за одним столом — поглазеть на трактирщика из мужиков, в надежде позабавиться на его счет. В самом трактире было мало занятого: Манц был неуклюж, неповоротлив, угрюм и уныл, он не знал, да и не

хотел знать, как держать себя. Медленно и неловко наполнял он кружки, мрачно ставил их перед гостями, пытался выжать из себя хоть слово, но ничего у него не выходило. С тем большим усердием старалась завязать разговор его жена, и действительно ей удалось сначала на несколько дней удержать посетителей, но совсем по другой причине, не той, что она думала. Дородная женщина сочипила домашний наряд, в котором считала себя неотразимой. Она надевала деревенскую юбку из некрашеного полотна, старый зеленый шелковый лиф, ситцевый фартук и дешевенькую белую косынку. Свои поредевшие волосы она потешно закручивала на висках «улитками», а в косичку, заложенную на затылке, втыкала высокий гребень. Так она вертелась и юлила вокруг гостей, стараясь быть грациозной, забавно поджимала губы, силясь придать им сладкое выражение, вприпрыжку подбегала к столам и, подавая стакан или тарелку с соленым сыром, улыбалась и несла всякую чепуху.

— Вот как! Так, так! Великолепно, прекрасно, господа, — приговаривала она, но хотя язычок у нее был и бойкий, ей не удавалось теперь выжать из себя даже крупицу остроумия, так как она была здесь чужой и не знала местных людей. Зельдвильские подонки, околачивавшиеся в трактире, прикрывали рот рукой, задыхаясь от смеха, толкали под столом друг друга ногой и восклицали:

— Тьфу, пропасть! Ну и штучка!

— Прелесть! — говорил другой. — Разрази меня гром! На такую стоит прийти полюбоваться. Давненько мы такой не видавали!

Ее муж, мрачно наблюдавший за ней, замечал это, толкал ее в бок и шептал:

— Что ты делаешь, старая корова?

— Не мешай мне, — с сердцем отвечала она. — Не видишь, остолоп, как я стараюсь и как умею обходиться с людьми? Но это все голытьба, твоего поля ягода, дай срок, скоро сюда повалят гости познатнее.

Вся эта сцена освещалась одной-двумя тонкими салными свечками; Сали, их сын, уходил в темную кухню, садился на лежанку и плакал, страдая за мать и отца.

Гости, однако, скоро пресытились зрелищем, которое являла собой милейшая фрау Манц, и стали опять собираться там, где им было приятнее и где они могли посмеяться над странным трактиром; лишь изредка заходил

сюда одинокий посетитель, выпивал стаканчик и, зевая, оглядывал стены, или невзначай вваливалась целая банда, минутной суетой и шумом вызывая у бедных людей обманчивые надежды. Жутко было им в этом каменном закутке, куда едва заглядывало солнце, и Манцу, который раньше целыми днями околачивался в городе, теперь эта жизнь в четырех стенах казалась невыносимой. Вспоминая просторы полей, он то впивался мрачно-задумчивым взором в потолок или в пол, то выбегал через узкие двери дома на улицу, то опять возвращался, так как соседи пялили глаза на «злого трактирщика», как они уже успели прозвать его.

Немного прошло времени, и Манцы окончательно обнищали. У них не осталось ничего: чтобы поесть, им приходилось ждать, пока кто-нибудь заглянет к ним и заплатит несколько мелких монет за стакан еще оставшегося в запасе вина; если же гость требовал колбасы или чего-нибудь еще, это вызывало целый переполох и им стоило величайшего труда раздобыть необходимое. Скоро уже у них и вина оставалось только в большом графине, который они держали припрятанным и тайком наполняли в чужом кабаке; и вот, без хлеба и без вина, они разыгрывали любезных хозяев, а у самих нечего было есть. Они даже радовались, когда никто не заходил к ним, и прозябали в своем кабачке: не жили и не умирали.

Когда женщина поняла наконец всю безвыходность их положения, она сняла с себя зеленый лиф и снова преобразилась; как прежде она давала волю своим слабостям, так теперь она обнаружила и сумела развить в себе некоторые женские добродетели, ибо в доме поселилась нужда. Она проявляла терпение и старалась поддерживать своего старика и давать сыну добрые советы; во многих случаях она жертвовала собой и по-своему стремилась оказать на семью благотворное влияние; и хотя это влияние было неглубоко и мало улучшало их положение, все же это было лучше, чем ничего или что-либо другое, и по крайней мере помогало им влачить существование, которое в противном случае оборвалось бы гораздо раньше. Она научилась, в меру своего разумения, давать совет в трудных обстоятельствах, и если этот совет оказывался негодным и ни к чему хорошему не приводил, она безропотно переносила гнев мужа и сына; короче говоря, теперь, на старости лет, она стала делать все то, что принесло бы лучшие плоды в прежние годы.



Чтобы раздобыть себе пропитание и вместе с тем как-нибудь скоротать время, отец и сын занялись рыболовством, то есть завели удочки, которые никому не возбранялось закидывать в реку. Это и составляло одно из главных занятий разорившихся зельдвильцев. В благоприятную погоду, когда рыба хорошо клюет, можно было видеть, как зельдвильцы десятками тянулись за город с удочками и ведрами в руках, так что гулявшие на берегу реки на каждом шагу натывались на удильщика; один, в длинном коричневом сюртуке, сидел на корточках, опустив в воду босые ноги; другой, в синем хвостатом фраке, в надвинутой набекрень измятой фетровой шляпе, стоял на корневище старой ивы; еще подальше расположился рыболов, одетый, за неимением другого наряда, в рваный, затканый большими цветами шлафрок, держа длинную трубку в одной руке и удилище в другой; а за изгибом реки можно было видеть старого, лысого толстяка, который стоял нагишом на камне и удил, и ноги его, несмотря на близость воды, были так черны, как будто он не снимал сапог. У каждого при себе имелся горшочек или коробочка, где копошились заранее заготовленные дождевые черви. Когда небо заволакивалось тучами, а душная, хмурая погода предвещала дождь, все эти рыболовы высыпали на берег и неподвижно, точно изображения святых и пророков в картинной галерее, выстраивались вдоль течения реки. Крестьяне равнодушно проезжали мимо них в своих телегах, на волах, лодочники даже не удостоивали их взглядом, а рыболовы тихонько брюзжали, так как лодки были для них помехой.

Если бы кто-нибудь предсказал Манцу двенадцать лет тому назад, когда он на прекрасной запряжке пахал землю на прибрежном холме, что в один прекрасный день и он попадет в компанию этих странных святых и станет, подобно им, удить рыбу, он здорово бы рассердился. И вот теперь он крался за их спиной, спеша вверх по течению, словно упрямая тень подземного мира, ищущая на мрачной реке удобного и уединенного местечка для отбывания наложенной на нее вечной кары. Вместе с тем ни у него, ни у сына не хватало терпения выстаивать часами с удочкой в руке, и они вспомнили, что в деревне крестьяне ловили рыбу иными способами, хватая ее в ручьях, когда она играет, прямо руками; поэтому они стали брать с собой удочки только для виду, а сами отправлялись на берега ручьев, в которых, как им было известно, водились дорогие и вкусные форели.

Тем временем оставшемуся в деревне Марти жилось все хуже и хуже, да и скучно ему было до крайности, и, вместо того чтобы работать на своем заброшенном поле, он тоже пристрастился к рыбной ловле и целыми днями плескался в воде. Френхен не смела оставаться дома, ей полагалось, бросая самую неотложную работу, носить за отцом ведра и удочки в дождливую и солнечную погоду по мокрым лугам, через ручьи и лужи. Дома же, кроме нее, никого не было, да и не нуждалась она в батраке: ведь Марти уже потерял большую часть земли, а несколько оставшихся полос он обрабатывал кое-как с помощью дочери или вовсе не обрабатывал.

Случилось так, что однажды вечером, когда он шел вдоль довольно глубокого бурливого ручья, в котором форели прыгали особенно резво, потому что небо было затянуто грозowymi тучами, он неожиданно наткнулся на своего врага Манца, шедшего противоположным берегом. Как только Марти узнал его, ненависть и злоба вспыхнули в нем со страшной силой; уже много лет они не видели друг друга так близко, разве только в судах, где запрещалось браниться.

Марти в ярости воскликнул:

— Собака, что ты делаешь здесь? Голь зельдвильская! Сидел бы в своей трущобе.

— Скоро и ты пожалуешь к нам, мошенник! — воскликнул Манц. — Вот и ты уже стал рыбу ловить, видно торопиться-то некуда!

— Молчи, висельник! — закричал Марти громко, потому что волны ручья шумели тут особенно сильно. — Это ты меня погубил!

И так как теперь от подымавшейся бури шумели и прибрежные ивы, Манцу пришлось кричать еще громче:

— Уж и рад бы я был твоей гибели, дуралей!

— Собака! — орал Марти с одного берега.

— И глуп же ты, баранья башка! — отвечал Манц с другого.

Марти метался, как тигр, по берегу, силясь перебраться через ручей. Он кипел злобой при мысли, что Манц в своем трактире по крайней мере ест и пьет досыта и даже ведет веселую жизнь, сам же он ни за что ни про что пропадает в своем разоренном хозяйстве. А в это время Манц, тоже достаточно взбешенный, шел по другому берегу, а за ним

следовал его сын; не слушая этой злобной перебранки, он с любопытством и удивлением глядел на Френхен, которая шла за отцом, от стыда опустив глаза в землю, так что темные выющиеся волосы падали ей на лицо. В одной руке она держала деревянное ведро для рыбы, в другой — башмаки и чулки, а юбку она подоткнула, чтобы не замочить ее. Заметив Сали на другой стороне, Френхен стыдливо опустила подол, страдая тройне: она несла рыболовные принадлежности, придерживала юбку и терзалась от стыда за бранившихся стариков. Если бы она подняла глаза и взглянула на Сали, то увидела бы, что от его щеголеватого и гордого вида не осталось следа и что сам он крайне удручен всем, что произошло. В это время пристыженная и растерянная Френхен потупила глаза, а Сали видел только стройную, прелестную, несмотря на горе и убогость одежды, девушку, смущенно и смиренно шедшую за отцом, и оба они не заметили, как старики вдруг притихли, а потом с еще большей яростью ринулись к переброшенному через ручей мостику, который они увидели недалеко. Блеснула молния, причудливо осветила мрачные, унылые берега реки; когда в черно-серых тучах глухо и гневно заворчал гром и на землю упали тяжелые капли дождя, озверевшие крестьяне одновременно бросились к узенькому, зашатавшемуся под тяжестью их шагов мостику и сцепились друг с другом; бледные, дрожа от горя и злобы, они стали бить друг друга по лицу.

Горько и тяжело смотреть на степенных людей, когда им случится — из заносчивости, сгоряча или для самозащиты — ввязаться в драку со случайными встречными; но это безобидная игра по сравнению со страшным зрелищем, которое представляют два старых человека, в прошлом дружных меж собой, когда, движимые глубочайшей враждой и всем ходом своей жизни, они схватываются врукопашную и осыпают один другого ударами. Так было с этими двумя седыми стариками; в последний раз, мальчишками, они тузили друг друга, быть может, пятьдесят лет тому назад и затем все эти пятьдесят лет и пальцем не тронули один другого, разве только в хорошие времена, здороваясь, обменивались рукопожатием, да и то, при сдержанности и сухости их характеров, не часто. Несколько раз ударив друг друга, они остановились и молча, дрожа от возбуждения, стали бороться, только время от времени испуская стоны или скрежеща зубами, и каждый через шаткие перила сился сбросить

другого в воду. Но вот и дети добежали до мостика и увидели эту ужасную сцену. Сали одним прыжком подскочил к борющимся, чтобы поддержать отца и помочь ему расправиться с ненавистным врагом, который, впрочем, казался более слабым и уже был близок к поражению. Но и Френхен, бросив свою ношу, с громким криком устремила к ним и обхватила отца, чтобы защитить его, хотя этим только помешала ему и связала его движения. Слезы струей текли из ее глаз, и она умоляюще глядела на Сали, который как раз собирался накинуться на ее отца и окончательно сбить его с ног. И он невольно положил руку на плечо своего старика, пытаясь успокоить его и оттащить своими крепкими руками от противника, так что на мгновение борьба утихла, или, вернее, вся группа, не расходясь, беспокойно металась из стороны в сторону. Благодаря этому молодые люди, старавшиеся втиснуться между стариками, оказались рядом; в эту минуту последний яркий луч заходящего солнца осветил сквозь разорванные тучи лицо девушки, и Сали взглянул прямо в это хорошо знакомое и вместе с тем новое, похоронившее лицо. В то же мгновение и Френхен заметила его изумление и, несмотря на страх и слезы, быстро улыбнулась ему. Сали, которого отец старался оттолкнуть от себя, опомнился и, крепко держа старика, пастойчиво уговаривая его, оттащил наконец от врага. Старики перевели дух и снова стали браниться и кричать; дети же, затаив дыхание, не проронили ни слова, но при расставании быстро и украдкой от родителей пожали друг другу руки, мокрые и холодные от воды и рыбы.

Когда, задыхаясь от злобы, старики наконец отправились по домам, тучи снова сомкнулись, тьма сгустилась еще сильнее, и дождь хлынул как из ведра. Манц брел впереди по темной мокрой дороге, съездившись под проливным дождем и засунув обе руки в карманы; его лицо вздрагивало, зуб на зуб не попадал, и никем не видимые слезы, которых он не стирал, чтоб не выдать себя, стекали по его небритым щекам. Но его сын, погруженный в блаженные грезы, ничего не видел; он шел, не замечая ни дождя, ни бури, ни мрака, ни горя, — все было легко, светло и тепло внутри и вокруг него, он чувствовал себя счастливым и богатым, словно сын короля. Перед ним все время мелькала улыбка, внезапно вспыхивавшая на склоненном к нему прекрасном лице, и только сейчас, спустя добрых полчаса, он отвечал

на нее влюбленной улыбкой, вглядываясь сквозь ночь и непогоду в выступавшее повсюду из мрака милое лицо, и Френхен, думалось ему, непременно увидит эту улыбку и поймет ее.

На следующий день отец Сали чувствовал себя совершенно разбитым и не выходил из дому. Вся эта распря и долготная нужда сегодня вдруг приняли новые, более ясные очертания и наполнили мраком душный кабачок, и оба, муж и жена, в страхе и изнеможении отшатываясь от встававших перед ними призраков прошлого, бродили по комнатам и кухне и снова возвращались в комнату для гостей, где не было ни одного посетителя. Под конец каждый забирался в свой угол, и целый день не прекращались докучливая перебранка и взаимные попреки; иногда они засыпали и вновь пробуждались, мучимые тревожными дневными сновидениями, которые подымались из глубины нечистой совести. Один Сали ничего не видел и не слышал — он думал о Френхен. У него все еще было такое чувство, будто он не только несказанно богат, но и постиг что-то очень важное и бесконечно прекрасное. Он и впрямь твердо уверовал в то, что увидел вчера. Эта уверенность словно с неба свалилась на него, и он пребывал в состоянии непрерывного счастливого изумления, и вместе с тем ему как будто с давних пор известно было то, что теперь наполняло его таким необычайно сладостным чувством. Ибо ничто не сравнимо с богатством и непостижимостью того счастья, которое приходит к человеку в ясном и четком образе существа, получившего при крещении имя, которое звучит иначе, чем все имена на свете.

В этот день Сали не чувствовал себя ни праздным, ни несчастным, не казался себе бедняком или отчаявшимся человеком; напротив, он всецело был поглощен тем, что беспрерывно, час за часом, старался представить себе лицо и фигуру Френхен; но от этой лихорадочной деятельности облик девушки почти совершенно расплылся, так что Сали в конце концов показалось, что он и не знает, как по-настоящему выглядит Френхен; и хотя в памяти у него сохранился ее образ, по крайней мере в общих чертах, но если бы ему предложили описать ее, он не мог бы этого сделать. Сали постоянно видел перед собой этот образ, ощущал на себе его обаяние, но это было нечто, однажды мелькнувшее и заполнившее его, но все еще незнакомое. Не без удоволь-

ствия припоминал он в мельчайших подробностях черты лица прежней маленькой девочки, но не те, что он видел вчера. Если бы ему не довелось опять встретиться с Френхен, он сумел бы еще как-нибудь, силой воспоминания, восстановить милый образ девушки, так, чтобы не пропала ни одна черта ее лица. Но теперь память хитро и упорно отказывалась служить, глаза предъявляли свои права, требовали своей доли наслаждения, и когда солнце после обеда обдало теплым и ярким светом верхние этажи мрачных домов, Сали украдкой вышел из городских ворот и направился к родным местам, которые только теперь стали казаться ему раем с двенадцатью блестящими вратами; когда он подходил к деревне, у него сильнее забилося сердце.

Дорогой он встретил отца Френхен, который, по-видимому, направлялся в город. Вид у него был дикий и неряшливый, своей поседевшей бороды он не подстригал уже много недель и стал похож на озлобленного, отчаявшегося крестьянина, который упустил свою землю и теперь роет яму другому. Тем не менее, когда они встретились, Сали посмотрел на него не с ненавистью, а с робостью и смущением, словно жизнь его находилась в руках Марти и он скорее готов был вымалывать у него эту жизнь, чем драться за нее. Марти же смерил его с ног до головы злобным взглядом и пошел своей дорогой. Это, впрочем, было на руку Сали, которому только теперь, когда он увидел, что старик ушел из деревни, стало ясно, зачем он сам явился сюда; и он до тех пор блуждал по старым знакомым тропкам и глухим закоулкам деревни, пока не очутился наконец против усадьбы Марти. Уже много лет он не видел этого места так близко; ведь даже когда они еще жили здесь, враждующие соседи старались не попадаться друг другу на глаза. Пораженный тем же упадком, который он, в сущности, видел и в родительском доме, Сали с удивлением смотрел на запустение, представившееся его взору. Земля Марти, кусок за куском, пропадала в залоге, и у него ничего не осталось, кроме домика, участка перед ним, крохотного сада и пашни у реки на пригорке, за которую он упрямо цеплялся из последних сил.

Но о правильном возделывании земли, конечно, нечего было и думать, и на полосе, которая прежде так красиво, колос к колосу, волновалась ко времени жатвы, теперь были посеяны и дали всходы остатки разных семян, заваливавшихся где-то в рваных мешочках и старых коробочках, — репа, капуста и немного картофеля, — так что поле напоминало

запущенный огород, в котором было посажено всего понемножку, лишь бы кое-как перебиться: тут вырвать репку, если голоден и ничего лучшего не предвидится, там — кочан капусты или горсть картофеля, предоставив остальному гнить или разрастаться как попало. По полю слонялись все кому не лень, и прекрасный, обширный участок выглядел теперь почти так же, как когда-то выморочная полоса, от которой пошло все зло.

Поэтому и возле дома не видно было никаких следов крестьянского хозяйства. Стояла были пусты, дверь висела на одной петле, а у темного входа бесчисленные пауки-крестовики, отъездившие за лето, протянули блестящие на солнце нити паутины. В дверях открытого настежь амбара, куда прежде свозили урожай с добротной земли, висели убогие рыболовные снасти — своего рода свидетельство нелепой возни на воде; на дворе не было видно ни курицы, ни голубя, ни собаки, ни кошки; только колодезь еще являл подобие жизни, но вода уже не струилась по трубе, а била из трещины в ней, над самой землей, оставляя повсюду лужицы, так что колодезь как раз-то и был самым красноречивым символом праздности. Если бы отец приложил хоть немного труда, можно было бы заделать трещину и исправить трубу, а между тем Френхен выбивалась из сил, чтобы добыть из разрушенного колодца чистую воду для питья, и стирать ей приходилось в мелких лужах на земле, так как пользоваться рассохшимся, треснувшим корытом было невозможно.

Самый дом тоже поражал своим убожеством: окна были во многих местах разбиты и заклеены бумагой, оставаясь, впрочем, самым веселым пятном на фоне этого разорения; даже разбитые, стекла были чисто и хорошо, до блеска, вымыты и сияли так же ярко, как глаза Френхен, замещающие бедной девушке все украшения. Кудрявые волосы и красные с желтым ситцевые косыночки так же шли к глазам Френхен, как к сверкавшим стеклам окон бурно разросшаяся ползучая зелень, которая беспорядочно вилась вокруг дома, — фасоль, поднимавшаяся волнистой стеной, и дикие заросли благоухающей желтофиоли. Фасоль цеплялась за что попало: здесь она вилась по ручке грабель или палке метлы, воткнутой в землю прутьями вверх, там ухватилась за изъеденную ржавчиной алебарду, или эспонтоу, как ее называли в те времена, когда дед Френхен, будучи вахмистром, носил это оружие, которое она, за неимением чего-либо более подходящего, водрузила теперь среди фасоли, а здесь та же

фасоль весело лезла вверх по сгнившей лестнице, с незапамятных времен прислоненной к дому, и свисала оттуда на сверкающие оконца, как кудри Френхен — на ее глаза. Этот двор, отличавшийся скорее живописностью, чем порядком, стоял несколько в стороне, поодаль от других. В это мгновение нигде не видно было ни души, поэтому Сали без всяких опасений прислонился к старому сараю, шагах в тридцати оттуда, и стал внимательно смотреть на безмолвный опустелый дом. Он довольно долго простоял так и все глядел, пока Френхен не вышла из дома и не устремила пристальный взгляд в пространство, как бы сосредоточив все мысли на одном предмете. Сали не двигался и не спускал с нее глаз. Случайно взглянув в его сторону, она наконец заметила его. Некоторое время они всматривались друг в друга, словно в привидение. Сали наконец выпрямился и медленными шагами пошел через дорогу во двор, к Френхен. Он уже был возле девушки, когда она протянула к нему руки и сказала:

— Сали!

Он схватил ее за руки и стал, не отрываясь, смотреть на нее. Из глаз ее брызнули слезы, вся она густо покраснела под его взглядом.

— Что тебе нужно здесь? — спросила она.

— Только видеть тебя, — ответил Сали, — мы опять будем друзьями, не правда ли?

— А наши родители? — спросила Френхен, отвернув в сторону залитое слезами лицо, так как руки ее были заняты и она не могла закрыть его.

— Разве мы виноваты в том, что они сделали и чем они стали? — сказал Сали. — Может быть, мы только исправим зло, если будем дружно жить и любить друг друга.

— Хорошему не бывать, — с глубоким вздохом сказала Френхен, — ради бога, иди своей дорогой, Сали!

— Ты одна? — спросил он. — Нельзя ли мне войти на минуту в дом?

— Мой отец отправился в город, чтобы насолить твоему отцу, как он сказал, но войти тебе нельзя: ведь потом, пожалуй, не удастся уйти незаметно. Теперь еще все тихо, на дороге никого нет, прошу тебя, уходи!

— Нет, я не уйду; со вчерашнего дня я все думаю и думаю о тебе, и не уйду я так, нам надо поговорить хоть полчаса, хоть часок — так будет лучше для нас.

Френхен с минуту подумала и сказала:



— Вечером я схожу на нашу полосу, ты знаешь какую, у нас только она и осталась, — набрать немного овощей. Там никого не будет, все живут в другом месте; если хочешь, приходи туда, а теперь ступай и будь осторожен, как бы не встретить кого-нибудь. Хоть никто и не хочет здесь с нами знаться, все же пойдут пересуды, и отец обо всем узнает.

Они отошли друг от друга, но тут же снова взялись за руки и одновременно спросили:

— А как же тебе живется?

Но вместо того чтобы ответить, они снова повторили свой вопрос, а ответ можно было прочитать в их глазах. Как и все влюбленные, они утратили способность управлять своей речью и, не сказав ничего больше, полусчастливые, полупечальные, оторвались наконец друг от друга.

— Я скоро приду, ступай прямо туда! — крикнула ему вдогонку Френхен.

Сали тотчас же поднялся на чудесный тихий холм, по которому тянулись две пашни, и впервые за много лет прекрасное спокойное июльское солнце, белые облака, плывущие над волнами спелой ржи, сверкающая синева реки внизу наполнили его не печалью, а счастьем и покоем, и он блаженно глядел на небо, растянувшись во весь рост в прозрачной, легкой тени колосьев там, где они вплотную подходили к заброшенному полю Марти.

Хотя до прихода девушки прошло не более четверти часа и он все это время думал только о своем счастье и о том, каким именем оно зовется, улыбающаяся Френхен все же предстала перед ним неожиданно, и он вскочил, радостно испуганный.

— Фрели! — воскликнул он, и она с тихой улыбкой протянула ему обе руки, и они пошли, почти не разговаривая, рука об руку, вдоль шелестящих колосьев, вниз до реки и обратно; два или три раза они проделали тот же путь, сосредоточенные, спокойные, счастливые, и эта дружная пара походила теперь на созвездие, появляющееся над солнечным куполом холма и исчезающее за ним, как некогда ходили на два светила их отцы, уверенно шагавшие за плугом.

Но когда они случайно отвели взгляд от голубых васильков, к которым были прикованы их глаза, то неожиданно увидели перед собой другую, мрачную, звезду — черномазого парня, который неведомо как очутился впереди. По-видимому, он лежал раньше во ржи. Френхен вздрогнула, а Сали испуганно сказал:

— Черный скрипач!

В самом деле, парень, шедший впереди, нес под мышкой скрипку и смычок; он весь был какой-то особенно черный. Черны были не только войлочная шапчонка и вымазанная в саже куртка, черны, как деготь, были волосы, черна нестриженная борода; да и лицо и руки у него почернели от копоти, потому что он занимался разными ремеслами — по большей части лудил кастрюли и помогал угольщикам и смолокурам в лесах, а на скрипке играл только при случае, когда крестьяне пировали или справляли какой-нибудь праздник. Сали и Френхен тихонько шли вслед за ним, надеясь, что он уйдет с поля и скроется, не оглянувшись; казалось, так оно и будет, потому что он делал вид, будто вовсе не замечает их. А они, как замороженные, не осмеливались сойти с узкой тропинки и невольно следовали за парнем, который внушал им безотчетный страх, до самого конца поля, где лежала злополучная груда камней, все еще покрывавшая спорный клинышек пашни. На маленькой горке разрослось множество дикого мака, и вся она поэтому казалась в эту пору огненно-красной. Вдруг черный скрипач одним прыжком вскочил на одетую в красное одеяние кучу камней, обернулся и огляделся вокруг. Парочка остановилась и в смущении глядела на черного парня; пройти вперед мимо него они не могли, так как дорога вела в деревню, а повернуть обратно у него на глазах им тоже не хотелось. Он окинул их пронзительным взглядом и воскликнул:

— Я знаю вас: вы дети тех, кто украл у меня вот эту землю! Приятно видеть, до чего вы дошли. Надеюсь дожить и до того часа, когда вы отправитесь на тот свет. Взгляните-ка на меня, воробушки! Как вам нравится мой нос, а?

Нос у него в самом деле был страшный. Он резко выделялся на черном худом лице, похожий на большой угломер или, вернее, на основательных размеров затычку либо деревянный обрубок, прилепнутый к этому лицу, а под носом круглился странно поджатый рот, который беспрестанно пыхтел, шипел, свистел. Жуткое впечатление производила к тому же его войлочная шапчонка, не круглая и не острокопечная, но такой странной формы, что, казалось, она все время меняет вид, хотя на самом деле она сидела на голове неподвижно; а от глаз этого парня были видны почти только одни белки, так как зрачки его беспрерывно с молниеносной быстротой перебегали с места на место, как петляющие зайцы.

— Взгляните на меня, — продолжал он, — ваши отцы хорошо меня знают, и всякий в этой деревне знает, кто я такой, стоит ему только взглянуть на мой нос. Много лет тому назад было объявление, что для наследника этой пашни хранятся кой-какие деньжонки; раз двадцать я заявлял свои права, но у меня нет свидетельства о рождении и о месте жительства, а показания моих друзей-бродяг, которые видели, как я родился, не принимаются в расчет. И вот законный срок уже давно истек, я потерял мои кровные денежки, с которыми я мог бы куда-нибудь переселиться. Я просил и молил ваших отцов показать, что они по чистой совести считают меня законным наследником, но они прогнали меня со двора, а теперь и сами отправились к черту! Вот! Такова жизнь! Мне что? Могу и на скрипке сыграть, если вам поплясать охота.

С этими словами он спрыгнул с кучи камней на противоположную сторону и направился к деревне, куда к вечеру свезли урожай и где люди поэтому были весело настроены. Когда он исчез, растерявшиеся и опечаленные молодые люди присели на камни; они разняли сплетенные руки и грустно поникли головами; появление скрипача и его слова вырвали их из состояния счастливого забытья, в котором они бродили, как дети, вверх и вниз по холму; сидя на жесткой куче камней, от которой пошло все их горе, они почувствовали, что веселый свет жизни померк и сердца их отяжелели, как эти камни.

Вдруг Френхен, вспомнив диковинную фигуру и нос скрипача, звонко расхохоталась:

— Какой смешной вид у этого бедняги! Что за нос у него!

И лицо девушки засветилось яркой, как солнце, радостью, словно она только того и дожидалась, чтоб воспоминание о носе скрипача прогнало унылые тучи. Сали взглянул на Френхен, на ее повеселевшее лицо. Но девушка уже забыла о причине этой веселости и просто смеялась без всякого повода, глядя на Сали. А он, смущенный и изумленный, продолжал невольно с улыбкой смотреть ей в глаза, подобно голодному, увидевшему вкусный пшеничный хлеб, и воскликнул:

— Боже, Фрели, до чего ты красива!

Френхен опять рассмеялась, и смех вырвался из ее горла несколькими звонкими короткими радостными трелями, которые звучали для бедного Сали как пение соловья.

— Ах ты колдунья! Где ты научилась этому? Что это за колдовство?

— Ах, боже милостивый! — ласково сказала Френхен и взяла руку Сали. — Это вовсе не колдовство. Как давно хотелось мне посмеяться! Прежде, бывало, когда я оставалась одна, я невольно смеялась над чем-нибудь, но это совсем не то; теперь же, когда я смотрю на тебя, я готова смеяться всегда, вечно. А смотреть на тебя я тоже готова вечно. Любишь ты меня немножко?

— О Фрели! — сказал он, преданно и нежно взглянув ей в глаза. — Я никогда еще не засматривался ни на одну девушку, мне всегда казалось, что когда-нибудь я полюблю тебя. И сам я не знаю, как ты запала мне в душу.

— А ты мне, — сказала Френхен, — больше, чем я тебе; ведь ты никогда на меня не смотрел и не знал, какая я стала; я же тебя видала издали и даже иной раз украдкой разглядывала вблизи и всегда знала, какой ты. Помнишь, как часто мы приходили сюда детьми? Помнишь колясочку? Какие малыши мы были тогда, и как давно это было! Можно подумать, что мы уже совсем старики!

— Сколько тебе лет теперь? — спросил довольный и веселый Сали. — Наверно, семнадцать?

— Семнадцать с половиной, — ответила Френхен, — а тебе? Впрочем, я знаю: тебе скоро минет двадцать.

— Откуда ты знаешь? — спросил Сали.

— Так я и скажу тебе! Как бы не так!

— Не скажешь?

— Нет.

— Ни за что?

— Нет, нет!

— Скажи!

— Уж не заставишь ли ты меня?

— Посмотрим.

Сали вел эту несложную беседу, чтобы дать волю рукам, и под видом наказания осыпал красивую девушку неуклюжими ласками. Она, обороняясь, тоже терпеливо поддерживала этот нелепый спор, который, несмотря на всю бессодержательность, казался молодым людям остроумным и сладостным, пока наконец Сали не разгорячился и не осмелел до того, что завладел руками Френхен и повалил ее на цветы мака. И она лежала, щуря от солнца глаза; ее щеки пылали, как пурпур, сквозь полуоткрытый рот сверкали два ряда белых зубов. Темные брови красиво сдвигались, порывисто поднималась и опускалась молодая грудь, на которой сплетались, лаская или отталкивая друг друга, две пары

рук. Сали не знал, что и делать от радости, видя перед собою это стройное, красивое существо, которое он мог считать своим: ему казалось, что он владеет целым королевством.

— Все твои белые зубы еще при тебе? — спросил он смеясь. — Помнишь, как часто мы когда-то считали их? Теперь ты уже научилась считать?

— Ведь это уже не те зубы, глупый, — ответила Френхен, — те давно выпали.

Простодушный Сали хотел было снова возобновить прежнюю игру и сосчитать блестящие жемчужины зубов, но Френхен вдруг закрыла алый рот, поднялась и стала плести венки из красных маков, а потом надела его на голову. Венок был пышный, он придавал смуглой крестьянке сказочно-чарующий вид, и бедняк Сали держал в своих объятиях то, за что дорого заплатили бы богачи, если бы имели возможность любоваться этим хотя бы на картине у себя на стене. Внезапно Френхен вскочила и закричала:

— Господи, как здесь жарко! А мы, как дураки, сидим здесь, в этом пекле! Пойдем, милый, в высокую рожь!

Они так ловко и бесшумно скользнули туда, что почти не оставили за собою следа, и, словно в тесной камерке, устроились среди золотых колосьев, высоко подымавшихся над их головами, так что над собою они видели лишь яркое голубое небо и ничего больше во всем мире. Они обнялись и стали, не теряя времени, целоваться, и целовались так долго, пока в конце концов не устали, если можно назвать усталостью состояние, когда поцелуи двух влюбленных, как бы изжив себя, замирают на одну-две минуты и среди упоения, в полном расцвете жизни, появляется предчувствие бренности всего земного. Они слышали, как, паря высоко над ними, поют жаворонки, и искали их в воздухе своими зоркими глазами, а когда им казалось, что они увидели, как птица на мгновение блеснула на солнце, подобно внезапно засветившейся в синем небе или упавшей звезде, они как бы в награду снова целовались и изо всех сил старались обчитать и обмануть друг друга.

— Смотри, вон там мелькнул жаворончок, — шептал Сали, а Френхен так же тихо отвечала:

— Слышу как будто, но не вижу его.

— А ты посмотри, взглядишь, вон там, где белое облачко, немного правее.

И оба усердно устремляли туда взоры, открывая пока что собственные клювы, словно молодые перепела в гнезде,

чтобы без промедления снова впиться друг в друга, как только им представится, что они увидели жаворонка.

Вдруг Френхен остановилась и сказала:

— Значит, дело решенное? У тебя есть возлюбленная, а у меня — возлюбленный, правда?

— Да, — сказал Сали, — мне тоже так кажется.

— Как тебе нравится твоя милая? — спросила Френхен. — Что это за особа? Что ты расскажешь мне о ней?

— Это преприятная особа, — сказал Сали, — у нее два карих глаза, алый рот, и ходит она на двух ногах. Но я знаю о ней меньше, чем о папе римском. А что ты расскажешь о твоём милоте?

— У него два голубых глаза, никуда не годный рот и две сильные, дерзкие руки, но его мысли мне так же неизвестны, как мысли турецкого султана.

— Да, так оно и есть, — сказал Сали, — мы знаем друг друга так мало, как будто никогда не видались: такими чужими мы стали за долгие годы, пока росли. Чего только не передумала твоя головка, дорогая девочка?

— Ах, не много! В ней всегда шевелились тысячи глупых затей, но мне так трудно жилось, что из них ничего не выходило.

— Ах, бедная девочка! И все же, кажется мне, ты предгадливая, не правда ли?

— Это ты сам исподволь узнаешь, если и вправду любишь меня.

— Когда ты станешь моей женой?

При этих словах Френхен слегка вздрогнула, теснее прижалась к Сали и стала снова нежно его целовать; у нее наворачнулись слезы на глаза, и оба сразу приныли, вспомнив о своем безнадежном будущем и о вражде между родителями.

Френхен вздрогнула и сказала:

— Идем, мне пора домой.

И они поднялись и рука об руку вышли из ржи, как вдруг увидели перед собой отца Френхен, который выслеживал их. После встречи с Сали он стал доискиваться с мелочной пропизательностью досужего горемыки, зачем бы это парню понадебилось идти одному в деревню, и, вспомнив о вчерашнем происшествии, продолжал шагать в гору, пока наконец, под влиянием гнева и праздной злобы, не попал на верный след. Как только его подозрения окрепли, он сразу же, посреди улиц Зельдвилы, повернул обратно и поплелся

в свою деревню, где тщетно искал дочь и в доме, и во дворе, и в кустах, окаймлявших изгородь. Любопытство его все возрастало, он побежал в поле и, заметив корзину, в которую Френкен обыкновенно собирала овощи, но не видя нигде самой девушки, стал искать ее во ржи, на ниве соседа, как вдруг навстречу ему вышли испуганные дети.

Они стояли точно окаменелые; остановился сначала и Марти, бледный как мел, бросая на них злые взгляды; затем он пришел в страшную ярость и, бранясь, размахивая руками, ринулся в иступлении на молодого парня, чтобы задушить его. Сали, однако, увернулся и отскочил на несколько шагов, испуганный диким видом Марти, но тотчас опять подбежал, увидев, что старик бросился на дрожащую девушку, дал ей затрещину, от которой красный венчик слетел на землю, и, накрутив ее волосы на руку, потянул за собой, чтобы избить ее.

Боясь за Френкен и не помня себя от гнева, Сали схватил камень и ударил им старика по голове. Марти слегка пошатнулся и затем грохнулся без сознания на кучу камней, потянув за собой жалобно кричавшую Френкен; Сали же освободил волосы молодой девушки из рук лежавшего без чувств отца и поднял ее; затем он стал, словно статуя, беспомощный и без единой мысли в голове. Девушка, увидев, что отец лежит как мертвый, провела рукой по побледневшему лицу, задрожала и воскликнула:

— Ты убил его?

Сали безмолвно кивнул, и Френкен закричала:

— Боже милостивый! Ведь это мой отец! Бедняга! — и как безумная бросилась к отцу и подняла его голову, на которой, впрочем, не было следов крови. Она снова отпустила ее; Сали стал на колени по другую сторону Марти, и оба, безмолвные как могила, с повисшими, как плети, руками, смотрели на безжизненное лицо старика.

Чтобы нарушить молчание, Сали наконец произнес:

— Не мог же он так сразу умереть! Это еще надо выяснить.

Френкен сорвала лепесток дикого мака, приложила его к побелевшим губам отца, и листок слабо зашевелился.

— Он еще дышит! — закричала она. — Беги же в деревню за помощью!

Когда Сали вскочил, собираясь бежать, она протянула ему руку и позвала обратно.

— Не возвращайся сюда и не говори о том, что тут было, я тоже буду молчать, у меня ничего не выпытают, — сказала она, и лицо ее, обращенное к растерявшемуся парню, оросилось слезами. — Подойди, поцелуй меня еще раз! Нет, ступай, уходи! Все кончено навеки, нам не жить уже вместе.

Она оттолкнула его, и он покорно побежал в деревню. Ему повстречался незнакомый мальчик; он поручил ему позвать людей, живущих поблизости, и точно описал место, где нужна была помощь. Затем он в отчаянии удалился и всю ночь бродил по роше, в окрестностях деревни. Поутру он прокрался на пашню, чтобы разведать о состоянии Марти, и узнал из разговоров людей, вышедших ранним утром в поле на работу, что Марти еще жив, но лежит без сознания, и что все это очень странно: никто не знает, что с ним случилось. Только тогда Сали вернулся в город и укрылся в гнетущем мраке своего дома.

Френхен сдержала слово: она нашла отца в бессознательном состоянии — только этого и могли добиться от нее, и так как на следующий день Марти стал поворачиваться и дышать, не приходя в сознание, и к тому же никто не выступил с обвинениями, то и порешили, что он в пьяном виде упал на камни, и не стали расследовать этого дела. Френхен ухаживала за ним и не отходила от него ни на шаг — разве только затем, чтобы принести лекарство от доктора или сварить себе жиденькую похлебку; она почти ничего не ела, хотя день и ночь была на ногах и никто не помогал ей.

Прошло около шести недель, пока к больному постепенно вернулось сознание; впрочем, он уже и до этого стал принимать пищу и чувствовал себя довольно бодро в постели. Но сознание, которое вернулось к нему, было не прежнее, и чем больше он говорил, тем становилось яснее, что он впал в слабоумие, и притом самого странного свойства. Он лишь смутно помнил о случившемся. Это было, казалось ему, нечто забавное и его не касавшееся; он непрерывно смеялся, как дурачок, и был в прекрасном настроении. Лежа в постели, он удивлял всех нелепыми выходками, без конца сыпал бессмысленно веселыми словами, корчил рожи и напяливал свой черный шерстяной колпак на глаза и нос, который становился тогда похожим на гроб под черным покрывалом.

Бледная, утомленная Френхен терпеливо слушала отца, проливая слезы над его безумием, которое пугало бедное



дита еще сильнее, чем его прежняя злоба; но когда старик иногда выкидывал что-нибудь уж очень смешное, она, несмотря на свою муку, громко смеялась, потому что ее подавленное горем существо всегда готово было выпрямиться, как натянутый лук, и развеселиться, хотя за этим и следовало еще более глубокое уныние. Но когда старик начал вставать, с ним уже не было никакого сладу: он делал одни только глупости, хохотал, слоняясь по дому, садился на солнцепеке, высовывал язык или произносил длинные речи, обращенные в пространство.

К тому времени он потерял последние остатки своего прежнего имущества, и разруха дошла до того, что и дом и последняя пашня, давно заложенные, были проданы с молотка. Крестьянин, купивший обе пашни, воспользовался болезнью и полным разорением Марти и быстро, решительно довел до конца старое дело о спорном участке, засыпанном камнями; проигранный процесс окончательно вырвал почву из-под ног Марти, хотя, впрочем, в своем безумии он и не понимал этого. Продажа с торгов состоялась; старика поместили на казенный счет в заведение для умалишенных, где содержались и другие несчастные, подобные ему. Оно находилось в главном городе той же провинции; здорового и прожорливого дурачка перед отъездом еще раз сытно покормили, усадили в запряженную волами повозку, в которой ехал в город бедняк крестьянин, чтобы заодно продать там мешок-другой картофеля. Френхен тоже села в повозку рядом с отцом, желая сопровождать его на последнем пути к погребению заживо. Это была печальная и тяжелая поездка, но Френхен внимательно следила за отцом, усаживала его поудобнее, не оглядывалась назад и не проявляла нетерпения, когда люди, замечая ужимки несчастного, бежали вслед за повозкою повсюду, где они проезжали. Наконец они добрались до обширного здания в городе, где по длинным коридорам, дворам и в уютном садике сновало множество таких же бедняк; все они были в белых халатах, а их глупые головы были покрыты грубыми кожаными колпаками. Старика Марти еще в присутствии Френхен нарядили в такую же одежду, и он радовался этому, как ребенок, и танцевал, припевая.

— Да благословит вас бог, почтенные господа! — крикнул он своим новым товарищам. — У вас тут прекрасно! Иди домой, Френхен, скажи матери, что я больше не вернусь, мне здесь нравится, ей-богу! Ура! Ура! Вот он, еж, у нас

каков: он лает у ворот. Девушка, к черту стариков, для молодых твой рот! Все ручейки впадают в Рейн, так было, так останется. Чьи глаза черны, как сливы, та моя избранница! Ты уже уходишь, Фрели? Ты выглядишь, словно смерть в глиняном горшке, а ведь мне так весело! Лисица в поле кричит: галло, галло! У нее болит сердце: гого, гого!

Надзиратель прикрикнул на него, приказав молчать, и увел, чтобы занять какой-нибудь легкой работой, а Френхен отправилась разыскивать свою повозку. Она села на воз, бинула ломтик хлеба и, поев, заснула, а когда вернулся крестьянин, они отправились обратно в деревню. Приехали только ночью. Френхен вошла в дом, где она родилась и где ей позволили остаться всего лишь два дня; в первый раз в жизни она очутилась здесь в полном одиночестве. Она развела огонь, чтобы сварить кофе из последних остатков, и села на лежанку; уж очень ей было тяжело. В тоске и муке она ломала себе голову над тем, как бы ей увидеть Сали еще хоть один-единственный раз, и всеми своими помыслами была с ним; но забота делала еще горше тоску, а тоска — еще горше и тяжелее заботу... Так сидела она, подперев голову рукой, как вдруг кто-то вошел в открытую настежь дверь.

— Сали! — крикнула Френхен, взглянув на вошедшего; затем оба в испуге посмотрели друг на друга и в один голос воскликнули:

— Какой у тебя ужасный вид!

Сали был бледен и изможден не менее Френхен. Забыв обо всем, она притянула его к себе на лежанку.

— Ты болен, — спросила она, — или уж очень плохо тебе живется?

— Нет, я не болен, но извелся от тоски по тебе, — ответил Сали. — Наш дом теперь — полная чаша. У отца заезжий двор и притон для всякого пришлого сброда, и сдается мне, что он укрывает краденое. Теперь в нашем трактире раздолье, но, конечно, до поры до времени, пока не наступит ужасный конец. Мать помогает отцу из алчности, лишь бы хоть что-нибудь завелось в доме. К тому же ей кажется, что если за всем присмотреть и навести порядок, то и срам прикроется и выгода будет. Меня не спрашивают, да я и не особенно об этом печалюсь; день и ночь я думаю только о тебе. Так как к нам заходит всякого рода бродяги, мы каждый день слышим, что у вас происходит, и мой отец как ребенок этому радуется. Узнали мы и о том, что твоего отца

сегодня отвезли в больницу. Я подумал, что теперь ты одна, и пришел повидаться с тобой.

Френхен, в свою очередь, излила ему всю душу, рассказала обо всем, что ее угнетало и мучило, но слова так легко и доверчиво шли с языка, будто она описывала великое счастье; и в самом деле, она была счастлива, что Сали с ней. Тем временем она кое-как вскипятила в кастрюльке кофе и заставила Сали выпить его.

— Послезавтра тебе, значит, придется уйти отсюда? — сказал Сали. — Что же станет с тобой, боже милостивый!

— Не знаю, — промолвила Френхен. — Пойду в услужение, уеду отсюда. Я не выдержу разлуки с тобою, а стать твоей женой не могу — хотя бы уже потому, что ты ударил моего отца и по твоей вине он лишился рассудка. Это было бы плохое начало для нашего брака, и мы никогда бы не знали покоя!

Сали вздохнул.

— Я тоже сотни раз уже хотел уйти в солдаты или наняться в батраки на чужую сторону, но не могу уйти, пока ты здесь, да разлука все равно изведет меня. От горя моя любовь к тебе стала как будто еще крепче, мучительнее; это любовь не на жизнь, а на смерть. Я не знал, что можно так любить!

Френхен, улыбаясь, с любовью смотрела на него; оба они прислонились к стене и не говорили ни слова, молча отдаваясь счастливому чувству, которое взяло вверх над тоской: в величайшей беде они были дружны, были любимы. Затем они мирно заснули на неудобной лежанке, без подушки и перины, и спали так спокойно и безмятежно, как двое детей в колыбели.

Уже брезжил рассвет, когда Сали первый проснулся и со всей нежностью, на какую только был способен, стал будить Френхен; но девушка в сонной истоме снова и снова никла, склоняясь к нему, и никак не могла проснуться. Наконец он страстно поцеловал ее в губы, и Френхен поднялась, раскрыла глаза и, увидев Сали, воскликнула:

— Боже милостивый! Ты мне только что приснился! Снилось мне, что мы долго танцевали на нашей свадьбе, долго, долго. И были такие счастливые, нарядные, и ни в чем у нас не было недостатка. Наконец нам захотелось поцеловаться, мы так томнились, но все время что-то разлучало нас, а теперь вот ты сам помешал нам, все расстроил! Но как хорошо, что ты здесь! — Она жадно обхватила его шею

и стала без конца целовать. — А тебе что снилось? — спросила она, глядя его щеки и подбородок.

— Мне снилось, что я иду лесом по длинной, длинной дороге, а впереди, вдалеке, идешь ты; время от времени ты оглядываешься на меня, киваешь мне и смеешься. И тогда мне казалось, что я в небесах. Вот и все!

Они вышли через кухонную дверь, которая оставалась все время открытой, прямо во двор, на свежий воздух, и невольно расхохотались, всмотревшись друг в друга: правая щека Френхен и левая Сали, прижатые во сне одна к другой, стали от этого совсем красные, а обе другие щеки еще более побелели от свежего ночного воздуха. Они стали нежно растирать друг другу холодные бледные щеки, чтобы вызвать на них краску; свежий воздух росистого утра, безмолвие и покой, объявшие всю деревню, едва запявшаяся заря принесли им радость и забвение; в особенности в девушку, казалось, вселился дух беззаботности.

— Завтра вечером мне придется, значит, покинуть этот дом, — сказала она, — и искать себе другой кров. Но прежде мне хотелось бы хоть раз — только один раз! — от души повеселиться с тобой, где-нибудь долго и беззаботно танцевать, у меня из головы не идет, как мы танцевали во сне!

— Но что бы то ни было, я хочу быть возле тебя, — произнес Сали, — пока ты не найдешь себе пристанища, да и поплясать с тобой, любимая, мне тоже хотелось бы. Но где?

— Завтра в двух деревнях неподалеку отсюда храмовой праздник, — сказала Френхен. — Там нас мало знают и меньше будут обращать внимание на нас. Я подожду тебя у реки, и мы пойдем, куда нам вздумается, чтобы повеселиться хоть разочек, один только разочек! Но постой, денег-то у нас нет? — грустно прибавила она. — Ничего из этого, значит, не выйдет!

— Не печалься, — сказал Сали, — я принесу немного денег.

— Но не отцовские? Не... краденые?

— Не беспокойся, у меня уцелели еще серебряные часы, я продам их.

— Не стану отговаривать тебя, — сказала, покраснев, Френхен, — мне кажется, я умру, если завтра не буду с тобой танцевать.

— Самое лучшее было бы нам умереть обоим, — сказал Сали.

С тоской и болью они обнялись на прощание и все же, вырвавшись из объятий друг друга, радостно улыбнулись, твердо надеясь встретиться завтра.

— Когда же ты придешь? — крикнула еще Френхен.

— Утром, не позже одиннадцати, — ответил он, — мы еще на славу с тобой пообедаем!

— Вот хорошо! А еще лучше приходи в половине одиннадцатого!

Когда Сали уже отошел, она снова окликнула его, лицо ее внезапно изменилось, на нем проступило отчаяние.

— Ничего из этого не выйдет, — горько воскликнула она, — у меня не осталось праздничных башмаков! Уже вчера мне пришлось, когда я поехала в город, надеть вот эти, грубые. Не знаю, где достать другие.

Сали стоял растерянный и смущенный.

— Нет башмаков? — повторил он. — Придется, значит, идти в этих.

— Нет, нет, в этих нельзя танцевать.

— Что ж, надо будет купить другие!

— Где? На какие деньги?

— Ах, обувных лавок в Зельдвиле хоть отбавляй. А деньги я раздобуду; и двух часов не пройдет, как я принесу их.

— Но не могу же я расхаживать с тобою по Зельдвиле, и на башмаки денег, наверно, не хватит!

— Должно хватить! Я сам куплю башмаки и завтра принесу их тебе!

— О глупый, они ведь не придутся мне по ноге!

— Дай мне старый башмак... или погоди, я сниму с твоей ноги мерку, это будет самое лучшее, ведь это дело не бог весть какое мудреное.

— Снять мерку? В самом деле! Мне это в голову не пришло. Подожди, я поищу шнурочек.

Она опять присела на лежанку, слегка приподняла юбку и сняла башмак с ноги, обутой еще со вчерашней поездки в белый чулок. Сали опустился на колени и стал, как умел, снимать мерку, приложив по длине и ширине к маленькой ножке шнурок и тщательно завязывая на нем узелки.

— Ах ты башмачник, — сказала Френхен и ласково засмеялась, покраснев.

Сали тоже покраснел, крепко держа — дольше, чем это нужно было, — ногу в своих руках, так что Френхен еще сильнее залилась краской, отдернула ее, но еще раз страстно

обняла и поцеловала смущенного Сали, а затем велела ему уходить.

Придя в город, Сали тотчас же отнес часы к часовщику, который дал ему за них шесть или семь гульденов; еще несколько гульденов он получил за серебряную цепочку и почувствовал себя богачом; с тех пор как он стал взрослым, у него никогда не было сразу столько денег в руках. «Скорее бы день пришел к концу, скорее началось бы воскресенье, чтобы можно было за эти гульдены добыть счастье, которое этот день нам сулит», — думал Сали, и чем грознее надвигалось мрачное и неведомое послезавтра, тем причудливей, тем ярче сверкало и сияло веселое и желанное завтра. А пока Сали все-таки скоротал время, разыскивая башмаки для Френхен, и это дело показалось ему самым приятным из всех, какими он когда-либо занимался. Он ходил от одного башмачника к другому, заставляя их выкладывать перед собою всю женскую обувь, какая у них была, и наконец купил легкую, изящную пару, такую красивую, какой Френхен еще никогда не носила. Сали спрятал башмаки под жилет и не разлучался с ними весь день, а ночью взял к себе в постель и положил под подушку. Так как сегодня поутру он уже видел девушку и ему предстояло увидеть ее завтра, он спал крепко и спокойно, но проснулся очень рано и принялся чистить и приводить в порядок, насколько было возможно, свой плохонький воскресный костюм. Это привлекло внимание матери, которая удивленно спросила, что же это Сали собирается делать, ведь он уже давно не одевался так тщательно. Ему хочется побывать наконец за городом и развлечься, ответил сын, здесь, дома, просто заболеть можно.

— Странные у него повадки в последнее время, — заворчал отец, — все шатается где-то.

— Пусть идет, — сказала мать, — может быть, это будет ему на пользу, прямо смотреть жалко, как он выглядит.

— А деньги на гулянье у тебя есть? Где ты их взял? — спросил старик.

— Не надо мне денег! — сказал Сали.

— Вот тебе гульден! — отец бросил ему монету. — Прощай его в деревне, в трактире, пусть не думают, что нам здесь так уж туго приходится.

— Не пойду я в деревню, и не надо мне гульдена, возмите его.

— Так я тебе и дал его! Не стоишь ты его, упрямая башка! — закричал Манц и сунул деньги обратно в карман.

Но мать, которая сама не понимала, отчего ей сегодня при виде сына так грустно и больно, принесла ему большой черный миланский шарф с красной каймой — она сама его только изредка надевала, а Сали он всегда нравился. Он обернул шарф вокруг шеи, оставив длинные, развевающиеся концы; в припадке шегольства он впервые приподнял, по деревенской моде, до самых ушей, солидно и по-мужски, ворот своей рубашки, который обычно носил откинутым, и, как только пробило семь, отправился в путь, сунув башмаки во внутренний карман куртки. Когда он вышел из комнаты, им внезапно овладело необыкновенное желание пожать руку отцу и матери, а выйдя на улицу, он еще раз оглянулся на дом.

— Думается мне, — сказал Манц, — парень бегает вернее всего за какой-нибудь юбкой. Еще этого нам не хватало!

Жена отвечала:

— Дал бы бог, чтобы он нашел свое счастье! Хорошо бы это было для бедного мальчика!

— Еще бы! — возразил муж. — Очень это нужно! Райское будет житье, когда он нарвется на какую-нибудь язвотрещотку. Вот уж было бы счастье для бедного мальчика! Что и говорить!

Сначала Сали отправился к реке, где хотел дожидаться Френхен, но дорогой передумал и пошел прямо в деревню за девушкой, — ждать до половины одиннадцатого казалось ему слишком долгим.

«Какое нам дело до людей? — думал он. — Никто нам не помогает, я действую честно и никого не боюсь!»

Сали неожиданно очутился в комнате Френхен и так же неожиданно застал ее совершенно одетой и приваряженной в ожидании минуты, когда можно будет идти; только башмаков еще не хватало. Увидев девушку, Сали молча, с открытым ртом, остановился посреди комнаты — так она была хороша. На ней было совсем простенькое платье из голубого полотна, но свежее, чистое, ловко облегавшее ее стройное тело. Поверх платья она накинула белоснежную муслиновую косынку — вот и весь наряд. Темные вьющиеся волосы были тщательно причесаны, а кудри, обычно свисавшие в беспорядке, красиво обрамляли головку. Оттого что Френхен уже много недель почти не выходила из дому, да и от тяжелых забот, цвет ее лица стал нежнее и прозрачнее; но любовь и радость заливали эту прозрачность все более густым румянцем. А на груди у нее был красивый букет из розмарина, роз и чудесных астр. Тихая, прелестная, она сидела у от-

крытого окна и вдыхала насыщенный солнцем утренний воздух, но, увидев Сали, протянула к нему обе обнаженные до локтя красивые руки и воскликнула:

— Как хорошо ты сделал, что пришел прямо сюда и так рано! Но принес ли ты башмаки? Да? Я не встану, пока не надену их!

Сали вынул из кармана желанные башмаки и подал их так жадно мечтавшей о них красавице; она скинула старые и скользнула в повые, которые пришлось как раз впору. Тогда только она поднялась со стула, потопталась на месте в новых башмаках и несколько раз быстро прошла взад и вперед. Она слегка приподняла длинное голубое платье и с восхищением смотрела на красные шерстяные бантики, украшавшие башмаки, а Сали тем временем не отводил глаз от милой, очаровательной девушки, в радостном возбуждении ходившей перед ним по комнате.

— Ты смотришь на мой букет? — спросила Френкен. — Не правда ли, какой красивый? Знаешь, это уж последние цветы, которые мне удалось найти на нашем пустыре. Лишь кое-где попадалась розочка или астра, а теперь, когда они собраны в букет, никому и в голову не придет, что я с трудом нашла их среди такого разорения. Ну, мне пора уходить отсюда: в саду — ни цветочка, в доме — хоть шаром покати.

Сали огляделся и только теперь заметил, что вывезена вся движимость, которая еще оставалась в доме.

— Бедняжка Фрели! — сказал он. — У тебя уже забрали все?

— Вчера, — ответила она, — увезли все, что только можно было сдвинуть с места, и не оставили мне ничего, кроме кровати. Но я тут же продала ее, теперь и у меня есть деньги. Смотри!

Она вынула из кармана несколько новеньких блестящих талеров и показала ему.

— С этими деньгами, — продолжала она, — я должна, как сказал сиротский опекун — он тоже был здесь, — отправиться на поиски места в город и уйти отсюда сегодня же.

— И здесь уже ничего не осталось! — сказал Сали, взглянув на кухню. — Ни дров, ни сковородки, ни пожа! Ты ничего не ела с утра?

— Ничего, — ответила Френкен. — Я могла бы купить себе что-нибудь, но решила потерпеть, чтобы потом досыта поесть вместе с тобой, ведь я так рада этому, ты не поверишь, как я рада!



— Если бы я смел прикоснуться к тебе, ты поняла бы, что у меня на сердце, красавица ты моя!

— Правда, нельзя, ты изомнешь мой наряд, да и цветы пожалеешь, так будет лучше и бедной моей голове — ведь ты всегда ерошишь мои волосы.

— Идем же, двинемся в путь.

— Нет, надо еще дожидаться, пока заберут кровать, а потом я запру пустой дом и больше сюда не вернусь! Мой узел отдам на хранение женщине, которая купила кровать.

И вот они уселись друг против друга и стали ждать. Крестьянка скоро пришла; это была коренастая говорливая женщина, она привела с собою парня, который должен был унести кровать. Когда женщина увидела возлюбленного Френхен и принарядившуюся девушку, она, разинув рот от удивления, подбоченилась и воскликнула:

— Скажи на милость, Фрели! Ты, я вижу, времени зря не теряешь: принимаешь гостей и разоделась, как принцесса.

— Как же, — сказала Френхен, приветливо улыбаясь, — а вы знаете, кто это?

— Ах, как будто это Сали Манц. Гора, говорят, с горой не сходится, а человек с человеком сойдется. Но будь осторожнее, дитя, вспомни, что было с вашими родителями!

— Ах, теперь все переменилось, и все опять хорошо, — улыбаясь, с дружеской откровенностью, почти снисходительно возразила Френхен. — Вот видите, Сали — мой жених!

— Жених? Что ты говоришь!

— Да. И богат к тому же, он выиграл в лотерею сто тысяч гульденов. Представьте себе, соседка!

Та подскочила на месте, испуганно всплеснула руками и воскликнула:

— Сто! Сто тысяч!

— Да, сто тысяч, — серьезно уверяла Френхен.

— Боже милостивый, это неправда, ты обманываешь меня, дитя!

— Не хотите — не верьте, воля ваша!

— Но если это правда и ты выйдешь за него замуж, что вы сделаете с такими деньгами? Ты станешь знатной дамой?

— Конечно, и мы сыграем свадьбу через три недели!

— Поди прочь, противная глупня!

— Он уже купил великолепный дом в Зельдвиле, с большим садом и виноградником; вы должны побывать у меня, когда мы устроимся, я надеюсь на это.

— Непременно, чертенок ты этакий!

— Вот увидите, как там прекрасно! Я приготовлю чудесный кофе и угощу вас сдобным хлебом с маслом и медом!

— О плутовка! Так и знай, приду! — воскликнула женщина, и взгляд ее стал жадным, а изо рта потекли слюнки.

— А если вы завернете к нам в обеденное время, усталая, после рынка, для вас всегда будет наготове крепкий мясной бульон и стакан вина.

— Вот это здорово!

— Найдутся и сладости или белые сдобные булочки для ваших ребят.

— Прямо пальчики оближешь!

— Хорошенькую косыночку, или остаток шелка, или красивую старую тесьму вам для юбки, или какой-нибудь лоскут для нового фартука, уж наверно, отыщем, когда улучим минутку и пероемся в сундуках.

Женщина повернулась на каблуках и в упоении трянула юбками.

— И если вашему мужу подвернется выгодное дело — покупка земли или скота — и ему не хватит денег, то вы знаете, по какому адресу вам обратиться. Мой дорогой Сали во всякое время будет рад поместить часть своей наличности в верное и доходное дело. Да и у меня найдутся кой-какие сбережения, чтобы помочь близкой приятельнице.

Одуроченная вконец женщина растроганно сказала:

— Я всегда говорила, что ты хорошее, доброе, красивое дитя! Да ниспошлет тебе бог хорошую жизнь отныне и во веки веков, и да благословит он тебя за все, что ты сделаешь для меня.

— Но и я, в свою очередь, требую, чтобы вы хорошо относились ко мне!

— Можешь всегда на это рассчитывать!

— И чтобы вы всегда приносили мне ваши товары — фрукты ли, картофель или овощи — прежде, чем понесете их на рынок; чтобы я была уверена в том, что у меня есть под рукой честная крестьянка, на которую я могу положиться. Цену, которую даст вам другой, с радостью заплачу и я, ведь вы меня знаете! Что может быть лучше настоящей, прочной дружбы между состоятельной горожанкой, которая так беспомощно сидит в четырех стенах и нуждается в стольких вещах, и правдивой, честной деревенской женщиной, опытной во всех важных житейских делах! В сотнях случаев бывает это полезно — в радости и горе, на крести-

нах и на свадьбе, когда дети начинают учиться и когда они идут к конфирмацни, когда поступают в ученики к мастеру или отправляются странствовать; при недороде и наводнении, при пожаре и граде, от чего да сохрпит нас господь!

— От чего да сохрпит нас господь! — повторила добрая женщина, всхлипывая и вытирая фартуком слезу. — До чего же ты, милая невестушка, умна и рассудительна! Да, тебе будет житься хорошо, иначе и правды нет на свете. Ты красива, опрятна, умна, прилежна и на все руки мастерица. Ни в деревне, ни во всей округе нет никого красивее, лучше тебя, и кто женится на тебе, должен почитать себя в раю, или же он негодяй, и тогда ему придется иметь дело со мпой. Сали, послушай! Будь ласков с моей Фрели, а не то я проучу тебя. Повезло же тебе, ну и розочку ты сорвал!

— А теперь возьмите с собой мой узел, как вы обещали мне, пока я не пришлю за ним. Может быть, я и сама приеду за ним в карете, если вы ничего не имеете против. В кружке молока вы не откажете мне, а вкусный миндальный торт к молоку я уж сама привезу.

— Золотое дитя мое! Дай узел сюда!

Френхен положила поверх перины, которую женщина уже держала на голове, большой мешок, набитый тряпьем и пожитками, так что на голове у бедной женщины заколыхалась целая башня.

— Пожалуй, мне будет трудно сразу снести все это, — сказала она. — Не прийти ли мне во второй раз?

— Нет, нет! Мы сейчас уходим, путь наш далекий, надо посетить знатных родственников, которые вдруг объявились теперь, когда мы разбогатели. Ведь вы знаете, как это бывает!

— Еще бы! Да хранит тебя бог, и не забывай меня в твоём благополучии.

Крестьянка с башней на голове ушла, едва сохраняя равновесие, за нею поплелся и паренек; приподняв некогда пестро расписанную кровать, он уперся головой в середину полога, на котором изображено было небо с потускневшими звездами, и ухватился, точно второй Самсон, за две передние украшенные резьбой колонки, поддерживавшие это небо. Когда Френхен, опираясь на руки Сали и глядя вслед шествию, увидела среди садов этот колеблющийся храм, она сказала:

— Пожалуй, получилась бы хорошенькая беседка или домик, если бы поставить эту штуку в саду, а внутри поместить столик и скамеечку и обсадить все это плющом. Хотелось бы тебе посидеть там со мною, Сали?

— Да, Фрели! В особенности, когда все заросло бы плющом.

— Что же мы стоим? — сказала Френхен. — Нас здесь больше ничего не удерживает.

— Идем же, запри дом. Кому ты отдашь ключ?

Френхен обвела взглядом двор.

— Повесим его сюда, на алебарду; она находилась в этом доме свыше ста лет, часто рассказывал мне отец, и теперь она останется здесь последним сторожем.

Они повесили старый ключ на ржавый крючок старого оружия, обвитого фасолью, и пошли. Френхен все же побледнела и на несколько мгновений прикрыла глаза, так что Сали пришлось вести ее, пока они не прошли шагов двадцать. Но она не оглянулась.

— Куда же мы теперь пойдем? — спросила она.

— Мы будем, не торопясь, как степенные люди, гулять весь день по окрестностям, — ответил Сали, — где нам понравится, а к вечеру найдется какое-нибудь местечко, чтобы потанцевать.

— Отлично! — сказала Френхен. — Проведем весь день вместе и будем гулять, где нам вздумается. Но сейчас мне что-то не по себе, выпьем кофе в ближайшей деревне!..

— Хорошо, — сказал Сали, — поскорей бы только выбраться отсюда!

Вскоре они очутились в открытом поле и молча пошли рядом по нивам. Выдалось прекрасное сентябрьское утро с безоблачным небом, а холмы и леса были окутаны нежной воздушной дымкой, придававшей им какую-то особую таинственность и торжественность. Со всех сторон доносился звон колоколов — то гармоничный густой перезвон из богатого селения, то беспорядочное дребезжание двух болтливых колокольчиков из бедной деревушки. Влюбленные забыли о том, что их ждет к концу этого дня, и всецело отдались безмолвной радости, от которой так высоко вздымается грудь, — радости свободно скитаться в праздничном наряде по полям, шагать навстречу воскресному дню, точно двое счастливцев, имеющих право принадлежать друг другу. Каждый звук или отдаленный зов, который раздавался в воскресной тишине, с потрясающей силой отзывался в их душах, ибо любовь — это колокол, пробуждающий все самое далекое и самое безразличное и претворяющий все в особую музыку.

Хотя они были голодны, полчаса ходьбы до ближайшего селения показались им коротким мгновением. Слегка сму-

щаяся, они зашли в трактир на окраине деревни; Сали заказал хороший завтрак; пока его приготавливали, они тихонько сидели в большой чистой комнате для гостей, наблюдая за тем, что делалось в солидном и уютном трактире. Хозяин был также и пекарем, последняя выпечка продушила приятным ароматом весь дом, и в комнату вносились полные доверху корзины с хлебом всевозможных сортов, потому что люди заходили сюда после обедни купить белого хлеба или распить утреннюю кружку пива. Хозяйка, вежливая, опрятная женщина, спокойно и ласково наряжала своих детей, и один из мальчиков, освободившись из рук матери, доверчиво подбежал к Френхен, стал показывать ей все свои сокровища и болтать обо всем, что радовало его и чем он мог похвалиться. Когда принесли крепкий, ароматный кофе, молодые люди робко сели за стол, словно они были в гостях, но скоро приободрились и стали тихонько и радостно шептаться друг с другом. Ах, какими вкусными казались счастливой девушке хороший кофе, жирные сливки, свежие, еще теплые булочки, превосходное масло, мед, яичница, и каких только еще лакомых вещей не было тут! Они нравились ей, потому что за столом сидел Сали, и она ела с таким аппетитом, будто постилась целый год. Радовалась она и красивой посуде, серебряным кофейным ложечкам — хозяйка, видно, приняла их за молодоженов и хотела обслужить как следует, она даже присаживалась к ним поболтать, и оба давали ей разумные ответы, которые пришлись ей по душе. Славной Френхен было так хорошо, что она не знала, как быть: пойти ли опять бродить со своим возлюбленным по лугам и лесам или остаться в гостеприимной комнате, вообразив себе хотя бы на несколько часов, что это уютное место — ее дом. Но Сали облегчил ей выбор, степенно и деловито напомнив, что пора уходить, словно им предстояло заранее намеченное и важное путешествие. Хозяин и хозяйка проводили их до порога и, несмотря на очевидную бедность гостей, расстались с ними как нельзя более приветливо, довольные их примерным поведением; а горемычная молодая чета, простившись с ними по всем правилам приличия, благонаравно и чинно удалилась. И даже потом, когда они вышли опять на простор и вступили в обширный дубовый лес, Сали и Френхен продолжали шагать с тем же видом, будто происходили не из разоренных, погрязших в нищете семей, а были детьми состоятельных родителей, беспечно гуляющими и полными сладостных на-

дежд. Френхен в глубокой задумчивости склонила голову на украшенную цветами грудь и брела по лесу, ступая по гладкой влажной земле и осторожно придерживая платье. Сали, напротив, шел приосанившись, устремив задумчивый взор на крепкие дубовые стволы, как добрый хозяин, который прикидывает, какие деревья выгоднее всего вырубить. Наконец они очнулись от своих несбыточных грез, переглянулись и, заметив, что держатся все еще так, как по выходе из трактира, покраснели и печально понурили головы.

Молодо — зелено; лес стоял в свежем уборе, синело небо, они были одни во всем мире, и вскоре прежнее чувство снова завладело ими. Но они недолго оставались одни — красивая лесная дорога оживилась группами молодых людей и парочками, которые прогуливались здесь после обедни, балагурия и распевая песни: ведь у поселян, как и у горожан, есть свои излюбленные места для прогулок, с той лишь разницей, что уход за ними не стоит денег и что они еще прекраснее городских; крестьяне не только бродят в особом праздничном настроении по своим цветущим и зреющим нивам, но и предпринимают прогулки по лесу и зеленым холмам, тщательно выбирая маршрут, отдыхая то на живописном пригорке, то у лесной опушки; поют песни, радостно впитывают впечатления величественной, дикой природы, и так как, по-видимому, они делают это не во искупление грехов, а для своего удовольствия, то остается признать, что у них есть вкус к природе, независимо от приносимой ею пользы. Все они — и молодые парни и старушки, отыскивающие тропинки, по которым гуляли в молодости, — постоянно отламывают что-нибудь зеленое, и даже суровые крестьяне в том возрасте, когда у человека на уме дела, пройдя по лесу, срезают гибкий прут и очищают его от листьев, оставляя зеленый пучок только наверху. Слово скипетр, несут они перед собой такой прут и даже в присутственном месте или в канцелярии заботливо ставят его в какой-нибудь угол, не забывая, как бы серьезны ни были их дела, снова осторожно захватить его с собой и донести невредимым до дома, где только самому младшему сынишке дозволяется его изломать.

Когда Сали и Френхен увидели эту толпу гуляющих, они засмеялись про себя, радуясь, что тоже идут парочкой, но все же свернули в сторону, на узкую лесную тропинку, и скоро оказались в полном одиночестве. Они останавливались, где им нравилось, уходили вперед, снова отдыхали,

и душа их в эти часы не омрачалась ни единой заботой; она была как чистое небо, они забыли, откуда пришли, куда идут, и вели себя так скромно и чинно, что даже милый, простенький наряд Френхен, несмотря на радостное волнение и движение, оставался таким же свежим и нетронутым, каким был поутру. Сали держал себя на этой прогулке не как двадцатилетний деревенский парень, не как сын опустившегося трактирщика, а так, словно он был на несколько лет моложе и отличного воспитания; почти забавно было видеть, с какой нежностью, заботливостью и уважением он поглядывал все время на свою красивую, веселую Френхен. В этот единственный подаренный им день бедным молодым людям пришлось пережить все оттенки, все настроения любви, наверстывая потерянные дни первого расцвета нежности и преждевременно устремляясь к концу нарастающей страсти, за которую они отдавали жизнь.

После прогулки они снова почувствовали голод и обрадовались, увидев с вершины тенистой горы сверкавшую на солнце деревню, где и решили пообедать. Они быстро спустились вниз, но так же благонаравно вошли в эту деревню, как покинули предыдущую. Дорогой они не встретили никого, кто бы узнал их; Френхен не бывала на людях, особенно в последнее время, и уж тем более в соседних деревнях. Итак, Сали и Френхен производили впечатление приятной, достойной уважения парочки, направлявшейся куда-то по делу. Они вошли в первый же трактир, где Сали заказал хороший обед; для них по-праздничному накрыли отдельный стол, и они снова тихо и скромно уселись, оглядывая стены, красиво отделанные полированным орехом, уставленный всякой снедью буфет, тоже ореховый, прекрасный, хоть и деревенской работы, и свежие белые занавески на окнах. Хозяйка, приветливо улыбаясь, подошла к ним и поставила на стол вазу с цветами.

— Пока подадут суп, вы можете, если вам угодно, полюбоваться букетом. Судя по всему, вы, смею спросить, молоденькие жених и невеста и, должно быть, идете в город, чтобы завтра повенчаться?

Френхен покраснела, не решаясь поднять глаза, Сали тоже не ответил, и хозяйка продолжала:

— Конечно, оба вы еще молоды, но кто женится молодому, тот, говорят, долго живет; а вы так красивы и милы, вам незачем таиться. Скромные люди могут многого в жизни добиться, если они сходятся в юности и при этом трудо-

любивы и верны. А верность вам понадобится, время бежит быстро, и все же тянется долго, и впереди у вас много, много дней. Ну, да вы и хороши собою и веселы, только бы вам не упустить это богатство! Прямо скажу, приятно смотреть на вас, такая вы прелестная парочка!

Кельнерша принесла суп; она расслышала кое-что из речей хозяйки, и так как сама была не прочь замуж, то неприязненно посмотрела на Френхен, которой так повезло. В соседней комнате эта неприятная особа дала волю своему языку и, обращаясь к хозяйке, хлопотавшей там, сказала так громко, чтобы гости могли расслышать:

— Уж эта голытьба! Бегут, очертя голову, в город впечататься, а за душой ни гроша, ни друзей, ни приданого и никаких видов на будущее — разве что бедствовать и побираться. Куда это годится, когда замуж выходят такие девчонки, которые еще не умеют сами юбку надеть или суп сварить? Ах, можно только пожалеть красивого парня, который связал себя с этой бесстыдницей.

— Тсс, да замолчишь ли ты, злючка? — возразила хозяйка. — Их я в обиду не дам. Наверно, это вполне добропорядочные молодые люди с гор, где находятся фабрики; одеты они бедно, но опрятно, и раз они любят друг друга и не боятся работы, то успеют в жизни больше, чем ты со своим злым языком. Конечно, тебе, язва этакая, еще долго придется ждать, пока кто-нибудь позарится на тебя, если ты не станешь приветливее.

Так Френхен вкусила все радости невесты, отправляющейся на свадьбу: слова одобрения и благожелательные речи разумной женщины, зависть злой, мечтающей о браке особы, которая с досады расхваливала и жалела ее возлюбленного, и прекрасный обед за одним столом с этим возлюбленным. Лицо у нее пылало, как алая гвоздика, сердце сильно билось, но тем не менее она ела и пила с большим аппетитом и была особенно учтива с кельнершей, хотя не могла себе отказать в удовольствии нежно поглядывать при этом на Сали и шептаться с ним, так что и у него голова пошла кругом. Однако они долго и спокойно оставались за столом, как бы медля и боясь пробудиться от сладкого обмана. На десерт хозяйка принесла печенье, и Сали заказал к нему хорошего, крепкого вина, которое огнем разлилось по жилам Френхен, как только она отпила глоток; но она была осторожна, только временами прикасалась губами к бокалу и сидела скромно и стыдливо, как настоящая невеста. Она



играла эту роль отчасти из озорства и из желания испытывать, что переживает невеста, отчасти же она и в самом деле переживала эти чувства; сердце у нее, казалось ей, вот-вот разорвется от волнения и горячей любви; ей стало тесно в четырех стенах и захотелось выйти на простор. По-видимому, влюбленным было страшно остаться одним, в стороне от людей, и, не сговариваясь, не глядя ни направо, ни налево, они пошли по главной дороге, шумной и людной. Но когда они миновали эту деревню и подходили к другой, где был престольный праздник, Френхен повисла на руке Сали и дрожащим голосом прошептала:

— Сали, почему мы не можем принадлежать друг другу и быть счастливыми?

— И сам не знаю почему, — ответил Сали и устремил взор на мягкие блики осеннего солнца, игравшие на лугах; при этом ему пришлось крепко держать себя в руках, и лицо его странным образом исказилось. Они остановились, чтобы поцеловаться, но показались люди, и они пошли дальше.

Большое село, где был престольный праздник, уже кипело весельем; из красивой гостиницы доносилась шумная танцевальная музыка, так как молодежь принялась плясать уже с полудня, а на площади перед трактиром раскинулся небольшой рынок: несколько столов со сладостями и печеньями и две-три лавочки с дешевыми безделушками; возле них толпились дети и публика того сорта, которая довольствуется главным образом разглядыванием товаров. Сали и Френхен тоже подошли к этим прелестям и засмотрелись на них; оба одновременно опустили руку в карман, и каждый про себя решил подарить что-либо другому, так как они в первый и единственный раз были вместе на таком рынке. Сали купил Френхен красиво побеленный сахарной глазурью большой пряничный дом с зеленой крышей, на которой сидели белые голуби, а из трубы выглядывал амурчик в виде трубочиста. У открытых окон стояла, обнявшись, парочка, оба толстощекие и румяные, с крохотными алыми губами, соединенными в поцелуе, ибо практичный живописец наспех изобразил одной кляксой два ротика, слившихся таким образом воедино. Черные точки изображали веселые глазки. На розовой входной двери можно было прочесть стишки:

«Войди, мой любимал,  
В мой дом, но знай, что он  
Для поцелуев создан  
И страсти подчинен».

«О, это мне не страшно, —  
Любимая в ответ, —  
Мне без тебя, любимый,  
На свете счастья нет.  
Для жарких поцелуев  
Я и пришла сюда».  
«Тогда, добро пожаловать,  
Войди, войди тогда!»<sup>1</sup>

Так изъяснялись между собой, приглашая друг друга войти в дом, нарисованные на стенах — справа и слева от входа — господин в голубом фраке и дама с очень высокой грудью.

Френхен же подарила Сали сердце, на одной стороне которого была приклеена бумажка со словами:

Застряло в сердце сладкое миндальное зерно,  
Но все ж моя любовь к тебе слаще, чем оно, —

а на другой:

Отведай это сердце, но не забудь стишка:  
Скорее света я лишусь, чем разлюблю друга.

Они усердно читали эти вирши, и еще никогда рифмованное или печатное слово не казалось никому таким прекрасным и не производило такого глубокого впечатления, как эти пряничные стишки. Все, что они читали, было сочинено для них как бы по заказу, — так это, казалось, подходило к их положению.

— Ах, — вздохнула Френхен, — ты подарил мне дом, и я подарила тебе дом — единственно настоящий, потому что наше сердце — теперь тот дом, в котором мы живем, и мы носим его с собой, точно улитки. А другого дома у нас нет.

— В таком случае мы две улитки, из которых каждая носит домик другого, — сказал Сали, а Френхен добавила:

— Вот и нельзя нам разлучаться — каждый из нас должен оставаться возле своего дома.

Они не догадывались, что прибегают в своих речах к таким же островам, какие были отпечатаны на пряниках всевозможной формы, и продолжали изучать эту слащавую, неприятную любовную литературу, разложенную на прилавках в виде надписей, приклеенных к маленьким и большим пестро расписанным сердцам. Все казалось им прекрасным, все необычайно соответствовало их чувствам. Когда Френхен прочитала на позолоченном сердце с натяну-

---

<sup>1</sup> Стихи в этой новелле переведены В. Инбер.

тыми, как на лире, струнами слова: «Мое сердце — точно цитра. Коснись струны — и зазвенит!» — ей послышалась музыка, точно ее собственное сердце зазвенело. Был здесь и портрет Наполеона, тоже использованный для начертания на нем любовных стихов; под портретом была надпись: «Из глины сердце при мече стальном имел Наполеон, великий воин. У милой грудь прикрыта лишь цветком, но сердце у нее стальное. Я спокоен».

Но как ни были углублены в чтение Сали и Френхен, каждый из них улучил минуту, чтобы тайком купить кое-что для другого. Сали выбрал для Френхен позолоченное колечко с зеленым стеклышком, а Френхен — кольцо из черного оленьего рога с вытисненной золотом незабудкой. Вероятно, одна и та же мысль возникла у обоих: подарить друг другу, перед тем как расстаться, эти бедные знаки любви.

Уйдя в свои переживания, они в рассеянности не заметили, как постепенно вокруг них образовалось широкое кольцо людей, внимательно и с любопытством следивших за ними. Тут оказалось много девушек и парней из их деревни, которые узнали их и стояли группой в отдалении, с удивлением глядя на нарядную парочку, поглощенную благоговейной нежностью друг к другу и забывшую обо всем на свете.

— Посмотрите-ка, — говорили люди, — это ведь Френхен Марти и Сали из города! Видно, они нашли друг друга и соединились. А какая нежность, какая любовь! Смотрите, смотрите! Чем все у них кончится?

В удивлении этих зрителей странным образом слились сострадание к несчастью, презрение к нищете и нравственному падению родителей, зависть к счастью и согласию молодой пары, которая проявляла свое душевное волнение и влюбленность в такой совершенно необычной, почти утонченной форме и в своем самозабвении и безграничной взаимной преданности была так же далека от этих грубых людей, как и в одиночестве и нищете. Когда они наконец очнулись и огляделись вокруг, то увидели одни только любопытные лица; никто не здоровался с ними, и они сами не знали, здороваться ли им с кем-нибудь, хотя это отчуждение и взаимная неприязнь были скорее следствием смущения, чем сознательного умысла. Френхен испугалась, ее бросило в жар, она то краснела, то бледнела, но Сали взял ее за руку и увел бедную девушку, которая послушно шла за ним, держа в руках домик, хотя в трактире весело гремели трубы и ей так хотелось поплясать.

— Здесь нам танцевать нельзя, — сказал Сали, когда они темного отошли, — здесь нас, видимо, ждет мало радости.

— Да, — печально сказала Френхен, — и не лучше ли будет вовсе забыть о танцах и подумать о том, где бы мне найти приют.

— Нет! — воскликнул Сали. — Ты будешь танцевать! Для чего же я принес тебе башмаки! Пойдем туда, где поселится бедный люд, ведь мы сами теперь бедные. Там нас не станут презирать; в «Райском саду» тоже всегда танцуют, когда здесь храмовой праздник, — ведь он находится в том же приходе; пойдем, там ты, на худой конец, и заночуешь.

Френхен вздрогнула при мысли о том, что ей впервые в жизни придется спать под чужим кровом, но она машинально пошла за своим проводником, в котором для нее теперь сосредоточилось все, что у нее было на свете.

«Райский сад» был трактир, красиво расположенный на пустынном городском склоне и возвышавшийся над всей окрестностью; тем не менее сюда в праздничные дни собирався только мелкий люд: дети бедных крестьян, поповички и даже странствующие батраки. Это был маленький загородный дом, построенный лет сто назад каким-то богатым чудаком, но после него уже никто не пожелал жить там, и, так как участок ни на что больше не годился, страшная усадьба пришла в упадок и попала в конце концов в руки трактирщика, который и занялся тут своим промыслом. Но дом сохранил свое название, которому соответствовала и архитектура. Это был одноэтажный дом, а над ним была сооружена открытая терраса, крышу которой по четырем углам подпирали статуи из песчаника, изображавшие четырех архангелов и совершенно выветрившиеся. Вокруг террасы, по карнизу крыши, сидели ангелочки с круглыми лицами и животами, игравшие на треугольнике, скрипке, флейте, цимбалах и тамбурине, тоже сделанных из песчаника и некогда вызолоченных. Потолок изнутри, парапет террасы и стены дома были покрыты выцветшими фресками, изображавшими веселые хоры ангелов и поющих и пляшущих святых. Но все это выглядело поблекшим и неясным, как сон, и, кроме того, бурно заросло виноградной лозой, а в зеленой листве висели синие зреющие гроздья винограда. Вокруг дома высились дикие каштаны, и жилистые, крепкие кусты роз, предоставленные самим себе, разрослись повсюду так буйно, как в других местах — бузина. Терраса заменяла

танцевальный зал. Когда пришли Сали и Френхен, они уже издали увидели, что на открытой террасе кружатся парочки, а вокруг дома шумит и пирует толпа веселых гостей. Френхен, которая благоговейно и грустно несла в руках свой домик — приют влюбленных, напоминала святую патроне́ссу церкви, изображаемую на старинных гравюрах с моделью основанного ею собора в руках; однако благочестивой мечте Френхен — основать свой дом — не суждено было сбыться. Впрочем, услышав бурную музыку, доносившуюся с террасы, девушка позабыла обо всех своих страданиях, и ей захотелось только одного — танцевать с Сали. Они еле протолкались сквозь толпу гостей, сидевших перед домом и в комнате, — вся зельдвильская голь, совершавшая дешевую загородную прогулку, беднота, выползшая из всех углов; потом они поднялись по лестнице и тотчас же закружились в вальсе, не отрывая глаз друг от друга. Только когда вальс кончился, они оглянулись вокруг. Френхен сломала и смгла свой домик, но не успела еще огорчиться, как вдруг испугалась, увидев скрипача, вблизи которого они очутились. Он сидел на скамье, поставленной на стол, такой же черномазой, как всегда, но сегодня он прикрепил к своей шляпчонке несколько еловых веток, в ногах у него стояли бутылка красного вина и стакан, но он ни разу их не опрокинул, хотя, играя, все время притоптывал ногами, исполняя таким образом нечто вроде танца среди яиц. Рядом с ним сидел красивый, но печальный молодой человек с валторной, а за контрабасом стоял горбун. Сали тоже испугалась, увидев скрипача; но тот самым дружеским образом поздоровался с ней, воскликнув:

— Так я и знал, что мне когда-нибудь придется сыграть и для вас! Так веселитесь же вволю, голубки, и давайте чокнемся. Он подал Сали полный до краев стакан, и Сали выпил, чокнувшись с ним. Заметив, как испугалась Френхен, скрипач стал ее ласково успокаивать и рассмешил несколькими милыми шутками. Френхен снова повеселела, и оба они теперь были рады, что у них здесь нашелся знакомый и что они как бы оказались под особым покровительством скрипача. Они танцевали без усталости, позабыв себя и весь мир, упоенные пляской, пением и шумом, который стоял в доме и вокруг него и уносился с горы далеко в долину, постепенно окутывавшуюся серебристой дымкой осеннего вечера. Они танцевали, пока не стало темнеть и пока большая часть веселых гостей, шатаясь и галдя, не

разбрелась в разные стороны. Оставалась только бездомная гальтба, которая надеялась, вдобавок к веселому дню, провести еще веселую ночь. Некоторые из них, по-видимому, были хорошо знакомы со скрипачом и очень странно выглядели в своей пестрой и рваной одежде. Особенно обращал на себя внимание молодой парень в куртке из зеленого манчестера и в помятой соломенной шляпе, на которую он напялил веночек из веток рябины. С ним была разбитная особа в юбке из вишнево-красного ситца в белую крапинку, с венком из виноградных веток на голове, на каждый висок у нее спускалась синяя ягода. Эта неугомонная парочка танцевала и пела без усталости и мелькала повсюду. Была там еще стройная молодая девушка в поношенном черном шелковом платье и белой косынке на голове со спущенным на спину концом. Эта косынка, затканная красными полосами, была вовсе не косынкой, а попросту полотняным полотенцем или салфеткой, но из-под нее светились синие, как фиалки, глаза. Вокруг шеи и на груди у нее висело в шесть рядов ожерелье из ягод рябины, нанизанных на нитку и заменявших самые красивые кораллы. Девушка все время танцевала одна, упорно отказываясь покружиться с кем-нибудь из парней. Это не мешало ей двигаться грациозно и легко и улыбаться печальному валторнисту каждый раз, когда она проносилась мимо него, а он неизменно отворачивался. Были там и другие женщины со своими кавалерами, но виду всё беднота, но веселые и дружные между собой.

Когда совсем стемнело, хозяин не пожелал зажечь свечей, так как, утверждал он, ветер все равно погасит их. Кроме того, скоро взойдет луна, а за те деньги, которые он получает со своих гостей, хватит с них и лунного света. Это заявление было принято с большим удовольствием. Все общество собралось у барьера террасы, наблюдая восход луны, уже окрасившей горизонт, а как только она показалась и бросила свои косые лучи на террасу «Райского сада», все опять стали кружиться, да так бесшумно, чинно и весело, словно они танцевали при блеске сотен восковых свечей. В этом необыкновенном освещении все почувствовали себя ближе друг к другу. Сали и Френхен не могли уклониться от участия в общем веселье, каждому из них пришлось танцевать и с другими. Но каждый раз, разлучившись ненадолго, они опять летели друг к другу и так радовались встрече, словно годы искали один другого и наконец нашли. Когда Сали танцевал с другой, его лицо становилось печаль-

ным и неприветливым и он все время оборачивался к Френхен, а она, проносясь мимо, не глядя, пылала, как алая роза, и казалась необычайно счастливой, с кем бы ни танцевала.

— Ты ревнуешь, Сали? — спросила она, когда музыканты утомились и перестали играть.

— Сохрани бог, — сказал Сали, — я не знаю, что значит ревновать.

— Почему же ты так сердишься, когда я танцую с другими?

— Я не из-за этого сержусь. Но когда я танцую с другой девушкой, мне кажется, что в руках у меня полено. А ты как чувствуешь себя?

— О, я всегда как в небесах, когда танцую, если только знаю, что ты возле меня. Но я умерла бы, кажется, если бы ты ушел и оставил меня здесь одну!

Они спустились вниз и стали перед домом; Френхен схватила Сали обеими руками, прильнула к нему своим стройным трепещущим телом, прижала пылающую щеку, влажную от жарких слез, к его лицу и сказала, всхлипывая:

— Мы не можем жить вместе, но расстаться с тобой я не могу ни на одно мгновение!

Сали обнял и крепко прижал девушку к себе, покрывая поцелуями ее лицо. В смятении он искал выхода и не находил его. Если бы даже оказалось возможным побороть нищету и неодолимую преграду, созданную семейными обстоятельствами, все же юность и неопытность его страсти не могли бы выдержать долгий искус воздержания; а тут еще отец Френхен — ведь он обездолил его на всю жизнь! Сознание, что в обществе счастье может дать только честный, не отягченный бременем нечистой совести брак, было в Сали так же живо, как и во Френхен. И для обоих отверженных это сознание было последним проблеском того чувства чести, которое в прежние времена ярким пламенем горело в их семьях и которое их отцы, надеясь на свою безнаказанность, погасили и уничтожили одним незначительным промахом, когда, вообразив, что во имя этой чести им надо приумножить свои владения, они, казалось бы, ничем не рискуя, так легкомысленно присвоили себе собственность человека, пропавшего без вести. Конечно, подобные случаи встречаются каждый день, но время от времени судьба, в назидание другим, сталкивает лбами таких ревнителей чести своего дома или стражей своего добра, которые затем неминуемо уничтожают и пожирают друг друга, как два ди-

ких зверя. Ведь те, кто приумножает свои владения, просчитываются не только на тронах, но иногда и в самых бедных хижинах и вместо цели, к которой они стремились, достигают как раз обратного, а щит чести в мгновение ока превращается в позорный столб. Однако Сали и Френхен помнили годы своего детства, помнили незапятнанную честь своего дома, помнили, что их, детей, берегли и лелеяли, а отцы их, обеспеченные, всеми уважаемые, были не хуже других. Затем дети были разлучены на долгие годы, и когда они снова встретились, то вспомнили былое счастье, и это еще сильнее скрепило их взаимное влечение. Им хотелось радости, любви, но только на прочном фундаменте, который казался недостижимым. А горячая кровь кипела, звала их скорее слиться воедино.

— Вот и ночь, — воскликнула Френхен, — нам нужно расстаться!

— Уйти домой, а тебя оставить здесь одну? Нет, я не могу! — воскликнул Сали.

— Ну и что ж? Ночь пройдет, а лучшего мы не дождемся.

— Я хочу дать вам совет, глупые дети, — раздался вдруг резкий голос, и к ним подошел скрипач. — Вот вы стоите, не знаете, как быть, а ведь вы хотите принадлежать друг другу. Советую вам, берите друг друга как есть, не теряя времени. Идите в горы со мной и моими друзьями, там вам не понадобятся ни поп, ни деньги, ни документы, ни честь, ни постель — одна только ваша добрая воля! У нас не так уж плохо: чистый воздух, и достаточно еды, если работать; зеленые леса — наш дом, и там мы любим, как сердце подскажет, а на зиму устраиваем претеплые норы или забираемся погреться в крестьянское сено. Довольно думать и гадать, сыграйте тут же свадьбу и отправляйтесь с нами; тогда вы освободитесь от всех забот и останетесь вместе на веки вечные или по крайней мере, пока вам это нравится, а при нашей вольной жизни, будьте уверены, вы доживете до старости! Не подумайте только, что я хочу отомстить вам за зло, которое причинили мне ваши старики. Нет, хоть я и рад, что вы очутились в таком положении, но этого с меня хватит, я готов помочь вам, если вы последуете за мной.

Он в самом деле говорил искренне и в дружеском тоне.

— Ну, подумайте немного и идите за мной, если вам по душе мой совет. Махните рукой на весь свет, берите друг друга и никого не спрашивайте! Подумайте о веселой брачной постели в лесной чаще или на стог сена, если на воле вам слишком холодно!



С этими словами он ушел в дом. Френхен дрожала в объятиях Сали.

— Что ты скажешь на это? — спросил он. — Пожалуй, неплохо было бы махнуть рукой на весь мир и без помех любить друг друга. — Правда, он произнес это скорее как шутку, рожденную отчаянием, чем серьезно.

Но Френхен поцеловала его и простодушно ответила:

— Нет, туда я идти не хочу, эта жизнь не по мне. Молодой человек с валторной и девушка в шелковой юбке тоже дружки; как говорят, они сильно любили друг друга. И вот на прошлой неделе эта особа в первый раз ему изменила, и он никак не может с этим примириться; вот почему он так угрюм, отворачивается от нее и от всех, а они потешаются над ним. Девушка наложила на себя веселое покаяние: танцует одна, ни с кем не разговаривает и этим только выставляет его на посмешище. По всему видно, что бедный музыкант сегодня же помирится с ней. А я бы не могла изменить тебе, и мне не хочется быть там, где происходят подобные вещи, хоть я готова вынести все, лишь бы только быть твоею.

И бедная девушка все сильнее дрожала в объятиях Сали; уже с обеда, когда хозяйка трактира приняла ее за невесту и она, не протестуя, вошла в эту роль, Френхен загорелась страстью, как невеста, и огонь в ее крови пылал тем горячее и неудержимее, чем безнадежнее было их положение. Сали также был взволнован: как ни мало прельщали его речи скрипача, они внесли смятение в его душу, и он произнес, запинаясь:

— Войдем в дом, надо еще раз что-нибудь съесть и выпить.

Они вошли в трактир, где уже не было никого, кроме небольшой компании бродяг, сидевших за скудной трапезой.

— Вот наши жених и невеста! — закричал скрипач. — Веселитесь, радуйтесь, и давайте-ка мы вас повенчаем.

Их заставили сесть за стол, и они подчинились, желая спастись от самих себя. Они рады были, что хоть ненадолго очутились среди людей. Сали заказал вина и обильной еды, и началось общее веселье. Печальный музыкант помирился со своей неверной подругой, и оба жадно и блаженно ласкали друг друга. Вторая буйная пара пела, пила и тоже не скупилась на доказательства любви, а скрипач и горбатый контрабасист шумели что было мочи. Сали и Френхен притихли и сидели обнявшись. Вдруг скрипач потребовал, чтобы все замолчали, и приступил к шуточной церемонии, изображавшей брачный обряд. Сали и Френхен пришлось взяться за руки, и все подпятились со своих мест и по очереди подходили к ним, чтобы

поздравить и приветствовать их вступление в свое братство. Хоть они ни единым словом не противились и относились к этому как к шутке, но их бросало то в жар, то в холод.

Небольшая компания, разгоряченная крепким вином, становилась все более шумной и возбужденной, но вдруг скрипач напомнил, что пора уходить.

— Идти нам далеко, — сказал он, — а уже за полночь. Пора отправляться. Проводим жениха и невесту, а я пойду впереди и сыграю, чтобы все было как полагается.

Так как Сали и Френхен, беспомощные и одинокие, не имели другого выбора, да и вообще находились в полной растерянности, они подчинились и на этот раз; их поставили впереди, а остальные две пары образовали позади них процессию, которую замыкал горбун с контрабасом на плече. Черномазый, выступавший первым, как одержимый играл всю дорогу, пока они спускались с горы, а остальные, шествуя вслед за ним, смеялись, пели и плясали. Так эта безумная ночная процессия двигалась по тихим полям и проследовала через родную деревню Сали и Френхен, обитатели которой давным-давно спали.

Когда они шли тихими улицами мимо утраченных для них родных домов, ими вдруг овладело болезненно-буйное веселье, и, следуя за скрипачом, они стали плясать наперебой с другими, целовали друг друга, смеялись и плакали. С пляской поднялись они на вершину холма, куда их вел скрипач и где находились те три пашни, и тут, наверху, черномазый парень снова с силой ударил по струнам и стал кружиться, как привидение, а его спутники не отставали от него в удалстве, так что мирная вершина казалась каким-то Блоксбергом, где совершался шабаш ведьм; даже горбун, тяжело дыша, подпрыгивал со своей пошей, и никто, казалось, уже не обращал внимания на остальных.

Сали крепче сжал Френхен в своих объятиях и заставил ее остановиться; он первый пришел в себя. Он горячо целовал Френхен в губы, чтобы она замолчала, так как Френхен совершенно забылась и распевала во весь голос. Наконец она поняла его, и они стояли, молча прислушиваясь, пока шумная свадебная свита мчалась через поле и, не заметив их отсутствия, скрылась за берегом реки. Но скрипка, смех девушек и крики парней еще долгое время звенели в ночи, пока все не замерло и не сменилось тишиной.

— От них мы спаслись, — произнес Сали, — но как нам спастись от самих себя? Как нам уйти друг от друга?

Френхен была не в состоянии что-нибудь ответить; тяжело дыша, она охватила его шею.

— Разве проводить тебя обратно в деревню и разбудить людей, чтобы они приютили тебя? Завтра ты пойдешь своим путем, и все, должно быть, устроится, ты везде пробынешься.

— Пробиваться без тебя?

— Обо мне забудь!

— Никогда! А ты? Разве ты можешь забыть меня?

— Не в этом дело, дорогая! — ответил Сали, лаская пылающие щеки девушки, которая страстно прижималась к его груди. — Теперь будем говорить только о тебе; ты еще так молода, перед тобою открыты все пути.

— А перед тобою разве нет, старик?

— Идем, — сказал Сали и повел ее.

Но они прошли всего несколько шагов и опять остановились, чтобы обнять и приласкать друг друга. Тишина, объвшая мир, пела и звучала в их сердцах; слышен был только спокойный, ласковый плеск реки, медленно протекавшей вниз.

— Как все чудесно кругом! Ты слышишь: какие-то звуки, будто чудное пение или колокольный звон?

— Это шумит река. Кругом все молчит.

— Нет, еще что-то другое звенит — здесь, там, далеко, повсюду...

— Кажется, это наша собственная кровь шумит в жилах.

Они еще несколько мгновений прислушивались к этим воображаемым или действительным звукам, которые порождала великая тишина и которые смешивались, как им казалось, с волшебным действием лунного света, разливавшегося вблизи и вдалеке по белому осеннему туману, низко стлавшемуся над долинами.

Вдруг Френхен вспомнила что-то: она стала шарить за лифом и сказала:

— Я купила для тебя кое-что на память.

И она подала ему простое кольцо и сама надела его на палец Сали. Он тоже вынул свое колечко и надел его на руку Френхен, сказав:

— Мы, значит, надумали одно и то же.

Френхен подняла руку и стала рассматривать кольцо при бледном свете луны.

— Ах, какое хорошенькое колечко, — сказала она смеясь. — Теперь мы, значит, обручены и отданы друг другу. Ты мой муж, а я твоя жена; вообразим это хоть на одну

минуту, только пока не рассеется та полоска тумана возле луны или пока мы не сосчитаем до двенадцати. Поцелуй меня двенадцать раз!

Сали, наверное, так же сильно любил Френхен, как она его, но вопрос о браке не вставал для него с такой острой, как для нее, видевшей в браке некое «или — или», прямолинейное «быть или не быть», только так она способна была чувствовать и со страстной решимостью отождествляла тот или иной исход с жизнью или смертью. Но теперь и у него наконец спала завеса с глаз, чувство женщины, выпыхнувшее в девушке, пробудило в Сали неистовое и жаркое желание, и пламенная ясность озарила его сознание. Хотя и прежде он горячо обнимал и ласкал Френхен, теперь все это приняло совершенно иной характер, гораздо более бурный, и он стал осыпать ее поцелуями. Френхен, несмотря на то, что сама была ослеплена страстью, тотчас же почувствовала эту перемену; она вся задрожала, и не успела еще та полоса тумана проплыть мимо луны, как это чувство передалось и ей. Они пылко ласкали и обнимали друг друга, их украшенные кольцами руки встретились и крепко сцепились, как бы сами собою, помимо веления воли совершенная венчальный обряд. Сердце Сали то стучало, словно молот, то замирало, и он еле слышно, тяжело дыша, прошептал:

— Одно только нам и осталось, Френхен. Отпразднуем сейчас же свадьбу и уйдем из жизни — там глубокая вода, там никто нас больше не разлучит, а когда мы соединимся — на короткий ли срок, надолго ли — это будет уже для нас безразлично.

Френхен тотчас же ответила:

— Сали! То, о чем ты говоришь, я уже обдумала и решила про себя: мы могли бы умереть, и тогда все беды миновали бы нас. Поклянись мне, что ты готов идти на это со мной!

— Это так и будет! — вне себя воскликнул Сали. — Никто, кроме смерти, не отнимет у меня мою Фрели!

У Френхен вырвался вздох облегчения, слезы радости хлынули у нее из глаз; она порывисто вскочила и легко, как птица, понеслась по полю к реке. Сали кинулся за нею, думая, что она хочет убежать от него; Френхен же полагала, что он стремится удержать ее от этого шага; так они гнались друг за другом, и Френхен смеялась, как ребенок, который не хочет, чтобы его догнали.

— Ты жалеешь о своем решении? — спросили они в один голос, когда добежали до реки и ухватились друг за друга.

— Нет, я не перестаю радоваться этому, — разом ответили оба.

Откинув все заботы, они шли берегом, обгоняя быстро текущие воды, — так они торопились найти место, где могли бы приютиться; теперь, в своей страсти, они видели перед собой только хмель блаженства, которое сулило им соединение; весь смысл и содержание остальной жизни сосредоточились на этом; и что бы ни случилось после — смерть, гибель, — все было жалкое дуновение, ничто, и они думали об этом меньше, чем беспечный расточитель о том, как прожить завтрашний день, промотав последнее достояние.

— Мои цветы опередили меня! — воскликнула Френхен. — Смотри, они уже совсем погибли и завяли.

Она сняла букетик с груди, бросила его в воду и громко пропела:

Слаще миндаля моя любовь к тебе!

— Стой! — воскликнул Сали. — Здесь твоя брачная постель.

Они подошли к проезжей дороге, которая вела от деревни к реке; тут находился причал с прикрепленной к нему большой баркой, доверху нагруженной сеном. В буйном порыве он стал тотчас же отвязывать крепкие канаты. Френхен, смеясь, обняла его:

— Что ты делаешь? Разве мы напоследок собираемся украсть у крестьян барку с сеном?

— Это будет приданое, которое они нам дадут — плавающая спальня и постель, какой еще не имела ни одна невеста. А крестьяне разыщут свою собственность на реке, пониже, куда ее все равно отнесет, и они даже не поймут, как это случилось. Смотри, вот она уже качается и готова отплыть.

Барка находилась в нескольких шагах от берега, в довольно глубоком месте. Сали высоко приподнял Френхен и зашагал по воде. Но девушка так пылко и неистово ласкала его, трепеща, словно рыбка, в его руках, что он не мог сохранить равновесие в быстро текущей воде. Она старалась окунуть лицо и руки в воду, говоря:

— Я тоже хочу поплескаться в студеной воде, помнишь, какие холодные и мокрые руки были у нас, когда мы в первый раз подали их друг другу? Мы тогда ловили рыбу, а теперь сами станем рыбами, и какими большими, красивыми!

— Успокойся, маленькая шалунья, — просил Сали, который с трудом держался на ногах, борясь с волнами и с возлюбленной, — иначе меня унесет течением!

Он поднял свою ношу на барку и сам взобрался туда же, вслед за Френхен; затем он положил ее на высоко сложенное мягкое душистое сено и вскарабкался туда же. Когда они оба уселись наверху, барку постепенно вынесло на середину реки, и, медленно повернувшись, она поплыла по течению.

Река текла то между высокими темными лесами, которые покрывали ее своею тенью, то по открытой равнине мимо спящих деревень и одиноких хижин, то она казалась спокойной, как тихое озеро, и тогда барка почти неподвижно стояла на месте, то бурно билась о скалы, быстро оставляя позади сонные берега; и когда занялась утренняя заря, из серебристо-серых вод реки вынырнул город со своими башнями. Заходящий месяц, багряный, как золото, оставлял по течению сверкающий след, и в этой полосе света, перерезав ее поперек, очутилась барка. Когда она в это морозное осеннее утро приблизилась к городу, две бледные фигуры, тесно обнявшись, скользнули с ее темной громады в холодные волны реки.

Спустя некоторое время барка благополучно подошла к мосту и остановилась. Когда потом в реке, ниже города, обнаружили и опознали трупы, газеты сообщили о том, что двое молодых людей из двух крайне бедных, разорившихся семейств, непрерывно враждовавших между собой, нашли смерть в воде; почти весь день до этого они танцевали и веселились в деревне, где был престольный праздник. Надо думать, что это происшествие имеет отношение к барке с сеном, которая приплыла к городу без судовой команды, и что молодые люди похитили барку с целью отпраздновать на ней свою ужасную, нечестивую свадьбу — лишнее доказательство возрастающего падения нравов и разнузданности страстей.





## ТРИ ПРАВЕДНЫХ ГРЕБЕНЩИКА

М

ители Зельдвилы доказали, что город, населенный грешниками и вертопрахами, может как-никак продолжать свое существование в круговороте времен и изменчивых условий жизни; но на примере трех гребенщиков можно убедиться, что три праведника не могут долго жить под одной кровлей, не перессорившись насмерть. Здесь, однако, речь идет не о небесной праведности и не о природной справедливости человеческой совести, а о той худосочной праведности, которая вычеркивает

из молитвы господней слова: «И остави нам долги паша, якоже и мы оставляем должником нашим!», ибо такие праведники никогда никому не должны, но и не имеют должников; никому не приносят вреда, но зато и удовольствия не доставляют; хотят, разумеется, и работать и приобретать, но ничего при этом не расходуя, а из приверженности к труду извлекают лишь пользу, но никак не радость. Они не разбивают фонарей, но и не зажигают их, и света от них не исходит. Занимаются различными ремеслами, ни одному не отдавая предпочтения, лишь бы оно не было сопряжено с опасностями. Больше всего они склонны селиться там, где живет много грешных, по их понятиям, людей, потому что, не будь среди них таких грешников, они быстро стерлись бы, подобно жерновам, между которыми не засыпано зерно.

Когда их постигает несчастье, они бывают крайне изумлены и вопят, словно их посадили на вертел: ведь они-то никому не причинили никакого зла. Весь мир представляется им огромным, вполне надежным полицейским учреждением, где тому, кто старательно подметает сор перед своей дверью, не ставит на подоконник горшков с цветами, не укрепив их, и не выплескивает воду из окна, — нечего бояться, что его оштрафуют за нарушение закона.

В Зельдвиле существовала мастерская, где выделывали гребни. Обычно хозяева ее менялись через каждые пять-шесть лет, хотя дело это было прибыльное, стоило лишь к нему руки приложить, потому что коробейники, разезжавшие по окрестным ярмаркам, закупали здесь свой товар. Кроме обыкновенных расчесок всех сортов, здесь изготовлялись еще прекраснейшие нарядные гребни для деревенских красавиц и служанок; делались они из отличного прозрачного рога, на котором искусные подмастерья (хозяева никогда сами не работали) протравливали, каждый по своему вкусу, превосходные красновато-бурые волнистые узоры под черепаху; держа такой гребень против света, можно было вообразить на нем прекраснейшие восходы и закаты солнца, алеющее небо, все в барашках, грозовые тучи и другие красочные явления природы. Летом, когда подмастерья охотно уходили странствовать по белу свету и ими нужно было дорожить, с ними обращались вежливо, их хорошо оплачивали и сытно кормили; зимой же, когда они искали крова и было из кого выбирать, им приходилось туго: падо



было гнуть спину и делать гребни без устали за ничтожную плату; изо дня в день хозяйка ставила на стол миску с кислой капустой, а хозяин объявлял: «Это рыба!». Если же кто-нибудь из подмастерьев осмеливался сказать: «Прошу прощения, это кислая капуста!» — он немедленно получал расчет и должен был в лютую стужу идти куда глаза глядит. Но как только поля начинали зеленеть и дороги — просыхать, подмастерья говорили: «А все-таки это кислая капуста!» — и собирались в путь. И хотя хозяйка поспешно подбрасывала на капусту ветчину, а хозяин говорил: «Ей-ей, я думал, что это рыба, а это, оказывается, ветчина!» — парней все же тянуло вдаль, потому что им приходилось спать втроем на двуспальной кровати и за долгую зиму им до смерти надоело пинать друг друга во сне и выстуживать себе бока.

Но вот однажды откуда-то из саксонских земель явился степенный и покладистый подмастерье; он принаравливался ко всему, работал как вол, выжить его было невозможно, так что в конце концов он стал как бы неизменной принадлежностью мастерской; много хозяев сменялось на его глазах, ибо в эти годы такие смены происходили еще стремительнее обычного. Иобст вытягивался в кровати как можно ровнее и неизменно, зимой и летом, удерживал место у стены. Он с готовностью принимал кислую капусту за рыбу, а весной скромно благодарил за кусочек ветчины. Он одинаково откладывал как маленький заработок, так и более значительный, ничего не тратил и только копил. Он жил не так, как другие подмастерья: никогда не ублажал себя пивцом, не водился с земляками или другими молодыми парнями, а стоял по вечерам у крыльца, балагурия со старухами, и когда был в особо доброжелательном настроении, помогал им ставить кувшины с водой на голову; спать он ложился с петухами, если только не было спешной работы, над которой он мог за сверхурочную плату сидеть ночь напролет. В воскресенье он также трудился далеко за полдень, даже в чудеснейшую погоду. Но не думайте, что он делал это бодро и радостно, как Иоганн, веселый мыловар. Напротив, он выполнял эту добровольную работу весьма неохотно и постоянно жаловался на тяготы жизни. И лишь далеко за полдень он по воскресеньям в заношенной рабочей одежде, громыхая туфлями, переходил улицу, забирал у прачки чистую рубашку, выглаженную манишку,

высоченный крахмальный воротничок или красивый носовой платок и нес все это великолепие домой на вытянутых руках, шагая той изящной поступью, которая свойственна подмастерьям. Ибо многие подмастерья, даже будучи в рабочем фартуке и стоптаных башмаках, соблюдали в своей походке особую жеманность, как бы указывающую на то, что они витают в высших сферах; особенно в этом изощрялись просвещенные переплетчики, веселые сапожники и некоторые чудаковатые гребенщики.

Возвратясь в свою каморку, Иобст долго обдумывал, стоит ли ему в самом деле надевать чистую рубашку или манишку, — ведь при всей своей кротости и праведности он был порядочным неряхой, — или же прежнее белье можно пронести еще неделю, а ему лучше всего остаться дома да еще малость поработать. И нередко он снова садился на свое место, скорбя о тяготах и трудностях земной жизни, и снова с досадой принимался вырезать гребенки или превращал рог в черепаху, делая это так безвкусно, с таким отсутствием воображения, что всегда украшал гребенку все теми же тремя унылыми кляксами; ибо, когда что-нибудь не было точно предписано, сам он не прилагал к делу ни малейшего старания.

Если же он решал прогуляться, то тщательно наряжался в течение часа или двух, брал свою тросточку и чинно шествовал за городские ворота. Здесь он подолгу торчал со смиренным и скучающим видом и вел нудные разговоры с такими же праздными людьми, тоже не знавшими, куда деваться, например — с какими-нибудь полунищими зельдвильскими стариками, которым уже не на что было пойти в трактир. Вместе с ними он охотно останавливался перед строящимся домом, недавно засеянным полем, яблоней, которую буря разломала пополам, или перед новой бумагопрядильней и усердно разглагольствовал обо всех этих предметах, об их необходимости и стоимости, о видах на урожай и о состоянии посевов, — словом, обо всем том, в чем ни черта не смыслил. Вдобавок все это было ему совершенно безразлично; но, во всяком случае, в этих разговорах он коротал время самым, по его понятиям, дешевым и зашумательным образом, и старики называли его любезным и рассудительным саксонцем, потому что сами тоже ничего не смыслили. Когда зельдвильцы основали большую акциоперную пивоварню, от которой они ожидали значительного оживления в делах, и был заложен обширный фундамент,

Иобст стал по воскресным вечерам зачастую, с понимающим видом, бродить по участку и, по-видимому, с живейшим интересом следил за ходом работ, словно был знатоком строительного дела и величайшим любителем пива. «Вы только поглядите, — восклицал он раз за разом, — это замечательное дело! Крупнейшее предприятие! Но денег нужна прорва! Одно досадно; по мне, вот эти своды надо бы вывести поглубже, а эту стенку сделать чуть-чуть потолще!»

На самом же деле он, судя и рядя обо всем на свете, беспокоился только об одном — как бы не опоздать и вернуться к ужину засветло. Это было его единственной провинностью перед хозяйкой — он никогда не пропускал воскресного ужина, что почти всегда делали другие подмастерья, и ей приходилось из-за него одного сидеть дома или как-нибудь иначе о нем позаботиться. Получив свой кусочек жаркого или колбасы, он еще немного копошился у себя в каморке и затем ложился спать в приятном сознании, что отлично провел воскресный день.

При таком непритязательном, кротком и степенном нраве ему, однако, не была чужда легкая, затаенная ирония; казалось, он втихомолку забавляется легкомыслием и суетностью света, серьезно сомневается в величии и значительности дел земных и тщательно скрывает более глубокие думы. И действительно, он иногда строил такое умное лицо, в особенности когда с деловым видом вел свои воскресные разговоры, что легко можно было вообразить, будто в его уме зреют глубокие замыслы, по сравнению с которыми все, что предпринимали, строили и создавали другие, должно было казаться детской игрой. Великий план, владевший Иобстом днем и ночью, план, который был его тайной путеводной звездой в течение всех тех лет, когда он работал подмастерьем в Зельдвиле, состоял в том, чтобы непрестанно копить заработанные деньги, покуда их не хватит на приобретение гребеночной мастерской, в тот вождеденный день, когда она снова будет продаваться; таким образом, он в свой черед станет хозяином и самостоятельным мастером. Эта мечта стала основой всех его действий и средоточием всех его стремлений, ибо долгое наблюдение убедило его, что прилежный и бережливый человек непременно добьется успеха в жизни, если будет спокойно идти своей стезей и из беспечности других сумеет извлекать лишь пользу, а не убытки. А став хозяином, думал Иобст, он быстро заработает достаточно денег, чтобы приобрести права гражданства,

и устроит свою жизнь так умно и целесообразно, как еще ни один житель Зельдвилы, не заботясь ни о чем, что не способствует умножению его достатка, не тратя ни гроша понапрасну, но извлекая как можно больше выгод из праздной суеты этого городка. План был столь же прост, сколь правилен и понятен, в особенности потому, что Иобст проводил его добросовестно и настойчиво; он уже отложил изрядную сумму, которую старательно прятал и по тщательному расчету надеялся со временем округлить настолько, чтобы достичь поставленной цели. Неестественно в этом продуманном и мирном плане было лишь то, что он вообще пришел Иобсту в голову, поскольку ничто в его сердце не побуждало его поселиться именно в Зельдвиле; он не питал особого расположения ни к самому городку, ни к людям, ни к политическому строю этого края, ни к его обычаям. Все это было ему столь же безразлично, как его собственная родина, по которой он никогда не тосковал; в сотне других мест на белом свете он, при своем трудолюбии и своей праведности, мог бы обосноваться так же прочно, как здесь; но это не было делом свободного выбора: по свойственной ему ограниченности, Иобст цепко ухватился за первую подвернувшуюся ему нить надежды, уповая, что она приведет его к благополучию. Говорят: где мне хорошо, там моя родина! Этой поговорке можно найти оправдание, когда речь идет о тех, кто действительно находит в новом отечестве необходимые, более благоприятные условия для своего преуспевания, кто по доброй воле пускается в путь, чтобы мужественно добиваться успеха и вернуться домой обеспеченным; или о тех, кто толпами бежит на чужбину от невыносимых условий жизни и, внимая зову времени, участвует в новом переселении народов за моря, или находит где-нибудь более верных друзей, чем у себя дома, или завязывает отношения, более отвечающие их сокровенным склонностям; или, наконец, о тех, кого удерживает в чужом краю та или иная благородная привязанность. Но все эти люди, куда бы они ни попали, любят ту страну, где обрели благополучие, и тем самым сохраняют в себе человеческое достоинство. Но Иобст почти не отдавал себе отчета в том, где, собственно, он находится; государственное устройство и обычаи швейцарцев были ему непонятны, и он только говорил иногда: «Да, да, швейцарцы — политики! Политика, конечно, я думаю, прекрасная штука, если имеешь к ней склонность. Что до меня, я не знаток этого дела, у нас дома

это не водится». Нравы зельдвильцев были ему противны и внушали страх, а когда в городе подымалось волнение или затевалось уличное шествие, он, весь дрожа, забивался в дальний угол мастерской и в ужасе ждал злодеяний и убийств. И все же единственной его мечтой, его глубокой тайной было желание остаться здесь до конца своих дней. Но всему лицу земли рассеяны такие праведники, осевшие в том или ином месте только потому, что нашли там случайный источник благосостояния, к которому присосались, — без тоски по старой родине, без любви к новому отечеству, без широкого кругозора, без пристального внимания к окружающему; и похожи они не столько на людей со свободной волей, сколько на низшие организмы, на причудливых микроскопических зверюшек или на семена растений, которые по воздуху и воде переносятся волею случая в те места, где затем произрастают.

Так жил он в Зельдвиле год за годом и умножал свое тайное сокровище, надежно спрятанное под плитой каменного пола его каморки. Еще ни один портной не мог похвастать, что заработал на нем хотя бы медный грош, — ведь праздничный сюртук, в котором он приехал, имел точно такой же вид, что и в ту пору. Еще ни один сапожник не получил с него ни пфеннига, потому что еще не сносились подошвы на сапогах, привешенных к его дорожной котомке в день приезда; дело в том, что в году всего пятьдесят два воскресенья, и только половину из них Иобст отметил небольшой прогулкой. Никто не мог похвалиться, что видел у него в руках крупную или мелкую монету: как только он получал плату, она тотчас же исчезала самым таинственным образом, и даже выходя за городские ворота, скопидом не оставлял при себе ни одного гроша, так что никак не мог что-либо истратить.

Когда в мастерскую приходили торговки с вишнями, сливами или грушами и другие рабочие удовлетворяли свои прихоти, в нем тоже пробуждалась тысяча и одна прихоть, и успокаивал он их тем, что с величайшим вниманием участвовал во всех переговорах, поглаживал и ошупывал красивые вишни и сливы и в конце концов, радуясь своей выдержке, милостиво отпускал смущенных женщин, принимавших его за лучшего из покупателей. С радостным удовлетворением смотрел он, как его товарищи ели купленные яблоки, и подавал множество полезных советов, как их печь или чистить. Но если викому от него и не перепало ни

гроша, зато никто никогда не слышал от него грубого слова, несправедливого подозрения, ни на кого он не смотрел косо; напротив, он старательнейшим образом избегал всяких ссор и не обижался, когда окружающие позволяли себе подтрунивать над ним. И как ни любопытно было ему наблюдать всякие сплетни и ссоры и размышлять о них, ибо это как-никак являлось бесплатным развлечением, — все же, когда другие подмастерья тратились на разгульные пирушки, он остерегался принимать участие в таких затеях, чтобы не оплошать и не попасть в неприятное положение. Короче говоря, в нем было причудливое смешение подлинно героической мудрости и стойкости с тихим и низменным бессердечием и бесчувственностью.

Как-то раз ему в течение многих недель довелось быть единственным подмастерьем у хозяина; в этом безмятежном спокойствии он чувствовал себя так же хорошо, как рыба в воде. Особенно его тешило ночное раздолье в кровати, и он весьма разумно пользовался этим прекрасным временем, стараясь заранее вознаградить себя за неминуемые неудобства в будущем. Он словно утраивал свою особу, то и дело меняя положение и представляя себе, что в кровати лежат трое, причем двое из них учтиво предлагают третьему не стесняться и устраиваться поудобнее. Этим третьим был он сам, Иобст, и в ответ на их воображаемые уговоры он с наслаждением закутывался в одеяло, или широко раскидывал ноги, или ложился поперек кровати, а иной раз в простодушной радости кувыркался по ней. Но вот однажды, когда он еще засветло улегся в постель, неожиданно появился пришлый подмастерье, которого хозяйка направила в каморку. Только Иобст улегся вразтяжку, положив ноги на перину, как вошел незнакомец, снял свою тяжелую котомку и тотчас начал раздеваться, так как изнемогал от усталости. Иобст с быстротою молнии перевернулся, вытянулся на своем привычном месте у стены и сказал себе: «Этот скоро удерет отсюда, потому что теперь лето и приятно постранствовать».

Утешив себя этой надеждой, он тихонько повздыхал и покорился своей участи, ожидая ночью пинков и обычного спора из-за одеяла. Каково же было его изумление, когда вновь прибывший, хоть он и был из Баварии, вежливо поздоровался, бесшумно улегся на другом краю постели и в течение всей ночи вел себя так же мирно и учтиво, как сам Иобст, ничем ему не досаждая. Это неслыханное происше-

ствие так взволновало Иобста, что, в то время как баварец мирно спал, он всю ночь не сомкнул глаз. Утром он стал рассматривать своего удивительного сотоварища по кровати самым внимательным образом и убедился, что тот тоже не первой молодости; новый подмастерье, в свою очередь, вежливо осведомился у Иобста о здешних порядках и условиях жизни примерно так, как сделал бы это он сам. Как только Иобст это заметил, он замкнулся в себе и стал обходить молчанием самые простые вещи, словно какую-то великую тайну, но при этом все время старался разгадать тайну баварца; а что у того была такая своя тайна, это Иобст чуял безошибочно. Разве может такой рассудительный, кроткий и опытный человек не замышлять чего-то сокрытого от людей и очень выгодного для него самого?

Тут принялись они с величайшей осторожностью и добродушием, полусловами и обиняками, выпытывать друг у друга свои секреты. Но хотя ни тот, ни другой не давая на эти вопросы вразумительного и ясного ответа, все же по прошествии нескольких часов каждый из них знал, что другой ни более и ни менее, как его подлинный двойник. Так как баварец Фридолин несколько раз за день бегал в каморку и с чем-то возился, то Иобст, улучив свободную минуту, когда сотоварищ сидел за работой, тоже ускользнул и мигом осмотрел пожитки Фридолина. Но он не открыл почти ничего такого, чего не имелось бы у него самого, кроме разве деревянного игольника в форме рыбы, тогда как игольник Иобста, словно на смех, изображал грудного младенца; вместо истрепанного народного учебника французского языка, который Иобст изредка перелистывал, у баварца была хорошо переплетенная книжка под названием: «Холодный и горячий заторщик, необходимое руководство при употреблении кубовой краски». На ней было написано карандашом: «Получено за те три крейцера, которые дал займы попрошайке». Отсюда Иобст заключил, что баварец — человек прижимистый. Он невольно взглянул на пол и скоро заметил, что одну из плит, судя по всему, недавно поднимали. И действительно, под ней оказались деньги, завернутые в половину старого носового платка, обмотанную нитками; клад был почти такой же увесистый, как и его собственный, с той разницей, что сбережения Иобста хранились в завязанном носке.

Весь трясясь, он опять вставил кирпичную плиту на место; дрожь проряла его от возбуждения и изумления перед

чужим величием и от тревоги за свою собственную тайну. Стремглав сбежал он вниз в мастерскую и принялся за работу так ретиво, словно требовалось обеспечить гребенками весь свет; баварец же работал так, словно пужно было, кроме того, причесать еще и небеса.

Ближайшая неделя окончательно утвердила ту оценку, которую они дали друг другу, ибо если Иобст был прилежен и невзыскателен, то Фридолин был деятелен и воздержан и столь же горестно вздыхал о тяготах такой добродетельной жизни; стоило только Иобсту высказать веселость и глубокомыслие, как Фридолин проявлял шутливость и остроумие. Когда один из них был скромец, другой ударялся в смирение; один был хитер и насмешлив, другой лукав и слегка язвительен. Если Иобст делал мирно-простоватое лицо, когда что-нибудь вызывало в нем беспокойство, то Фридолин в таких случаях смахивал па осла.

Их вдохновляло не столько соперничество, сколько сознательное упражнение в мастерстве, причем ни один из них не стеснялся брать другого за образец и до мелочей подражать тем чертам его тонкого житейского обхождения, которых ему самому не хватало. Внешне они даже проявляли такое единодушие и взаимопонимание, что, казалось, трудились над общим делом, напоминая двух доблестных воинов, способных по-рыцарски общаться и ободрять друг друга, прежде чем вступить в открытый бой.

Но не прошло и недели, как появился еще один подмастерье — Дитрих, родом из Швабии, и оба соперника исполнились безмолвной радости: в новичке они видели некое забавное мерило, которому могли противопоставить свое собственное скромное величие. Они собирались поставить бедного маленького шваба, по всей вероятности — сущего бездельника, лицом к лицу со своими добродетелями, хорошенько его потрепать, подобно двум львам, забавляющимся с мартышкой. Но как описать их удивление, когда шваб повел себя точно так же, как они сами, и повторилось то постепенное узнавание, которое произошло между ними обоими, но теперь участников уже было трое. Поэтому Иобст и баварец не только попали в странное положение перед своим третьим товарищем, но и отношения их между собой в корне изменились.

Когда они положили шваба на середину кровати, тот сразу же выказал себя равным им по выдержке; он лежал прямо и спокойно, как спичка, так что между подмастерьями



еще оставалось немного места, и одеяло покоилось на них, как лист бумаги на трех сеledках.

Положение становилось серьезным. Все трое находились друг против друга в одинаковых условиях, как углы равнобедренного треугольника; дружеское общение между двумя из них стало невозможным; кончилось перемирие и веселое соперничество, каждый усердно старался кротостью и терпением выжить остальных как из кровати, так и из дома. Когда мастер заметил, что эти три чудака готовы сносить все, лишь бы сохранить место, он сбавил им плату и стал хуже кормить. А они работали еще прилежнее, так что хозяин, получив тем самым возможность пустить в оборот большие запасы дешевого товара и принимать все увеличивающиеся заказы, загребал теперь большие деньги руками безответных подмастерьев, представляющих для него настоящее золотое дно. Он распустил пояс пошире и стал играть видную роль в городке, а глупые подмастерья день и ночь выбивались из сил в темной мастерской, и каждый старался своим усердием выжить двух других. Шваб Дитрих был самый младший, но оказался из того же теста, что и оба его товарища; ему не хватало только сбережений, так как он еще слишком недавно начал свои странствования. Это обстоятельство могло бы внушить ему опасения, поскольку Иобст и Фридолип раньше его опередили, если бы находчивый шваб не призвал на помощь некую волшебную силу, способную уравновесить их преимущества. Ему, как и его сотоварищам, были чужды всякие страсти, кроме всепоглощающего стремления устроиться именно в Зельдвиле и соблюдать свою выгоду; поэтому он замыслил влюбиться и посвататься к одной особе, которая имела приблизительно столько же денег, сколько хранили под плитами пола баварец и саксонец.

К числу лучших особенностей зельдвильцев относился обычай не жениться ради приданого на безобразных или непривлекательных женщинах; правда, не было у них к тому и особого искушения, так как в их городе не водилось богатых наследниц — ни красивых, ни некрасивых; но как-никак они имели смелость пренебрегать мелкими крохами и предпочитали вступать в связь с миловидными веселыми созданиями, прелестями которых они могли похвалиться в течение нескольких лет. Поэтому высматривающий себе добычу шваб без особого труда проник в дом одной добродетельной девицы, жившей в том же переулке; предварительно он

узнал из степенных бесед со старыми сплетницами, что у нее на семьсот гульденов процентных бумаг.

То была Цюз Бюнцлиц, двадцативосьмилетняя девица, которая жила вместе с матерью-прачкой, но свободно располагала своей долей отцовского наследства. Бумаги лежали у нее в небольшом лакированном ларчике, в котором она также хранила проценты с них, свидетельство о крещении и о конфирмации, раскрашенное и позолоченное пасхальное яйцо и далее — полдюжины серебряных чайных ложек да «Отче наш», отпечатанное золотыми буквами на красной, прозрачной, как стекло, материи, которую она называла человеческой кожей. Еще там хранилась вишневая косточка, на которой были вырезаны страсти Христовы, выложенная красной тафтой коробочка из резной слоновой кости, где лежали зеркальце и серебряный наперсток, другая вишневая косточка, в которой позвякивали крохотные кегли, и орех, где под стеклышком красовалась миниатюрная богоматерь; серебряное сердечко, в котором находилась душистая губочка, и бомбоньерка из лимонной корки с нарисованной на крышке земляничкой, где на вате лежали золотая булава в виде незабудки и медальон с памяткой из волос; кроме того, связка пожелтевших бумажек с рецептами и секретами, флакончик с гофманскими каплями и другой — с одеколоном, и баночка с мускусом, и еще баночка с кусочком куньего кала, и коробочка, сплетенная из душистой соломы, и другая — из стеклянных бус и гвоздичек; наконец, маленькая книжка с серебряным обрезом, переплетенная в рубчатую небесно-голубую бумагу и озаглавленная: «Золотые правила жизни для девицы-невесты, супруги и матери»; еще сонник и письмовник, пять или шесть любовных писем и ланцет для кровопускания: ибо некогда она состояла в нежных отношениях с подмастерьем цирюльника или лекарским помощником, которого наметила себе в мужья; и так как Цюз была особа ловкая и весьма сметливая, то она живо переняла у своего возлюбленного искусство пускать кровь, ставить пиявки и банки и многое еще в этом роде и даже научилась брить его самого. Но он оказался недостойным человеком, в союзе с которым все счастье ее жизни могло быть легко поставлено на карту, и Цюз с печальной, но мудрой решимостью порвала эти отношения. Обе стороны возвратили друг другу подарки, за исключением ланцета: девица удержала его как залог за один гульден и сорок восемь крейцеров, которые однажды дала жениху взаймы наличными

деньгами. Недостойный, правда, утверждал, что он ей ничего не должен, так как она якобы дала ему эти деньги для покрытия расходов на вечеринке, причем съела вдвое больше, чем он. Так и остались у него гульден и сорок восемь крейцеров, а у нее — ланцет, которым она при случае пускала кровь всем знакомым женщинам и зарабатывала хорошие деньги. Но, прибегая к этому инструменту, она всякий раз с болью в сердце вспоминала о низменном образе мыслей того, кто когда-то был ей так близок и мог сделаться ее супругом.

Итак, все эти сокровища хранились в запертом на ключ лакированном ларчике, спрятанном, в свою очередь, в старом ореховом шкафу, ключи от которого Цюз Бюнцлия постоянно носила в кармане.

У этой особы были жидкие рыжеватые волосы и водянисто-голубые глаза, не лишенные блеска и умевшие иногда смотреть мягко и мудро. У нее было множество платьев, но она носила лишь немногие из них, и притом самые старые; однако девица Цюз всегда была аккуратно и чисто одета, и так же чисто и прибрано было у нее в комнате. Трудолюбивая от природы, она помогала матери в ее работе, гладила тонкое белье и стирала жителям Зельдвилы их чепцы и нарукавники, чем зарабатывала немало пфеннигов. Быть может, это занятие было причиной тому, что еженедельно, в дни стирки, девицей овладевало сосредоточенное настроение, свойственное всем женщинам при этой работе, и оно раз и навсегда стало обычным для нее по этим дням. Только когда начиналось глажение, на смену серьезности приходило веселое оживление, всегда, впрочем, приправленное долей благоразумия. О положительном характере девицы Цюз свидетельствовало и главное украшение ее жилища — гирлянда из квадратных, равной величины, кусков мыла, разложенных для просушки на карнизе деревянной обшивки стен. Цюз всегда собственноручно измеряла бруски свежего мыла циркулем на равные доли, а затем нарезала их при помощи медной проволоки. К обоим концам проволоки приделаны были две поперечные палочки, чтобы удобнее было держать и разрезать мягкий брус. А превосходный циркуль для отмеривания изготовил и подарил ей подмастерье слесаря, с которым она когда-то была, можно сказать, почти что помолвлена. Им же была подарена и блестящая маленькая ступка для пряностей, украшавшая карниз ее шкафа между синим чайником и расписной вазой для цветов. Уже с давних пор ей очень хотелось иметь такую хорошенькую штучку,

и внимательный подмастерье оказался желанным гостем, когда явился к ней на именины со ступкой, да еще принес кое-что для толчения: коробку с корицей, сахаром, гвоздикой и перцем. Прежде чем войти в комнату, он повесил ступку за ушко себе на мизинец и, ударяя в нее пестиком, как в колокол, устроил приятный перезвон, так что утро это вышло очень веселым. Но вскоре после этого лживый вертопрах исчез из города, и больше о нем никогда и слуха не было, а вдобавок его хозяин потребовал ступку обратно, потому что беглец взял ее из его лавки, ничего не заплатив. Но Цюз Бюндлин не уступила дорогого ей знака внимания: с мужеством и горячностью она затеяла из-за него тяжбу и сама защищала в суде свое дело, ссылаясь на неоплаченный счет за стирку манишек сбежавшего подмастерья.

Дни, когда ей пришлось судиться из-за ступки, были для Цюз самыми значительными и горестными в ее жизни, так как по своей глубокой рассудительности она все на свете, в особенности же свое выступление перед судом по столь щекотливому вопросу, воспринимала гораздо острее, чем другие, более легкомысленные натуры. Все же она одержала победу и сохранила ступку.

Если же изящная мыльная галерея была показательна для приверженности Цюз к труду и строгому порядку, то о просвещенности ее ума свидетельствовала стопка аккуратно сложенных на подоконнике книг самого разнообразного содержания, которые она прилежно читала по воскресным дням. Уже много лет она берегла свои школьные учебники и ни одного не потеряла, так же как она хранила в памяти всю свою скромную школьную ученость, помнила наизусть катехизис, грамматику, арифметику и географию, священную историю и светские хрестоматии; кроме того, у нее было несколько прекрасных повестей Кристофа Шмидта и его маленькие рассказы с рифмованными наставлениями в конце и с полдюжины разных «Ларцов сокровищ» и «Садов Роз», которыми она пользовалась для гадания. Еще у нее имелось собрание календарей, изобиловавших мудрыми поучениями, проверенными на опыте, несколько томиков любопытных предсказаний, руководство к гаданию на картах, назидательная «Книга на все дни в году для мыслящих девиц» и старый экземпляр «Разбойников» Шиллера, который Цюз часто перечитывала, предполагая всякий раз, что уже все забыла; и хотя она всякий раз вновь испытывала умиление, однако высказывалась об этой драме очень

рассудительно и трезво. Все, о чем говорилось в этих книгах, она помнила назубок и умела прекрасно рассуждать о них и еще о многом другом. Когда она бывала довольна и не слишком занята, из уст ее безостановочно лились речи; обо всем на свете она имела свое мнение и всему указывала место; старые и молодые, знатные господа и простолюдины, ученые и невежды должны были поучаться у нее и подчиняться суждениям, которые она изрекала, минутку-другую с улыбающимся или глубокомысленным видом прислушавшись к разговору. Иногда она говорила так много и так витиевато, словно ученый слепец, который не видит ничего вокруг и которому доступно одно лишь наслаждение — слушать самого себя. От пребывания в городской школе и обучения перед конфирмацией она сохранила привычку писать сочинения на всевозможные темы, религиозные поучения и назидательные памятки, составленные по определенным правилам. В тихие воскресные дни она сочиняла удивительнейшие произведения: услышав или прочитав какое-нибудь благозвучное заглавие, она присовокупляла к нему целые листы самых диковинных и нелепых фраз, нанизывая их в той последовательности, в какой они рождались в ее странном уме. Так, например, она писала о пользе длительных болезней, о смерти, о спасительности самоотречения, о величии видимого мира и о таинственности невидимого, о сельской жизни и ее радостях, о природе, о снах, о любви, об искупительном подвиге Христа, настрочила три рассуждения о справедливости к самому себе, письменно изложила свои мысли о бессмертии. Она вслух читала эти труды своим друзьям и поклонникам и дарила тем, к кому особенно благоволила, одно или два таких сочинения, с условием, что лицо, получившее этот дар, будет хранить его в Библии, если таковая у него имеется.

Этой возвышенной стороной своей природы она глубоко пленила юного подмастерья переплетчика, который читал все книги, какие переплетал, был трудолюбив, чувствителен и простодушен. Когда он приносил в стирку к матери Цюз узелок белья, ему казалось, что он на себе, так правилось ему слушать эти прекрасные речи, которые сам он часто слагал в мечтах, не решаясь, однако, произнести их вслух. Застенчиво и почтительно приблизился он к этой, временами суровой, временами словоохотливой девице. Она мило-стиво приняла его в круг своих друзей и целый год держала под властью своих чар, но притом столь же мягко, как и

бесповоротно лишила юношу всякой надежды на взаимность, ибо он был на девять лет моложе ее, беден как церковная крыса и не искушен в приобретении достатка, который в Зельдвиле и без того не мог быть очень значительным для переплетчика, поскольку тамошние обыватели ничего не читали и редко отдавали книги в переплет. Поэтому она ни на минуту не обманывала себя насчет того, что брак с ним для нее невозможен, и старалась только всячески развить его дух по образцу собственной склонности к самопожертвованию и затуманить его мысли потоками трескучих фраз. Он благоговейно слушал ее и осмеливался иногда сам произнести какое-нибудь прекрасное изречение, но едва успевал он это сделать, как она тотчас же приводила другое, еще более мудрое. Это была самая одухотворенная и благородная пора ее жизни, не омраченная никакими низменными соображениями. За это время юноша заново переплел все ее книги и сверх того, проработав много ночей и много праздничных дней, воздвиг для нее искусный и драгоценный памятник своего почитания.

То был большой китайский храм из картона с бесчисленными отделениями и потайными ящичками, разнимавшийся на множество составных частей. Он был оклеен тончайшей цветной и тисненой бумагой и всюду украшен золотым бордюром. Зеркальные стены перемежались с колоннами, и стоило только приподнять одну часть или наудачу открыть любое отделение, как глазу вновь и вновь открывались зеркала и скрытые за ними картинки, букеты цветов и влюбленные парочки. На изогнутых кончиках крыши висели крохотные колокольчики. Был даже предусмотрен притвор для дамских часов с хорошенькими крючочками на колоннах, чтобы туда повесить золотую цепочку, которая бы обвивалась вокруг всего здания. Но по сию пору еще не появилось ни часовщика, ни ювелира, готовых возложить на сей алтарь часы и цепочку. На этот замечательный храм было затрачено бесконечно много труда и искусства, и геометрический план его потребовал не меньшей усидчивости, чем чистое, точное выполнение.

Когда памятник прекрасно прожитого года был готов, Цюз Бюнцлин, призвав все свое самообладание, уговорила славного переплетчика расстаться с ней и направить свои стопы дальше, потому что перед ним, убеждала она, открывается весь мир, и после того как в ее обществе, в ее школе его сердце столь облагородилось, ему должно улыбнуться

величайшее счастье. Она же никогда его не забудет и предастся уединению. Получив, таким образом, отставку, он ушел из городка, проливая искренние слезы. А произведение его красовалось с той поры на дедовском комодe Цюз, укрытое от пыли и недостойных взоров газовым шарфом цвета морской воды. Она так свято чтит его, что никогда не пользовалась им, ничего не клала в ящички, поэтому оно имело новехонький вид; его творца она называла в своих воспоминаниях Эммануилом, хотя имя ему было Фейт, и говорила всем, что только Эммануил понимал ее и разгадал ее сущность. Однако ему самому она редко в том признавалась, обращалась с ним строго и для вящего поощрения часто заявляла ему, что он менее всех ее понимает, хотя и воображает противное. Зато и он сыграл с ней штуку, положив в двойное дно основания сооруженного им храма прекраснейшее, орошенное слезами письмо, в котором он выражал свою глубокую печаль, любовь, почтение и вечную верность в таких чистосердечных и восторженных словах, какие находит только истинное чувство, терзающееся безысходным смятением. Таких прекрасных мыслей он никогда не высказывал ей потому, что она никогда не давала ему свободно излить свою душу. А Цюз и не подозревала о спрятанном в храме сокровище; вот как случилось, что судьба оказалась справедливой, и лицемерная прелестница никогда не увидела того, что была недостойна видеть. И еще это было знаком того, что именно она-то и не поняла неразумного, но глубоко искреннего и чистосердечного переплетчика.

Уже давно девица Цюз одобряла образ жизни трех гребенщиков и, внимательно присматриваясь к их поведению, называла всех троих праведными и разумными людьми. Поэтому, когда шваб Дитрих стал подолгу засиживаться у нее, принося или забирая свои рубашки, и начал слегка ухаживать за ней, она отнеслась к нему дружелюбно и удерживала его у себя часами, ведя с ним напыщенные разговоры, на которые восхищенный Дитрих отвечал ей грубейшей лестью. Она же находила такие тяжеловесные похвалы чрезвычайно приятными, и чем больше в них было перца, тем больше они ей приходились по вкусу; когда восхваляли ее мудрость, она выслушивала эти славословия молча, чтобы дать собеседнику излить свое сердце, после чего с еще большей елейностью подхватывала нить разговора, искусно дополняя своими замечаниями лестный о себе отзыв.

Недолго походил к ней Дитрих, как она уже показала ему свои процентные бумаги, чем немало его порадовала; а по отношению к товарищам он стал держать себя так скрытно, словно изобрел *perpetuum mobile*<sup>1</sup>.

Однако Иобст и Фридолин скоро выследили его и были изумлены его проникательностью и ловкостью. В частности, Иобст был задет за живое: сколько лет он бывал в этом доме и ни разу не подумал поближе присмотреться там к чему-нибудь, кроме своего белья; вернее, в нем порою даже шевелилась ненависть к этим людям, единственным, которым он принужден был еженедельно чистоганом отсчитывать пфенниги. О брачных узах он никогда не помышлял, потому что женщина представлялась ему существом, которое стало бы требовать от него чего-то, что он ей не должен; ждать от нее пользы для себя тоже никогда не приходило ему в голову, потому что он надеялся только на самого себя и его убогие мыслишки никогда не выходили за пределы ближайшего, тесного круга его тайны. Теперь же надо было во что бы то ни стало опередить маленького шваба, так как, получи он вместе с рукою девицы Цюз семьсот гульденов, он мог бы с этими деньгами натворить пакостных дел. Да и сами семьсот гульденов внезапно приобрели в глазах как саксонца, так и баварца необычайный блеск и сияние. Так Дитрих, находчивый Дитрих, едва успел открыть новую страну, как она тотчас стала общим достоянием, и, таким образом, его постигла горькая участь всех тех, кто открывал неведомые земли. Оба подмастерья немедленно пошли по его стопам и предстали перед Цюз Бюнцлин, которая увидела себя окруженной целой свитой рассудительных и почтенных гребенщиков. Это ей чрезвычайно понравилось. Никогда еще не было у нее нескольких поклонников одновременно, поэтому она нашла новое упражнение для своего высокого ума в том, чтобы с величайшим искусством и беспристрастием наладить отношения со всеми тремя, решив крепко держать их в узде и поощрять прекрасными речами о самопожертвовании и бескорыстии до тех пор, пока само небо не укажет ей, кого избрать. И так как каждый из них поведал ей с глазу на глаз свою тайну и свой план, то она тотчас же решила осчастливить того, кто достигнет цели и станет хозяином мастерской. Шваб мог совершить это лишь с ее помощью, почему она и исключила его из числа сопер-

---

<sup>1</sup> Вечный двигатель (лат.).



пиков, решив ни в коем случае замуж за него не выходить. Но так как он был самый молодой, самый умный и самый обходительный из подмастерьев, то она молчаливыми знаками подавала ему больше, чем кому-либо, некоторую надежду, еще сильнее воспламеняя остальных своим обращением с ним, так что злосчастный Колумб, открывший прекрасную страну, был полностью одурачен в этой игре. Все трое состязались между собою в преданности, скромности и благоразумии, а также в приятном искусстве подчиняться требованиям суровой девицы и бескорыстно ею восхищаться. Когда вся эта компания собиралась вместе, она походила на какое-то странное духовное общество, в котором велись самые необычайные речи. Однако, несмотря на все благоговение и смирение, поминутно случалось, что тот или другой из них, внезапно прерывая восхваление их общей владычице, пытался хвалить и выставлять в выгодном свете себя самого, за что был кротко наставляем и, пристыженный, должен был выслушивать, как Цюз противопоставляла его достоинствам добродетели его соперников, которые и он сам спешил после этого признать и подтвердить.

Тяжелая жизнь настала теперь для бедных гребенщиков; как ни холодны были их сердца, все же теперь, когда в игру вошла женщина, их обуяли ранее неизвестные им волнения ревности, забот, страха и надежды. Они изнуряли себя работой и скaredностью и худели на глазах, стали мрачны и унылы. На людях, и в особенности у Цюз, они мирно упражнялись в красноречии, но за работой или у себя в каморке они едва обменивались непогими словами и со вздохом ложились в общую кровать, по-прежнему миролюбиво, тихо и прямо, как три карандаша. Одно и то же сновидение витало каждую ночь над всеми тремя, покуда однажды оно не представало Иобсту так живо, что тот отпрянул от стены и толкнул Дитриха, Дитрих подался назад и толкнул Фридолина. Тут в полусонных подмастерьях вспыхнула дикая злоба, и в постели завязалась ужаснейшая борьба; минуты при подряд они тузили друг друга ногами, брыкались и пинались так жестоко, что все шесть ног переплелись и весь клубок с отчаянными воплями скатился с кровати. Опомнясь, они решили, что либо черт приходил по их душу, либо в каморку ворвались разбойники. Они с криком вскочили, Иобст встал на свою заветную плиту, Фридолин поспешно ступил на свою, а Дитрих — на ту, под которой уже начали скапливаться его скромные сбережения. Стоя так, треугольником,

они трясли и махали руками в воздухе и кричали: «Караул! режут! убирайся! убирайся!» — до тех пор, пока в комнату не ворвался перепуганный хозяин и не успокоил обезумевших подмастерьев. Дрожа от страха, стыда и злобы, залезли они наконец опять в постель и молча пролежали рядом до утра.

Это ночное наваждение было только прелюдией к ожидавшей их еще более ужасной встряске: за завтраком хозяин сообщил им, что он больше не может держать трех работников и поэтому двое из них должны отправиться в странствие. Дело в том, что они переусердствовали и заготовили столько товара, что большая часть его залежалась, а хозяин, в свою очередь, на крупные доходы от мастерской, достигшей высокого процветания, повел такую веселую жизнь, что вскоре его долги вдвое превысили доходы. Поэтому подмастерья, при всем их трудолюбии и невзыскательности, внезапно стали для него лишней обузой. Он сказал им в утешение, что все трое ему одинаково милы и дороги и он предоставляет им самим сговориться между собою, кто останется и кто должен уйти. Но они ничего не могли решить, а стояли мертвенно-бледные и растерянно улыбались друг другу; потом они впали в ужасное возбуждение — ведь пробила роковой час: сообщение хозяина было верным признаком того, что он уже недолго будет канителиться с мастерской и вскоре пустит ее в продажу. Итак, цель, к которой все трое стремились, теперь была совсем близка, сияла им ярким светом, как горний Иерусалим, — и что же? У самого входа двое из них должны будут повернуть вспять!

Не считаясь более ни с чем, все трое заявили о своем желании остаться даже в том случае, если придется работать даром. Но хозяину и это не подходило; он упрямо повторял, что двое из трех, во всяком случае, должны уйти; тогда они, ломая руки, пали перед ним на колени, и каждый молил оставить его хоть на два месяца, хоть на четыре недели. Но хозяин хорошо понимал, на что они рассчитывают, это сердило его, и он решил посмеяться над ними, неожиданно предложив им следующий забавный выход из положения.

— Если вы сами никак не можете договориться, кому из вас получить расчет, — сказал он, — то я укажу вам, как разрешить этот вопрос, и как я решил, так оно и будет! Завтра воскресенье, я с вами рассчитаюсь, вы уложите свои котомки, возьмете свои палки, втроем дружно выйдете за городские ворота и пройдете добрых полчаса в любую сторону. Затем вы отдохнете, выпьете, если захотите, по кружке пива

и после этого отправитесь обратно в город; кто первым явится просить меня снова взять его на работу, того я и оставлю; остальные же должны будут беспрекословно уйти куда им заблагорассудится.

Они еще раз пали перед ним на колени, умоляя отказаться от этого жестокого намерения, но напрасно — он был непреклонен. Внезапно шваб вскочил и помчался, как сумасшедший, из дому, прямо к Цюз Бюнцлин. Как только это заметили Иобст и баварец, они прервали свои мольбы и примчались вслед за ним, и причитания тотчас возобновились в жилище перепуганной девицы.

Это неожиданное событие очень смутило и взволновало ее, но она раньше всех пришла в себя и, вдумавшись в положение вещей, решила связать свою собственную судьбу со странной затесей хозяина, которую сочла за внушение свыше. Растроганная, она вынула «Ларец сокровищ» и пропустила между страницами иглу; изречение, на котором раскрылась книга, говорило о неуклонном преследовании благой цели. После этого она предложила взволнованным подмастерьям тоже погадать по ее книжке, и на чем бы они ни раскрыли гадалник — всюду говорилось о быстром странствовании по узкому пути, о движении вперед без оглядки, о беге жизни, словом — о скачках и бегах всех видов, так что завтрашнее состязание казалось явно предначертанным самим небом. Но так как девица опасалась, что Дитриху, как самому младшему, легче всех будет примчаться к цели и завоевать пальму первенства, то она решила войти за город вместе со своими тремя воздыхателями и там сообразить, не представится ли ей возможность самой предпринять что-нибудь для своей выгоды. Ибо ей хотелось, чтобы победителем вышел один из двух старших подмастерьев — какой именно, ей было совершенно безразлично. Поэтому она призвала сотовавших на судьбу и споривших между собой парней к спокойствию и покорности и сказала им следующее:

— Знайте, друзья мои: все, что случается, имеет сокровенный смысл, и, как ни странно и необычно предложение вашего хозяина, мы должны рассматривать его как некое указание свыше и с глубокой мудростью, о которой печестивцы не имеют понятия, покориться этому неожиданному решению. Наша мирная и разумная совместная жизнь была слишком прекрасна, чтобы долго продолжаться столь поучительным образом. Увы! Все прекрасное и плодотворное преходяще и тленно, и ничто не бывает длительным,

кроме зла, упорства и душевного одиночества — бедствий, которые мы наблюдаем и созерцаем нашим смиренным разумом. Поэтому, прежде чем злой демон раздора появится среди нас, давайте расстанемся и разойдемся добровольно, как те легкие весенние облачка, что мчатся по небу, а не как грозные осенние тучи. Я хочу сама проводить вас из города в трудный путь и присутствовать при начале вашего искуса, дабы вами владела радостная отвага и, видя впереди себя столь желанную вам победу, вы одновременно ощущали за собой прекрасное побуждение. Но подобно тому, как победитель не должен возгордиться своим торжеством, так и побежденные пусть не приходят в отчаяние, и пусть не унесут они в сердце своем грусть и злобу, но, уверенные в нашем нежном воспоминании, весело и бодро отправятся в дальние странствования. Ведь люди построили много городов, столь же прекрасных и даже более прекрасных, чем Зельвила. Великий Рим — замечательный город, где живет святой отец, и Париж — прекраснейший город с огромным населением и чудными дворцами, а в Константинополе царствует султан турецкой веры, и Лиссабон, некогда разрушенный землетрясением, теперь отстроен еще величественнее. Вена — главный город Австрии и именуется столицей империи, и Лондон — богатейший город в мире, находящийся в Англии, на реке, которую зовут Темзой. Там живет два миллиона людей! А Петербург — столица России и царская резиденция, так же как и Неаполь — столица одноименного королевства, с огнедышащей горой Везувием, на которой некогда одному английскому капитану корабля, как я читала в примечательном описании его путешествия, явилась грешная душа, принадлежавшая некоему Джону Смитю; полтора года назад он был безбожником, а теперь дал вышеупомянутому капитану поручение к своим потомкам в Англии, чтобы они вымолили ему прощение. Ибо вся эта огненная гора является местопребыванием погибших душ, как можно прочесть в ученом трактате Петра Хазлера о предположительном местонахождении ада. Есть еще много других городов, из которых я назову только Милан, Венецию, всю построенную на воде, Лион, Марсель, Страсбург, Кельн и Амстердам; о Париже я уже упоминала, но о Нюрнберге, Аугсбурге и Франкфурте, Базеле, Берне и Женеве — еще нет; все это прекрасные города, так же как прекрасный Цюрих и множество других, которых мне не перечислить. Ибо все имеет свои границы, кроме изобретательности людей,

которые селятся всюду и предпринимают все, что им кажется полезным для человека. Если они праведны, то все им удается, грешник же зачахнет, как трава в поле, или же развеется, как дым. Много избранных, но мало званых. По всем этим причинам и по многим высоким соображениям, которые нам подсказывают долг и наша чистая совесть, мы будем покорны зову судьбы. Итак, ступайте и приготовьтесь к странствиям и будьте подобны тем праведным и кротким мужам, которые, куда бы они ни пошли, всегда несут в себе свое достоинство, и посохи их повсюду пускают корни, и за что бы они ни взялись, они могут сказать себе: «Я избрал благую часть».

Но гребенщики ничего и слышать не хотели и стали осаждать мудрую Цюз просьбами выбрать одного из них и приказать ему остаться, причем каждый имел здесь в виду самого себя. Но она остерегалась сделать выбор и заявила им серьезно и повелительно, что они должны ей повиноваться, иначе она навсегда лишит их своей дружбы. Тогда Иобст, самый старший, снова помчался в дом хозяина, и тотчас же во всю прыть за ним побежали остальные, опасаясь, как бы он там не предпринял чего-нибудь против них; так носились они взад и вперед весь день, словно падающие звезды, и опротивели друг другу, как три паука, застрявшие в одной паутине. Полгорода наблюдало необычайное зрелище полной растерянности гребенщиков, которые до этого для вели себя так мирно и спокойно, и старые люди, встревоженные их поведением, видели в нем таинственное предзнаменование грядущих страшных событий. К вечеру, усталые и обессиленные, они все же ни до чего не додумались и, скрежеща зубами, улеглись на свою старую кровать. Один за другим заползли они под одеяло и лежали, словно сраженные смертью, терзаясь мрачными мыслями, пока не сошел на них делительный сон.

Иобст проснулся первым и увидел, что в каморку, где он ночевал вот уже шесть лет, ласково светит весеннее солнце. Как ни убого было это помещение, теперь, когда ему предстояло с ним расстаться, да еще вследствие такой несправедливости, оно показалось ему сушим раем. Он обвел глазами стены, перебирая давно знакомые следы, оставленные многочисленными подмастерьями, прожившими здесь кто долгое, кто короткое время. Вот здесь один из них, имевший обыкновение тереться головой о стену, оставил темное пятно; вон там другой вбил гвоздь, чтобы вешать

свою трубку, и красный шнурочек так и остался висеть. Какие это все были хорошие люди, как мирно уходили они отсюда, а вот эти, что лежат рядом с ним, ни за что не хотят уступить ему место. Затем он перевел глаза на участок стены подле самого его лица и стал рассматривать мелочи, которые рассматривал уже тысячи раз, когда поутру или вечером, но еще засветло, нежился в постели, наслаждаясь сознанием, что это удовольствие бесплатное. Там в штукатурке было попорченное место, напоминавшее ландшафт с городами и озерами, а кучка крупных песчинок казалась группой блаженных островков; дальше торчала длинная щетинка, выпавшая из кисти и застрявшая в голубой клеевой краске. Прошлой осенью Иобст нашел остаточек этой краски и, чтобы добро не пропало даром, покрасил ею четверть стены — то самое место, возле которого лежал в кровати; на большее не хватило материала. По ту сторону щетинки виднелось возвышеньице — подобие крохотной горки, от которой на блаженные острова через щетинку падала нежная тень. Над этой горкой Иобст размышлял уже целую зиму: ему казалось, что прежде ее здесь не было. Когда же теперь он стал искать ее своим грустным сонным взглядом, он нашел вместо нее незакрашенное пятнышко. Но как же он изумился, увидя, что горка не только переместилась подалее, а шевелится, как бы собираясь проделать путь. Иобст подскочил, словно увидел некое чудо, и убедился, что перед ним не что иное, как клоп, которого он минувшей осенью нечаянно замазал краской, когда тот сидел на стене в полном оцепенении. Теперь же, согретый весенним теплом, клоп ожил и в эту минуту хлопотливо полз вверх по стене, показывая голубую спинку. Иобст растроганно и изумленно следил за ним глазами; пока клоп полз по голубому участку стены, его почти нельзя было отличить от нее; но когда он выбрался из окрашенного места и последние засохшие брызги краски остались позади, славная небесно-голубая букашка стала ясно выделяться на более темном фоне. Грустно опустился Иобст на подушку. В обычное время он мало придавал значения подобным вещам, но теперь это явление пробудило в нем мысль, что, пожалуй, ему тоже снова придется странствовать, и он решил, что ему дан знак свыше — указание покориться неизбежному и осммотрительно снарядиться в путь.

Под влиянием этих более спокойных размышлений к нему вернулись его природная рассудительность и муд-

рость; тщательно все продумав, Иобст заключил: если он смиренно, покорно согласится подвергнуть себя тяжкому испытанию и при этом будет вести себя умно и с выдержкой, то, пожалуй, победит своих соперников. Тихонько встав с кровати, он принялся укладывать пожитки: прежде всего он вынул свое сокровище и положил его в самый низ старой дорожной котомки. Тут проснулись и его товарищи. Они очень удивились, увидя, как спокойно он укладывается, и еще больше поразились, когда он обратился к ним с миролюбивыми словами и пожелал им доброго утра. Однако он ни о чем не распространялся, а продолжал тихо и спокойно заниматься своим делом. И тотчас же, хотя они и не знали, что он замышляет, они заподозрили в его поведении военную хитрость и принялись во всем ему подражать, внимательно следя за тем, что он предпримет дальше. При этом, как ни странно, все трое совершенно открыто извлекли свои сбережения из-под каменных плит и, не считая, уложили в свои котомки; ибо им давно уже было известно, что каждый из них знает сокровенную тайну остальных, и по добром старому обычаю они доверяли друг другу, когда дело касалось имущества. Каждый был убежден, что другие его не ограбят, да и вообще в спальнях подмастерьев, солдат и им подобных обычно не существует ни запоров, ни взаимного недоверия.

Таким образом, они, сами того не приметив, приготовились к уходу; хозяин выплатил им заработанные деньги и дал дорожные книжки, в которых вписаны были самые лучшие отзывы от города и от него самого, удостоверявшие их прекрасное поведение и отменные качества. Грустно стояли они перед дверью Цюз Бюнцлин; на них были длиннополые коричневые сюртуки, а поверх сюртуков — ветхие, застиранные плащи; их шляпы, старые и достаточно потертые, были заботливо прикрыты клеенкой. У каждого из них к дорожной котомке была прикреплена маленькая тележка, чтобы в случае дальнего странствия везти на ней свою поклажу; однако на сей раз путники не предполагали воспользоваться тележками и поэтому тащили их за спиной. Иобст опирался на солидную камышовую трость, Фридолин — на ясеневую палку, ярко расцвеченную красными и черными полосами, а Дитрих — на причудливый посох, беспорядочно обвитый ветками. Теперь он почти что стыдился этой привлекавшей всеобщее внимание махины, которая сохранилась от первых

лет его странствий, когда он был еще далеко не таким степным и рассудительным, как сейчас.

Трех мужчин, с сосредоточенным видом стоявших на улице, обступили соседи; все желали им счастливого пути. Наконец в дверях торжественно появилась Цюз и величаво проследовала во главе подмастерьев за ворота. В их честь она облеклась в пышный наряд: на ней была большая шляпа с широкими желтыми лентами, розовое ситцевое платье со старомодными сборками и украшениями, черный бархатный шарф с томпаковой пряжкой и красные сафьяновые башмаки, отделанные бахромой. В руках она держала большой ридикюль зеленого шелка, наполненный сушеными грушами и сливами, и раскрытый зонтик, на котором красовалась большая лира из слоновой кости. Не забыла она также свой медальон с памяткой из белокурых волос и золотую булавку в виде незабудки, а на руках у нее были белые вязаные перчатки. Вид у нее во всем этом великолепии был приветливый и нежный, на лице играл легкий румянец, грудь, казалось, вздымалась выше, чем всегда, и соперниками, уходившими в дальний путь, овладела грусть; ибо все вокруг — чудесное весеннее солнце, освещавшее их исход из Зельдвилы, и царядный убор Цюз — вносили в их смятенные чувства легкую примесь того, что обычно зовется любовью.

Когда они вышли за ворота, ласковая девица убедила своих обожателей положить котомки на тележки и тащить за собой, чтобы не утомлять себя понапрасну. Они так и сделали, и когда стали подыматься на гору, то казалось, будто небольшой отряд артиллерии взбирается вверх, чтобы расставить батарею.

Пройдя добрых полчаса, они сделали привал на прелестной горке у перекрестка и уселись в полукруг под липой, откуда открывался широкий вид на леса, озера и селения. Цюз открыла свой ридикюль и дала каждому по полной пригоршне груш и слив, чтобы освежиться, и они довольно долго сидели, не говоря ни слова, погружаясь в раздумье; слышно было только легкое прищелкивание, когда они давали языком сладкие плоды. Затем Цюз, бросив косточку от сливы и обтерев запачканные кончики пальцев о молодую траву, повела такую речь:

— Дорогие друзья, посмотрите, как прекрасен и обширен мир, сколько в нем чудесных явлений и сколько людских жилищ! И все же я готова побиться об заклад, что в



Этот торжественный час на всем белом свете не найти четырех столь праведных и благонравных людей, собравшихся вместе, как мы здесь, людей столь умных и рассудительных, приверженных к жизни в труде и ко всем связанным с этим добродетелям — скромности, бережливости, миролюбию и искренней дружбе! Как много растет вокруг нас различных цветов, вызванных к жизни весенним теплом. Особенно хороши желтые примулы, дающие вкусный и здоровый чай; но разве цветы эти праведны и трудолюбивы, бережливы и осторожны, способны к умным и поучительным размышлениям? Нет, это невежественные и безрассудные существа, лишенные души и разума; они зря расточают свои дни, и как они ни прекрасны, они все же превратятся в ворох сена, тогда как мы далеко превосходим их добродетелью и, по правде сказать, нисколько не уступаем им во внешней красоте. Ибо господь сотворил нас по образу и подобию своему — вложил в нас свой божественный дух. О, если бы мы могли вечно сидеть здесь, в этом раю, сохраняя невинность душевную! Да, друзья мои, у меня такое чувство, словно мы все невинны, но облагорожены безгрешным познанием: все мы ведь умеем, благодарение богу, читать и писать, и все искусны в каком-нибудь ремесле. Ко многому у меня имеются склонности и способности, и я полагаю, что, пожелай я только подняться над своим сословием, и я могла бы выполнять такие дела, какие и учнейшей барышне не под силу, но скромность и смирение — благороднейшие добродетели порядочной женщины, и мне достаточно сознания, что мой дух не ничтожен и не презретен перед вышним судьей. Многие добивались моей руки, но были недостойны ее; и вот теперь я вижу вокруг себя сразу трех почтенных мужчин, из которых каждый вполне достоин обладать мною. Посудите же сами, как томится мое сердце от столь чудесного изобилия; так пусть же каждый из вас поставит себя на мое место и вообразит, что находится в цветнике из трех одинаково достойных и страдающих по нем девиц и потому не может ни одной из них отдать предпочтения и сделать выбор. Представьте себе с полной ясностью, что из-за каждого из вас соперничают три девицы Бюндлин и сидят вокруг вас, одетые, как я, и с таким же обликом, так что я находилась бы здесь как бы в девятикратном виде, рассматривая вас со всех сторон и томясь по вас. Постарайтесь себе это представить!

Честные подмастерья в изумлении перестали жевать и тотчас с довольно глупым видом постарались выполнить эту необыкновенную задачу. Маленький шваб справился скорее всех и воскликнул с похотливой улыбкой:

— Да, достойнейшая девица Цюз! Если вы это любезно разрешаете, то я вижу вас не только втрое, но даже стократно: вы парите вокруг меня, взираете на меня благосклонным оком и предлагаете мне тысячи нежных поцелуев!

— Ну нет! — сказала Цюз укоризненно. — Какое непристойное преувеличение! Как вы смеете, дерзкий Дитрих? Не в стократном виде разрешила я вам это, не говоря уже о поцелуях, а лишь в трехкратном для каждого и в скромной и приличной манере, которая бы меня не оскорбляла!

— Да! — воскликнул наконец Иобст, поводя вокруг себя обглоданным корешком груши. — Только в трехкратном вижу я милейшую девицу Бюнцлин; вижу, как она благопристойнейшим образом кружит вокруг меня и благосклонно мне кивает, приложив руку к сердцу. Благодарю, покорнейше благодарю, чувствительно благодарю, — закончил он, ухмыляясь и кланяясь на три стороны, словно он воочию видел эти призраки.

— Вот это правильно, — сказала Цюз с улыбкой, — если между вами и есть некоторое различие, то вы, любезный Иобст, во всяком случае, самый одаренный и, уж бесспорно, самый понятливый из всех.

У баварца Фридолина воображение еще не успело разыграться, но, услышав похвалы, расточаемые Иобсту, он испугался и торопливо воскликнул:

— Я также вижу милейшую девицу Бюнцлин в тройном виде; вот она кружит вокруг меня пристойнейшим образом и сладострастно кивает мне, приложив руку к...

— Фу, баварец! — вскричала Цюз и отвернулась. — Ни слова более! Откуда у вас берется дерзость говорит обо мне в таких неподобных выражениях и воображать такие пакости? Фу, фу!

Бедного баварца словно громом поразило; он густо покраснел, не понимая причины ее гнева, — ведь он ровно ничего не придумал и только услышав, что саксонец удостоился похвалы за свою речь, с грехом пополам пересказал ее. Снова повернувшись к Дитриху, Цюз сказала:

— Ну как, любезный Дитрих, не пришло ли вам в голову что-нибудь более нравственное?

— Да, с вашего позволения, — отвечал тот, обрадованный тем, что к нему вновь обратились, — я вижу вас теперь возле себя в том же трехкратном виде; вы дружески смотрите на меня — дружески, но скромно — и подаете мне три белоснежных ручки, которые я цедую.

— Очень хорошо, — сказала Цюз, — а вы, Фридолин, неужели вы все еще не устыдились своего заблуждения? Неужели ваша пылкая кровь все еще не охладилась и вы не можете изложить свои чувства в подобающих выражениях?

— Простите, — сказал Фридолин смущенно, — теперь мне кажется, что я вижу трех девиц, предлагающих мне сушеные груши; они, по-видимому, относятся ко мне благосклонно, все они одинаково прекрасны, и сделать выбор между ними — для меня дело весьма нелегкое!

— Итак, — заявила Цюз, — если вы, окруженные в своем воображении девятью равно достойными особами, все же при таком чудесном изобилии ощущаете в сердцах своих неудовлетворенность, то судите сами о моем состоянии; подобно тому как я благодаря душевной скромности и мудрости всегда умею владеть собой, так и вы возьмите мою твердость за образец и поклянитесь мне и друг другу ладить в будущем между собой; и как я расстанусь с вами дружески, так и вы должны расстаться друзьями, каково бы ни было ожидающее вас решение судьбы. Дайте же мне ваши руки и поклянитесь!

— Да, конечно, — воскликнул Иобст, — что до меня, я охотно пойду на это, за мной дело не станет!

Оба других подмастерья тотчас закричали: «И за мной тоже! И за мной тоже!», и все они соединили свои руки. Каждый, однако, намерен был, во всяком случае, мчаться изо всех сил.

— За мной действительно дело не станет, — повторил Иобст, — потому что с юных лет я был от природы сострадательным и миролюбивым. Никогда еще я ни с кем не ссорился и никогда не мог видеть страданий какого-нибудь зверька; где бы я ни был, везде я умел ладить с людьми и удостаивался высших похвал за свое смиренное поведение. И хотя я во многом разбираюсь и вообще парень смывленный, однако никто никогда не видел, чтобы я вмешивался во что-нибудь, что меня не касалось, и всегда я выполнял свои обязанности самым добросовестным образом. Я могу работать сколько мне вздумается, и это мне не повредит, — потому что ж здоровяк, мужчина, можно сказать, в соку! Все мои хозяйки

говорили, что я мастер на все руки, верх совершенства и что со мной легко ужиться. Ах! Я в самом деле думаю, что с вами я жил бы как в раю, дражайшая девица Цюз!

— Эх, — с жаром сказал баварец, — этому я охотно верю; для того, чтобы жить с этой девицей как в раю, не требуется особого искусства. Это уж и мне бы удалось, смекалкой меня бог не обидел! Свое ремесло я знаю в совершенстве и умею в делах своих держать порядок, не прибегая к сильным выражениям. И хотя я жил в самых больших городах, однако нигде у меня не было ни ссор, ни раздоров, и никогда я даже не побил кошку, не раздавил паука. Я человек воздержанный и трезвый и доволен любой пищей, умею обходиться самым малым. Я тоже здоров и силен и могу многое выдержать; чистая совесть — наилучший жизненный эликсир; все звери любят меня и бегают за мной, потому что они чувствуют мою чистую совесть, а у несправедливого человека они не живут. Однажды какой-то пудель следовал за мной целых три дня, когда я шел из города Ульма, и в конце концов я вынужден был отдать его одному крестьянину, так как мне, скромному подмастерью, не по карману было прокормить такое животное. А когда я странствовал по Богемскому лесу, олени и серны подпускали меня к себе на двадцать шагов и нисколько меня не боялись. Просто удивительно, как даже дикие звери разбираются в людях и знают, у кого доброе сердце!

— Да, это, должно быть, правда! — воскликнул шваб. — Разве вы не видите, как этот зяблик все время кружит вокруг меня и льнет ко мне? А вот та белка на ели поминутно оглядывается на меня, а жучок ползет по моей ноге, и никак его не согнать! Ему-то, видно, очень хорошо со мной, милому, доброму созданищу!

Но тут Цюз ощутила ревность и довольно резко заявила:

— Все животные рады жить у меня! Как-то раз птичка прожила у меня восемь лет и, умирая, очень неохотно рассталась со мной; наша кошка не отстает от меня ни на шаг, а соседские голуби толкуются и ссорятся перед моим окном, когда я им сыплю крошки. Удивительными свойствами обладают звери, причем у каждого — свои! Лев охотно следует за королями и героями, а слон сопровождает князей и храбрых воинов. Верблюд несет на себе купца через пустыню и сохраняет для него свежую воду в своем желудке, а собака верна своему хозяину во всех опасностях и бросается ради него в море. Дельфин любит музыку и следует за кораб-

лями, а орел — за боевыми дружинами. Обезьяна — человекообразное существо, подражающее всему, что делает человек, а попугай понимает наш язык и болтает, словно дряхлый старец. Даже змей можно приручить и заставить их плясать на кончике собственного хвоста; крокодил плачет человеческими слезами, и жители тех краев очень уважают и ценят его; страуса можно оседлать и ездить на нем, как на лошади; дикий буйвол возит повозку человека, а рогатый олень — его сани. Единорог доставляет ему белоснежную слоновую кость, а черепаха — свои прозрачные кости.

— Не обессудьте, — сказали трое гребенщиков в один голос, — в этом вы, конечно, ошибаетесь. Слоновая кость добывается из клыков слона; что до черепаховых гребней — они делаются из панциря черепахи, а не из ее костей!

Цюз залилась румянцем и сказала:

— Это еще вопрос, потому что вы, конечно, сами не видали, откуда это берется, а обрабатывали лишь готовые куски; обычно я ошибаюсь очень редко; но даже если это так — дайте мне досказать: ведь свои удивительные, богом данные особенности имеют не только звери, но даже мертвые камни, которые люди извлекают из недр земли. Хрусталь прозрачен, как стекло, мрамор тверд и с прожилками, то белыми, то черными; у янтаря электрические свойства, и он притягивает молнию, но тогда он сгорает и пахнет как ладан. Магнит притягивает железо, на грифельной доске можно писать, а вот на алмазе никак нельзя, потому что он тверд, как сталь. Стекольщик употребляет его для разрезания стекла — ведь он мал и остер. Вы видите, дорогие друзья, я кое-что могу рассказать о животных! Что же касается моего отношения к ним, то надо заметить следующее: кошка — хитрое и лукавое животное и поэтому привязывается лишь к хитрым и лукавым людям; голубь же является олицетворением невинности и кротости, и его привлекают к себе лишь простые, безгрешные души. А так как ко мне привязываются и кошки и голуби, то из этого следует, что я в одно и то же время умна и простодушна, хитра и невинна, как сказано в писании: будьте мудры, как змеи, и простодушны, как голуби. Благодаря всем этим сведениям мы можем судить о животных и об их отношении к нам и многому научиться, если сумеем правильно подойти к делу.

Бедные подмастерья не решались больше проронить ни слова. Цюз взяла их под частый обстрел и говорила еще долго и бессвязно, выражаясь так витиевато, что они со-

вершено обладели. Они восхищались ее умом и красноречием, и, восхищаясь, каждый из них думал про себя, что именно ему пристало владеть таким сокровищем, тем более что это украшение домашнего очага обошлось бы недорого, заключааясь лишь в неутомимом языке. Насколько сами они достойны того, что ставят так высоко в других, и какое употребление они сумеют из этого сделать — такие вопросы тупоумным людям поздно приходят в голову, а то и вовсе не приходят: в этом отношении они похожи на детей, которые хватают все, что им бросается в глаза, и слизывают краску со всех пестрых предметов, а погремушку с бубенцами суют в рот, вместо того чтобы приложить ее к уху. Так и все три гребенщика всё более проникались желанием покорить эту изумительную особу; и чем вышемерно, бездушнее и тщеславнее становились нелепые речи Цюз, тем печальнее и беспокойнее становились ее поклонники. К тому же их мучила жажда после сухих фруктов, которые они тем временем успели доесть; Иобст и баварец пошли в рошу, разыскали там ручей и вволю напились студеной воды, тогда как шваб догадался заранее запастись фляжкой, в которой был вишневый спирт, разведенный водой и сдобренный сахаром; этот приятный напиток должен был подкрепить его и дать ему преимущество при состязании в беге — ведь он знал, что остальные слишком бережливы, чтобы чем-либо запастись или зайти куда-нибудь подкрепиться. И пока те наливались водой, он поспешно вытащил свою фляжку и предложил девице Цюз отведать. Она выпила половину, напиток очень ей понравился, освежил ее, и она искоса взглянула на Дитриха так обворожительно, что остаток, который он допил, показался ему сладким, как кипреское вино, и придал ему сил. Он не удержался, схватил руку Цюз и изящно поцеловал ей кончики пальцев; она шуточно ударила его по губам указательным пальцем, а он притворился, что хочет захватить его губами, и при этом скривил рот, точно улыбающийся карп. Цюз ухмылялась притворно ласково, Дитрих — хитро и слащаво. Они сидели на земле друг против друга и время от времени легонько подталкивали друг друга подошвами башмаков, словно хотели этим заменить нежные рукопожатия. Цюз подалась вперед и положила руку на плечо шваба, но только Дитрих собрался ответить тем же и продолжить эту приятную игру, как вернулись саксонец с баварцем и, крихтя, бледные как полотно, усталились на них; обоим подмастерьям было худо от невероятного коли-

чества холодной воды, которой они запили сушеные груши; к рези в животе прибавились еще и сердечные муки при виде игривой пары, и несчастных прошиб холодный пот. Но Цюз не растерялась и воскликнула, ласково кивнув им:

— Идите сюда, дорогие, посидите и вы немножечко возле меня, чтобы нам еще на мгновение в последний раз насладиться нашей дружбой и единодушием.

Иобст и Фридолин, толкая друг друга, подбежали к девице и уселись, вытянув ноги. Не снимая руки с плеча шваба, Цюз другую руку протянула Иобсту, а ногами дотронулась до подошв Фридолина, улыбаясь по очереди каждому из них. Бывают такие виртуозы, которые умеют играть на нескольких инструментах разом — звенеть колокольчиками, тряся головой, ртом дуть в свирель, руками играть на гитаре, коленками ударять в димбалы, ногой стучать в треугольник, а локтем бить в барабан, висящий за спиной.

Немного погодя Цюз поднялась с земли, расправила платье, которое было у нее аккуратно подобрано, и сказала:

— Пора уже, дорогие друзья, приниматься за дело: вам надо подготовиться к тому серьезному состязанию, которое вам, по своему неразумию, предложил ваш хозяин, а мы рассматриваем как веление высшего рока! Вступите же на этот путь с похвальным усердием, но без вражды и зависти друг к другу, и покорно предоставьте венец победителю!

Подмастерья вскочили как ужаленные. Они стали в ряд, готовые бежать наперегонки во всю силу своих резвых ног, хотя доселе они шествовали лишь осмотрительным, степенным шагом. Ни один из них не мог даже припомнить, скакал ли он и бегал ли когда-нибудь раньше: больше других еще верил в свои силы шваб, он даже потихоньку шаркал ногами по земле, нетерпеливо переминаясь на месте. Странно и подозрительно поглядывали они друг на друга, были бледны и обливались потом, как будто уже бежали во весь опор.

— Подайте друг другу еще раз руки, — сказала Цюз.

Они повиновались, но так неохотно и вяло, что три руки только слегка соприкоснулись и тотчас бессильно повисли, словно налитые свинцом.

— Неужели мы действительно примемся за это дурацкое дело? — спросил Иобст, вытирая глаза, полные слез.

— Да, — сказал баварец, — неужели мы действительно побегим и поскачем? — и при этом заплакал.

— А вы, любезнейшая девица Бюнцлин, — спросил Иобст рыдая, — как вы будете себя вести?

— Мне подобает, — ответила она, поднося носовой платок к глазам, — мне подобает молчать, страдать и смотреть, Шваб ласково и лукаво спросил:

— Ну, а потом, девица Цюз?

— О Дитрих, — ответила она кротко, — разве вы не знаете поговорки: указание судьбы — это голос сердца!

При этом она искоса взглянула на него так выразительно, что он опять затопал ногами и возымел желание тотчас помчаться рысью.

Пока оба соперника приводили в порядок свои тележки и Дитрих занимался тем же, Цюз несколько раз многозначительно толкала его под локоть и наступала ему на ногу; она даже обтерла пыль с его шляпы, но одновременно, как бы желая показать, что посмеивается над швабом, улыбалась и двум другим, однако так, чтобы он этого не заметил. Наконец все трое крепко надули щеки, тяжело вздохнули, обвели глазами все вокруг, сняли шляпы, отерли пот со лба, пригладили слипшиеся волосы и вновь надели шляпы. Затем они еще раз оглянулись на все четыре стороны и глубоко вобрали воздух. Цюз сжалась над ними и так растрогалась, что сама заплакала.

— Здесь остались еще три сухие сливы, возьмите каждый по сливе в рот и сосите, это вас освежит. Ступайте же, и да удастся вам обратить неразумие злых в мудрость праведных! То, что они придумали из озорства, преобразите в назидательное торжество самообладания и стойкости, в сознательное увенчание многолетнего благонравия и соперничества в добродетели!

Она положила каждому в рот по сливе, и они принялись их сосать. Прижав руку к животу, Иобст воскликнул: «Раз уж так суждено, да свершится воля всевышнего!» — и сразу, подняв палку, быстро зашагал, сильно сгибая колени и таща за собой на тележке свою котомку. Увидев это, Фридолин последовал за ним крупными шагами, и оба они, не оглядываясь, довольно быстро затрусили под гору. Шваб двинулся в путь последним и шел рядом с Цюз, с видом хитрым и самодовольным, неторопливо, словно был заранее уверен в победе и из благородства решил предоставить двум другим некоторое преимущество. Цюз похвалила его миролюбивое спокойствие и доверчиво повисла на его руке.

— Ах, как прекрасно, — сказала она со вздохом, — иметь твердую опору в жизни! Даже если человек достаточно одарен умом и рассудительностью и шествует стезей добродетели



тели, то насколько же увереннее идешь по этой стезе, опираясь на верную дружескую руку!

— Черт побери, конечно, я того же мнения, — ответил Дитрих и изрядно толкнул ее локтем в бок, в то же время зорко следя, чтобы соперники не слишком его опередили. — Вот оно что, почтеннейшая девица, наконец-то вы сообразили! Поняли, где раки зимуют!

— О Дитрих, дорогой Дитрих, — сказала она, вздыхая еще сильнее. — Я чувствую себя часто очень одинокой.

— Гоп-гоп! Значит, чему быть, того не миновать! — воскликнул он, и сердце у него запрыгало, как зайчонок при виде белой капусты.

— О Дитрих! — воскликнула она и прижалась к нему еще крепче. Хитреца словно варом обдало, и сердце у него готово было разорваться от плутовской радости, но тут он заметил, что его соперников уже не видно, они исчезли за поворотом. Он хотел вырваться из рук Цюз и помчаться вслед за ними, но она держала его так крепко, что это ему не удалось, и цепляясь за него, словно совсем ослабела.

— Дитрих, — пролепетала она, закатывая глаза, — не оставляйте меня сейчас одну, я вам доверяю, поддержите меня!

— Черта с два! Отпустите меня, любезная девица, — закричал он в смятении, — или я опоздаю, и тогда прощай семейный уют!

— Нет, нет, вы не можете меня покинуть, я чувствую, мне вот-вот станет дурно, — жалобно просила она.

— Станет или не станет! — завопил шваб и рывком высвободился из ее рук. Он вскочил на холмик и увидел, что бегуны мчатся во всю прыть уже далеко под горой. Он хотел было поскакать вслед за ними, но на миг еще раз обернулся к Цюз. А та сидела у начала узкой тенистой лесной тропинки и ласково манила его рукой. Против этого он не мог устоять и, вместо того чтобы бежать с горы, помчался назад, к девице. Увидя, что он возвращается, Цюз встала и углубилась в рощу, все время оглядываясь на него; она решила всеми способами удерживать его от участия в состязании и дурачить до тех пор, пока он уже не сможет обогнать своих соперников и остаться жить в Зельдвиле.

Но тем временем находчивый шваб переменял план действий и решил завоевать свое благополучие здесь же, на горе. Поэтому все вышло совсем не так, как рассчитывала хитрая девица. Он побежал назад и, достигнув укромного

уголка, где сидела Цюз, пал к ее ногам и разразился самыми пылкими объяснениями в любви, какие когда-либо слетали с уст гребенщика. Она пыталась сперва призвать его к спокойствию и, не отпугивая, удержать в границах приличия, пустив в ход всю свою премудрость и кокетство. Но когда он призвал ад и рай в свидетели своих чувств, разразившись целым потоком великодушных, чудодейственных слов, подсказанных ему крайним возбуждением и предприимчивостью; когда он стал осыпать ее ласками, восхваляя и превознося до небес все ее качества, и телесные и духовные; когда к тому же воздух и лес были так тихи и нежны, — Цюз наконец потеряла самообладание, ибо чувства у нее были такие же куцые, как и разум; сердце ее копошилось беспомощно и боязливо, словно жук, упавший на спину, и Дитрих оказался победителем. Она завлекла его в эту чашу с намерением предать его — и вдруг сама оказалась во власти маленького шваба. Это произошло не потому, что она была страстно влюблена; но, как неглубокая натура, она, несмотря на всю свою воображаемую мудрость, ничего дальше своего носа не видела. Они пробыли по крайней мере час в этом приятном одиночестве, вновь и вновь обнимаясь и целуясь тысячу раз, пылко клялись друг другу в верности до гроба и порешили обвенчаться при любых обстоятельствах.

Тем временем слух о необыкновенной затее трех подмастерьев облетел весь город, и сам хозяин смеха ради способствовал его широкому распространению. Поэтому сельдьвилцы заранее радовались неожиданному зрелищу и с любопытством приготовились смотреть, как праведные и почтенные гребенщики будут состязаться в беге им на потеху. Большая толпа людей вышла за ворота и разместилась по обеим сторонам улицы, как в тех случаях, когда ожидают прибытия скорохода. Мальчишки влезли на деревья, старики и те, кто остался позади, сидели на траве, раскуривая трубки, довольные тем, что им представилось такое дешевое удовольствие. Даже знатные господа — и те вышли посмотреть; они сидели в садах и беседках трактиров, весело балагурия, и даже бились об заклад. На улицах, по которым должны были пройти бегуны, были открыты все окна, и дамы выложили на подоконники своих гостиных белые и красные подушки, чтобы облакачиваться на них, и принимали гостей, так что экспромтом состоялись веселые встречи.

за кофе, а на долю служанок выпало немало беготни за пирожными и бисквитами.

Наконец мальчишки, сидевшие у ворот на самых высоких деревьях, издали заметили все приближавшееся облачко пыли и завопили: «Идут, идут!». Немного погодя Фридолин и Иобст вихрем пронеслись посередине дороги, вздымая тучу пыли. Каждый одной рукой катил тележку с котомкой, бешено прыгавшую по камням, а другой крепко придерживал шляпу, съехавшую на затылок, полы сюртуков разлетались и развевались по ветру. Покрытые потом и пылью, бедняги бежали, широко раскрыв рты, с трудом переводя дыхание, не видя и не слыша ничего вокруг; по щекам у них текли крупные слезы, а утираться не было времени. Они бежали почти вровень, баварец был малость впереди. Среди зрителей поднялся оглушительный рев и хохот. Все повскакали и теснились к самой дороге, со всех сторон слышались возгласы: «Вот так здорово! Бегите! Берегись, саксонец! Держись, баварец! Один, видать, отстал, тут только двое!». Знатные господа, расположившиеся в садах, влезли на столы и надрывались от хохота. Этот громовой хохот покрыл смутный гул толпы, теснившейся на дороге, и явился сигналом к безудержному веселью. Мальчишки и всякий сброд хлынули вслед за несчастными подмастерьями, и обезумевшая толпа покатила вместе с ними к городским воротам, поднимая ужасающую тучу пыли. Даже женщины и уличные девчонки бежали за ними: их звонкие, визгливые голоса смешивались с криками парней. Бегуны уже достигли ворот, на башнях которых теснились любопытные, размахивая шапками; оба мчались, как испуганные кони, с тоской, с ужасом в сердце; вдруг какой-то уличный мальчишка прыгнул на тележку с поклажей Иобста и, скорчившись, словно гном, поехал на ней под одобрительные крики толпы. Иобст обернулся и умолял его слезть, даже пытался ударить его палкой, но мальчишка мигом увернулся, насмешливо скаля зубы. Благодаря этому Фридолин еще немного опередил своего соперника, но, заметив это, Иобст бросил ему под ноги свою палку, и тот упал. Иобст хотел было перескочить через него, но баварец ухватил его за полу сюртука и, держась за нее, встал на ноги. Иобст ударил его по рукам, крича: «Пусти, пусти!», но у Фридолина была цепкая хватка. Иобст, в свою очередь, ухватился за его полу, и так они, крепко держа друг друга и медленно кружась, двигались к воротам, причем каждый время от времени пытался

прыжком оторваться от противника. Они плакали, всхлипывали, голосили, как дети, и кричали в невыразимом отчаянии: «О господи! Пусти! Господи Иисусе! Пусти, Иобст! Пусти, Фридолин! Пусти, окаянный!» — и, не переставая, колотили друг друга по рукам, но все время понемногу подвигались вперед. Они потеряли шляпы и палки, двое мальчишек подобрали эти доспехи и, насадив шляпы на палки, несли перед ними, а позади катилась беснующаяся толпа. Все окна были заняты дамами, и серебристый женский смех вливался в прибой, бушевавший внизу. Давно уже город не знал такого бурного веселья. Это шумное развлечение так понравилось жителям, что никто не остановил обезумевших подмастерьев у их цели — дома хозяина, до которого они наконец добежали вслепую, — ведь они его не увидели, они вообще уже ничего не видели, и так случилось, что неистовая толпа пронеслась через весь городок и вынеслась в противоположные ворота. Хозяин заливался хохотом, перевесившись через подоконник. Тщетно прождав больше часа прибытия победителя, он уже хотел было уйти, чтобы на покое насладиться плодами своей забавной шутки, как вдруг к нему тихо и неожиданно вошли Дитрих и Цюз.

За это время они успели сообразить, что хозяин гребеночной мастерской, которому трудно будет долго продержаться, вероятно не прочь продать предприятие за наличные деньги. Цюз была согласна пожертвовать своими процентными бумагами, а шваб прибавил свои деньжонки; таким образом они могли стать хозяевами положения и посмеяться над двумя незадачливыми бегунами. Они сообщили удивленному хозяину о своих планах. Ему тотчас же стало ясно, насколько ему будет выгодно за спиной своих кредиторов, пока дело не дошло до банкротства, быстро заключить сделку и выручить за свою мастерскую наличные деньги. Они быстро обо всем уговорились и еще до захода солнца девица Цюз Бюнцлин сделалась законной обладательницей гребеночной мастерской, а ее жених — арендатором дома, в котором помещалась мастерская. Таким образом, Цюз, утром еще и не подозревавшая о том, что с ней приключится, оказалась во власти оборотистого маленького шваба.

Полумертвые от стыда, усталости и досады, лежали Иобст и Фридолин на постоялом дворе, куда их отвели после того, как они наконец свалились с ног в чистом поле, так крепко сцепившись друг в друга, что их с трудом разняли. Весь город, уже забывший причину всеобщего возбуждения,

веселился всю ночь напролет. Во многих домах танцевали, в трактирах пировали и пели, как в дни больших городских празднеств. Ибо зельдвильцам достаточно было ничтожнейшего повода, чтобы мастерски устроить увеселение. Когда бедняги увидели, что мужество, благодаря которому они падеялись одержать верх над людской глупостью, привело лишь к торжеству этой глупости, а сами они сделались всеобщим посмешищем, сердце у них чуть не разорвалось от отчаяния. Они не только сами разрушили и обратили в ничто свой долголетний мудрый замысел, но еще и потеряли укрепившуюся за ними славу людей рассудительных, справедливых и спокойных.

Иобст, самый старший из них, проживший здесь семь лет, совсем растерялся и почувствовал, что попал в безнадежный тупик. В глубоком унынии он еще до света снова вышел из города и повесился на дереве, на том самом месте, где вчера они все вместе сидели. Когда баварец часом позже прошел там и увидел мертвеца, им овладел такой ужас, что он бросился бежать оттуда как помешанный. Характер его совершенно изменился; ходили слухи, что он стал беспутным человеком, вечным подмастерьем и ни с кем не водил дружбы.

Один только шваб Дитрих остался праведником, сделался видным человеком в городе, но радости ему от этого было мало, так как Цюз, считая себя единственным источником всех благ, не давала ему спокойно наслаждаться этой славой, верховодила в доме и угнетала мужа.





## СКАЗКА ПРО КОТИКА ШПИГЕЛЯ

# Э

сли зельдвиец заключит убыточную сделку или даст себя одурачить, в Зельдвиле говорят: «Сторговал у кота сало!». Правда, эту поговорку употребляют и в других местах, но нигде ее не слышишь так часто, как в этом городке, быть может по той причине, что здесь сохранилось древнее предание, объясняющее, откуда она повелась и в чем ее смысл.

Сотни лет назад, гласит предание, жила в Зельдвиле одна старушка, и был у нее хорошенький котик, серый в черных пятнышках, презабавный, пресмышленный. Он

пикогда не делал зла тем, кто ему не докучал. Единственной его страстью была охота, но удовлетворял он эту страсть умеренно и разумно, отнюдь не прикрываясь тем, что она в то же время служила полезной цели и поощрялась его госпожой, и не выказывал чрезмерной жестокости. Поэтому он ловил и убивал только самых что ни на есть надоедливых и дерзких мышей, водившихся в доме и вокруг дома, но их-то он истреблял очень ловко. Лишь изредка, преследуя особенно хитрую мышку, навлекшую на себя его гнев, он выходил за эти пределы, но в таких случаях весьма учтиво испрашивал у почтенных соседей разрешения малость поохотиться в их жилищах, что ему охотно позволяли, ибо крынок с молоком он не трогал, на окорока, развешанные по стенам, не вскакивал, а тихо, усердно занимался своим делом и, покончив с ним, степенно удалялся с мышкой в зубах. К тому же котик отнюдь не был ни трусом, ни забиякой, а со всеми был ласков и не удирал от разумных людей; более того — он даже прощал им кое-какие вольности и не царапался, когда они слегка трепали его за уши; зато с известной породой глупцов, глупость которых он объяснял тем, что у них жалкие, негодные душонки, котик не церемонился и либо старался не попадаться им на глаза, либо, если они уж слишком раздражали его какой-нибудь грубой выходкой, крепко давал им лапкой по рукам.

Итак, Шпигель — эту кличку котику дали за его гладкую, как зеркало, лоснящуюся шерстку — проводил свои дни приятно, пристойно и разумно, в изрядном достатке, но не зазнаваясь. Он не слишком часто садился на плечо доброй своей госпожи, чтобы из-под носу у нее хватать с вилки кусочки мяса, а лишь тогда, когда примечал, что эта игра ее забавляет; днем он редко нежился за печкой, редко спал там на теплой своей подушке, а обычно бодрствовал и охотнее всего, пристроившись где-нибудь на узких перилах лестницы или на желобе крыши, предавался философским размышлениям и наблюдал, что делается на свете. Только два раза в году — весной, когда цвели фиалки, и осенью, когда ласковое тепло бабьего лета напоминало о поре этого цветения, — спокойный ход его жизни на неделю нарушался. Тогда Шпигель бродяжничал; охваченный любовным пылом, он странствовал по самым дальним крышам и пел самые прекрасные свои песни. Завзятый донжуан, он днем и ночью пускался в опаснейшие похождения, а если уж изредка показывался в доме, то вид у него был такой лекомысленный

и дерзкий, хуже того — распутный и потрепанный, — что кроткая старушка, его госпожа, гневно восклицала: «Да что ты, Шпигель! Неужто тебе не стыдно вести такую жизнь?». Но Шпигель и не думал стыдиться; имея твердые жизненные правила и хорошо зная, что именно он может себе позволить для благотворного разнообразия, он невозмутимо трудился над тем, чтобы восстановить гладкость своей шерстки и приятность своего прежнего невинно резвого облика, и так непринужденно водил влажной лапкой по своему носику, будто ровно ничего не случилось.

Но этой размеренной жизни неожиданно-негаданно пришел печальный конец. Шпигель был во цвете лет, когда его госпожа внезапно скончалась от дряхлости, оставив прелестного котика бесприютным сиротой. То было первое несчастье, постигшее его; жалобными стонами, столь пронзительно выражающими скорбные сомнения в подлинной причине великого горя, проводил он тело до ворот и остаток дня растерянно бродил то по дому, то вблизи него. Но здоровая натура Шпигеля, его рассудительность и житейская философия вскоре подсказали ему, что нужно успокоиться, покориться неизбежному и доказать свою неизменную преданность дому усопшей госпожи, предложив свои услуги ее ликующим наследникам. Он выразил готовность служить им верой и правдой, по-прежнему держать мышей в страхе и вдобавок — передать в распоряжение наследников кос-какие полезные сведения, которыми глупцы никак бы не пренебрегли, если бы не их неразумие. Но эти люди не дали Шпигелю и слова вымолвить; мало того — стоило ему только показаться, как они швыряли в него туфли и ножную скамеечку покойницы; целую неделю они ссорились между собой, потом затеяли тяжбу и до окончания ее наглухо закрыли дом, где теперь никто не жил.

Грустный, заброшенный сидел бедняга Шпигель на каменной ступеньке крыльца, и некому было впустить его в дом. Ночью он, правда, окольными путями проникал на чердак; вначале он даже прятался там большую часть дня и старался сном заглушить свое горе. Но голод вскоре заставил его выйти из этого убежища на солнышко, в людскую толчею, чтобы всегда быть наготове и примечать, не найдется ли где хотя бы скудная пожива. Чем реже это случалось, тем зорче становился добрый Шпигель; зоркость эта мало-помалу свела на нет все его нравственные качества, и вскоре он сделался неузнаваем. От двери бывшего своего



жилища он предпринимал частые походы в окрестности; проворно и пугливо крался он по улицам, возвращаясь иногда с дрянным, неаппетитным обглодком, на который раньше и не взглянул бы, а иногда и вовсе ни с чем. День ото дня он тощал и лохматился, стал жадным, трусливым, жальким; удал, полная достоинства кошачья осанка, рассудительность и философия — всего этого как не бывало. Когда мальчишки возвращались из школы, Шпигель, слышав их шаги, забивался в укромный уголок, откуда выглядывал только, чтобы подкараулить, не бросит ли кто из них корку хлеба, и точно заприметить, куда она упала. Какая бы жалкая дворняжка ни показалась вдали, Шпигель тотчас пускался наутек — он, кто в былое время бесстрашно смотрел опасности в глаза и зачастую храбро расправлялся со злыми собаками. Только когда мимо шел какой-нибудь неотесанный, глуповатый мужлан из числа тех, кого он прежде благоразумно избегал, бедный котик не трогался с места, хотя благодаря уцелевшим в нем остаткам жизненного опыта отлично узнавал бездельника; но горькая нужда заставляла Шпигеля обманывать самого себя надеждой, что его нет-нет да поглядят по спинке и бросят ему подачку. И даже когда его вместо этого били или пребольно хватали за хвост, он не царапал обидчика, а безмолвно, весь изогнувшись и опустив голову, отходил в сторону, все еще просительно глядя на ту самую руку, которая его ударила или ушипнула, но так заманчиво попахивала колбасой или селедкой.

Дойдя до такой степени падения, умный и благородный Шпигель сидел однажды совсем отошавший и печальный на камне и, прищурясь, глядел на солнце. Случилось так, что мимо проходил городской чернокнижник, некто Пинайс; увидев котика, он остановился. Хотя Шпигель отлично знал этого страшного человека, он, однако, в надежде на что-нибудь приятное, все с тем же покорным видом остался сидеть на камне, выжидая, что господин Пинайс сделает или скажет. Но когда тот заговорил и спросил: «Ну, кот! Купить мне у тебя твое сало?» — Шпигель потерял надежду, так как решил, что чародей насмехается над его худобой. Все же он ответил скромно, с умильной улыбкой, чтобы только не испортить отношений:

— Ах, господин Пинайс, вы изволите шутить!

— Отнюдь нет! — возразил Пинайс. — Я говорю вполне серьезно! Кошачье сало необходимо мне для колдовства, но достопочтенные коты должны уступать мне его добровольно,

по договору, иначе оно теряет свою чудодейственную силу. Ей-ей, мне думается, никогда еще честному коту не представлялась возможность такой выгодной сделки, как тебе сейчас. Поступай ко мне в услуженье; я тебя раскормлю на славу, от колбасок да жареных перепелок ты станешь круглым и жирным, как шар. На старой высокой и крутой крыше моего дома, к слову сказать — наиприятнейшей крыше в мире для любого кота, полной презанятных извилин и закоулков, растет по согретым солнцем выступам отменная острица, зеленая как изумруд; ее длинные тонкие стебли колышутся в воздухе, так и маня тебя откусывать самые нежные верхушки и лечиться ими, ежели от моих лакомых блюд случится у тебя легкое несварение желудка. Таким образом, ты будешь пребывать в добром здравии и в свое время доставишь мне вполне пригодное сало!

Шпигель давно уже наострил уши, и пока он слушал, у него слюнки потекли; но своим ослабевшим от лишений разумом он не вполне еще уяснил себе суть дела и поэтому ответил:

— Конечно, все это совсем недурно, господин Пинайс! Хотел бы я только знать: раз мне придется расстаться с жизнью, чтобы отдать вам свое сало, то как же я получу условленную плату и смогу воспользоваться ею, уже не будучи в живых?

— Получить плату? — удивленно переспросил чародей. — Да ведь ты будешь пользоваться ею, питаешься теми обильными, роскошными кушаньями, которыми я буду тебя откармливать, — это само собой разумеется! Но я не хочу принуждать тебя к этой сделке, отнюдь нет!

И он повернулся, будто намереваясь уйти. Тут Шпигель торопливо, с опаской сказал:

— Вы должны по крайней мере дать мне хоть небольшую отсрочку сверх того времени, когда я достигну должной круглоты и упитанности, чтобы мне не пришлось так уж внезапно проститься с жизнью, когда — увы! — этот приятный и все же столь печальный предел наступит.

— Так и быть! — с напускным добродушием сказал господин Пинайс. — До ближайшего полнолуния, но никак не дольше, ты сможешь наслаждаться всеми выгодами своего положения. Ведь ущербный месяц неминуемо нанес бы вред моему законному приобретению!

Котик поспешил согласиться и острыми своими коготками — последнее его достояние и память о лучших днях! —

подписал договор, который чернокнижник на всякий случай имел при себе.

— Теперь можешь прийти ко мне обедать, кот! — сказал чернокнижник. — Я сажусь за стол ровно в двенадцать часов.

— С вашего разрешения, я позволю себе прийти, — ответил Шпигель и в полдень, минута в минуту, явился к господину Пинайсу.

С этого дня котик в течение нескольких месяцев вел жизнь чрезвычайно приятную; не было у него другого дела, как поесть те вкусные кушанья, которыми его потчевали, подглядывать, когда ему это удавалось, как его хозяин занимается колдовством, да гулять по крыше. Эта крыша была точь-в-точь похожа на исполинский черный «туманорез», или «трехтрубник», — так называют огромные шляпы швабских крестьян; и как эти шляпы покрывают головы, битком набитые всякими хитростями и каверзами, так и крыша эта покрывала обширный и мрачный дом, полный таинственных закоулков, темных дел и всякой чертовщины. Господин Пинайс был мастер на все руки. За что только он не брался — лечил людей, выводил клопов, рвал зубы, давал деньги в рост, был опекуном всех вдов и сирот, в часы досуга чинил гусиные перья — дюжина за один пфенниг, выделял добротные чернила, торговал имбирем и перцем, колесной мазью и розовым маслом, школьными тетрадами и сапожными гвоздями, следил за исправностью башенных часов и ежегодно составлял календарь с предсказаниями погоды, правилами народной мудрости и расписанием сроков, когда лучше всего пускать кровь. При дневном свете он за умеренную плату обделывал тысячи дел, дозволенных законом, а кое-какими делами, законом недозволенными, занимался только в ночном мраке и из личной склонности к этому ремеслу; но и дозволенным он, прежде чем выпустить их из рук, наспех, как бы только потехи ради, еще прикручивал незаконный хвостик, крохотный как у лягушонка. В придачу ко всему этому он в тяжелые времена заговаривал погоду; умело применял свое искусство, выслеживал ведьм, а избличив ведьму, приговаривал ее к сожжению. Сам он занимался колдовством только с научными целями и для домашнего употребления, а городские законы, которые им же редактировались и переписывались набело, он украдкой испытывал, выворачивая их наизнанку, чтобы определить, долго ли они продержатся. Поскольку зельдвильцы всегда

нуждались в таком человеке, который делал бы за них все дочужные дела, большие и малые, его и назначили городским чернокожничником. Эту должность он занимал уже много лет, трудясь с неутомимым усердием и ловкостью с раннего утра до позднего вечера. Поэтому его дом был сверху до низу набит всякими диковинными вещами, а Шпигелю было очень занято все осматривать и обнюхивать.

Но на первых порах ничто не привлекало его внимания, кроме еды. Он с величайшей жадностью поглощал все, что бы Пинайс ему ни предложил, и едва мог дотерпеть от одной трапезы до другой. Он объедался и действительно вынужден был ходить на крышу, где исцелялся от недомогания, покусывая кончики целебной травы. Наблюдая это обжорство, Пинайс тешил себя мыслью, что при таком образе жизни котик быстро разжиреет и чем лучше он, Пинайс, будет его кормить, тем это окажется разумнее и в конечном счете выгоднее. Поэтому он соорудил Шпигелю у себя в комнате целый ландшафт: из крохотных елочек он смастерил лесок, из камней и мха — горки; было там даже небольшое озеро. На деревья он, смотря по времени года, сажал румяно поджаренных жаворонков, зябликов, синиц, воробьев. Таким образом, Шпигель всегда находил, что стащить с веток и чем полакомиться. В горках Пинайс понаделал множество искусственных мышиных норок и прятал там превкусных мышей, которых он сперва заботливо откармливал пшеничной мукой, затем потрошил и, прошпиговав ломтиками сала, жарил. Некоторых мышей Шпигель мог достать лапкой, другие, ради вящего удовольствия, были засунуты поглубже, но привязаны к нитке, за которую Шпигелю приходилось осторожно их вытаскивать, когда ему хотелось развлечься этой видимостью охоты. В углубление, изображающее озеро, Пинайс что ни утро наливал парное молоко, чтобы Шпигель мог с приятностью утолять жажду, и бросал туда жареных пескарей, зная, что кошки не прочь иной раз половить рыбу. И так как Шпигель теперь жил в свое удовольствие, мог делать, что ему вздумается, есть и пить, когда и что ему угодно, то он в самом деле начал заметно толстеть; шерстка снова стала гладкой, лоснящейся, в глазах появился блеск; но в той же мере восстанавливались и его духовные силы, и благодаря этому он постепенно опять приобрел благородную осанку; ненасытная жадность исчезла, и, обогатившись печальным опытом, котик стал рассудительнее, чем прежде. Он умерил свою прожорливость, ел

теперь не больше, чем ему было полезно, и в то же время снова стал предаваться сосредоточенным, глубокомысленным размышлениям и доискиваться сути вещей.

Однажды, стащив с ветки премиленького дрозда и задумчиво разняв его на части, он заметил, что крохотный желудок птички битком набит пищей, совсем недавно проглоченной и вполне сохранившейся. Аккуратно скатанные зеленые травинки, черные семена вперемежку с белыми и какая-то блестящая ярко-красная ягода — все это было напихано так тщательно и умело, словно заботливая матушка уложила ранец сынку в дорогу. Не спеша скушав пташку, Шпигель подцепил лапкой столь занятно заполненный желудочек и, глядя на него, погрузился в философское раздумье. Он был тронут судьбою пичужки, которой, посреди ее мирных занятий, пришлось так быстро расстаться с жизнью, что она даже не успела переварить съеденное.

«Какой прок теперь бедняге дрозду, — думал Шпигель, — от усердия и стараний, затраченных им на поиски пищи, ведь недаром этот крохотный мешочек имеет такой вид, словно над ним долго, упорно трудились! Ярко-красная ягода — вот что выманило дрозда из лесного приволья в силок птицелова. Но он-то думал, что сделал выгодное дело, что этими ягодами продлит свои дни, тогда как я, съев злосчастную птичку, тем самым только на лишней шаг приблизился к смерти! Мыслимо ли соглашение более позорное и подлое — ненадолго продлить жизнь с тем, чтобы в назначенный срок все же лишиться ее из-за этой сделки? Не пристало ли мужественному коту предпочесть добровольную скорую смерть? Но в ту пору у меня в голове не было ни одной мысли, а сейчас когда они снова в ней зашевелились, я не вижу впереди ничего, кроме судьбы этого дрозда; когда я достаточно нагуляю жира, мне придется расстаться с жизнью по той лишь причине, что я стал жирен. Нечего сказать — основательная причина для жизнерадостного, мыслящего кота! Ах, если б только я мог выпутаться из этой петли!»

И Шпигель углубился в размышления о способах преуспеть в этом деле, но так как роковой срок еще не наступил, то он ни до чего не додумался и не нашел выхода; однако, отличаясь недюжинным умом, он решил пока что развивать в себе самообладание и воздержанность, так как это самая лучшая подготовка и самый полезный способ употребить время, когда вскоре должно решиться нечто

важное. Он перестал спать на мягкой подушке, которую Пинайс предоставил ему, чтобы он подольше нежился на ней и поскорее жирел, а когда ему хотелось отдохнуть, он снова, как встарь, располагался на узких карнизах и высоких, опасных выступах. Затем Шпигель стал пренебрегать жареными пичужками и лакомо нашпигованными мышами, а поскольку он снова законно приобрел охотничьи угодья — предпочитал ловкостью и коварством изловить на крыше простого, но живого воробушка или же, где-нибудь в амбаре, — проворную мышку; эта добыча казалась ему вкуснее жареной птицы в искусственных рощах Пинайса, а вместе с тем он не так толстел от нее. Движение, отвага, вновь обретенная склонность к добродетели и философии — все препятствовало чрезмерно быстрому ожирению, и Шпигель хотя имел вид здоровый и лоснящийся, но, к великому изумлению Пинайса, остановился на известной мере дородства, далеко не соответствовавшей тому, чего чернокнижник стремился достичь изобильным питанием: ведь под раскормленным котом Пинайс разумел круглое, как шар, неповоротливое животное, которое бы не трогалось с подушки и заплыло жиром. Но в этом колдовское искусство чернокнижника потерпело неудачу; при всей своей хитрости он не знал, что как ни корми осла, тот всегда останется ослом, а если кормишь лису, она все же не чем иным, как лисой, не будет, потому что всякая тварь развивается сообразно своей природе.

Убедившись, что Шпигель неизменно пребывает дородным, но подвижным, не теряет благообразия и отнюдь не обрастает жиром, Пинайс однажды вечером решил его усювестить и сердито сказал:

— Что же это, Шпигель? Почему ты не ешь лакомых кушаний, которые я тебе достаю и стряпаю для тебя так умело и старательно? Почему ты не ловишь жареных птичек на деревьях, не вытаскиваешь вкусных мышек из нор в холмиках? Почему перестал ловить рыбу в озере? Почему не ублажаешь себя? Почему не спишь на подушке? Почему чрезмерно себя утомляешь и не жиреешь мне на пользу?

— Ах, господин Пинайс, — ответил Шпигель, — потому что так мне больше нравится! Разве не вправе я провести отпущенный мне краткий срок, как мне всего приятнее?

— Это еще что? — вскричал Пинайс. — Ты обязан жить так, чтобы толстеть и круглеть, а не тощать от беготни! Но я отлично вижу, куда ты гнешь! Ты думаешь меня

дурачить и водить за нос, чтобы я дал тебе век ходить по свету в таком виде, когда ты — ни то ни се! Ну нет, это тебе не удастся! Ты обязан есть, пить, ублажать себя, чтобы раздобреть и заплыть жиром! Немедленно откажись от этой коварной умеренности, противоречащей нашему договору, не то я с тобой разделаюсь по-свойски!

Шпигель прервал свое уютное мурлыканье, — а мурлыкал он, чтобы сохранить присутствие духа, — и ответил:

— Мне ничего не известно о том, будто в договоре сказано, что я должен отказаться от умеренности и разумного образа жизни! Если вы, господин городской чернокожничик, рассчитывали на то, что я — ленивый обжора, вина не моя! Вы днем обделываете тысячи дел, дозволенных законом, так прибавьте к ним еще вот это дельце, и будем оба строго придерживаться нашего условия; ведь вы отлично знаете, что мое сало принесет вам пользу только в том случае, если нарастет законным порядком!

— Ах ты, болтун! — злобно крикнул Пинайс. — Ты что, учить меня хочешь! А ну-ка, лентяй, покажи, намного ли ты потолстел? Может быть, все-таки скоро уж время с тобой покончить!

С этими словами Пинайс схватил Шпигеля за брюшко; но котику стало щекотно, он обозлился и преобильно поцарапал чародея. Внимательно осмотрев царапину, тот заявил:

— Так-то ты со мной обходишься, злодей? Ладно, тогда я торжественно объявляю тебе, согласно нашему договору, что ты достаточно разжирел! Я удовлетворен достигнутым результатом и сумею этим воспользоваться. Через пять дней наступит полнолуние; до этого срока ты, как условлено, еще можешь пользоваться жизнью — но ни минуты дольше!

Затем он повернулся спиной к Шпигелю и предоставил его собственным мыслям.

Эти мысли были весьма печального и мрачного свойства; значит, в самом деле близок час, когда бедному котику придется распрощаться со своей шкуркой? Неужели вся его мудрость ему не поможет? Тяжко вздыхая, поднялся Шпигель на островерхую крышу, темные очертания которой в этот ясный осенний вечер четко вырисовывались на небе. Взшедший над городом месяц озарил ее черные замшелые черепицы, в ушах Шпигеля зазвучала чарующая песенка, и на скате соседней крыши, сияя ослепительно белой шерсткой, показалась прелестная кошечка. Шпигель мгновенно

забыл о нависшей над ним угрозе неминуемой смерти и в ответ на пленительную мелодию затянул самую прекрасную из своих кошачьих серенад. Он поспешил навстречу красотке и вскоре вступил в жаркий бой с тремя пришлыми котами, которых своей отвагой и яростью обратил в бегство. Затем он пламенно и почтительно изъяснился даме в любви и стал проводить у нее дни и ночи, нимало не думая о Пинайсе и даже не показываясь у него в доме. В чудные лунные ночи он пел без усталости, как соловей, гонялся за своей белоснежной возлюбленной по крышам и садам, не раз в пылу любовных игр или в схватке с противниками скатывался с высоких крыш и падал на мостовую, но тотчас вскакивал, отряхав свою шкурку, и снова без удержу предавался дикому разгулу страстей. Часы безмолвия и степеней, сладостные изливания чувств и безумство гнева, нежные беседы наедине с обольстительницей, остроумный обмен мыслями, козни и проказы, внушаемые любовью и ревностью, ласки и драки, упоение счастья и муки злосчастья — все это не давало влюбленному Шпигелю опомниться, и к тому времени, когда лик луны совершенно округлился, страсти и тревожения до того извели его, что он имел такой жалкий, отошавший и взлохмаченный вид, как никогда. И как раз в это время Пинайс крикнул ему из слухового окна: «Шпигель, милый Шпигель! Где ты? Зайди-ка на минутку домой!».

Шпигель распрощался со своей белоснежной подружкой, которая, весьма им довольная, с надменным мяуканьем пошла своей дорогой, и, приняв гордый вид, направился к своему мучителю. Тот спустился в кухню и, пошуршав договором, сказал: «Идем, Шпигель, идем, милый Шпигель!». Кот последовал за ним и, худой, лохматый, но все же воинственный, уселся в кухне чернокнижника против него. Увидев, как постыдно его лишили условленного барыша, господин Пинайс вскочил, словно ужаленный, и в бешенстве заорал:

— Что я вижу! Подлец! Бессовестный мошенник, что ты со мной сделал?

Не помня себя от гнева, он схватил метлу и хотел было ударить Шпигеля, но тот изогнул черную спинку, вздыбил шерсть, из которой с легким треском посыпались бледные искорки, прижал уши, зафыркал и метнул на старика такой злобный, сверкающий взгляд, что тот, охваченный страхом, отпрянул на три шага. Ему почудилось, что перед ним — чародей, который его дурачит, более могущественный, нежели он сам. Поэтому он робко, униженно спросил:



— Уж не причастен ли почтеннейший господин Шпигель к нашему ремеслу? Быть может, какому-нибудь ученому чародею угодно было принять обличье господина Шпигеля и, умея распорядиться своим телом, как ему вздумается, он может округлить его ровно в той мере, в какой это ему приятно — не слишком мало и не слишком много, или же внезапно, чтобы ускользнуть от смерти, стать тощим как скелет?

Несколько успокоившись, Шпигель чистосердечно ответил:

— Нет, я не чародей! Упоительная сила страсти — вот что изнурило меня и, к великому моему удовольствию, сигнало с меня ваш жир. Впрочем, если мы сейчас снова приступим к делу, я готов выказать стойкость и все претерпеть. Только дайте мне сперва большую жареную колбаску, а то я совсем изголодался и обеснел!

Тут Пинайс в бешенстве схватил Шпигеля за шиворот, запер его в птичник, всегда пустовавший, и закричал:

— А ну-ка посмотрим, выручит ли тебя еще раз упоительная сила страсти и что могущественнее — она или же сила колдовства и моего законного договора! Твоя песенка спета!

Тотчас он зажарил предлинную колбасу, от которой так вкусно пахло, что он сам не удержался и, прежде чем просунуть ее сквозь решетку, отхватил по кусочку с каждого конца. Шпигель съел ее дочиستا, а затем, спокойно поглаживая усики и вылизывая шерстку, подумал про себя:

«Право слово, распрекрасная это штука — любовь! Она меня и на этот раз вызволила из беды. Теперь я хочу немного отдохнуть и, ведя жизнь созерцательную, размеренную и сытную, постараюсь снова напасть на разумные мысли. Всему свое время. Сегодня — черед страстей, завтра — покоя и раздумья, все по-своему хорошо! Тюрьма не так уж плоха, и, сиди здесь, можно, наверно, придумать что-нибудь дельное».

Между тем Пинайс взялся за дело и ежедневно, пуская в ход свое искусство, стряпал самые лакомые яства, притом столь изумительно разнообразные и питательные, что узник не мог устоять против таких соблазнов; ибо имевшийся у Пинайса запас добровольно уступленного ему, законно им приобретенного кошачьего сала день ото дня уменьшался и грозила опасность, что он вот-вот иссякнет, а без этого необходимого снадобья чародей был пропащий человек. Но

питая тело Шпигеля, протак чернокнижник волей-неволей заодно питал и его разум, — без этого неудобного приложения никак пельзя было обойтись. Вот почему Пинайе оплошал со своим колдовством.

Когда чернокнижнику показалось, что Шпигель достаточно разжирел в своей клетке, он, недолго мешкая, на глазах у внимательно следившего за ним кота приготовил всю нужную утварь и развел под плитой яркий огонь, чтобы сразу вытопить долгожданное сало. Затем, наточив большой нож, он открыл клетку, вытащил Шпигеля, предварительно заперев на ключ дверь кухни, и весело сказал:

— Пойдем-ка, чертово отродье! Первым делом мы отрежем тебе голову, а потом сдерем шкуру. Из нее выйдет теплая шапка для меня, а мисе, дураку, сперва и невдомек это было! Или как — сначала содрать шкуру, а голову отрезать потом?

— Нет, уж коли на то ваша милость будет, — смиренно ответил Шпигель, — лучше сначала отрежьте голову!

— Ты прав, бедняга, — согласился господин Пинайе. — К чему зря тебя мучить? Надо всегда поступать справедливо!

— Что верно, то верно, — подхватил Шпигель и, жалобно вздохнув, склонил голову набок. — Ах, если бы я всегда поступал справедливо, а не пренебрег, по своему легкомыслию, одним весьма важным делом, я теперь мог бы умереть с более спокойной совестью, а умираю я охотно! Но содеянная мною несправедливость заставляет меня страшиться смерти, которую я, по правде сказать, встречу с радостью. Ибо что мне дает жизнь? Одни только горести — страх, заботы и нищета, а для разнообразия — вихрь опустошительной страсти, еще более губительной, нежели безмолвно трепещущий страх!

— Вот оно что! Какая же несправедливость, какое важное дело? — полюбопытствовал Пинайе.

— Ах, к чему теперь толковать об этом, — со вздохом ответил Шпигель, — что пропало, то пропало, сейчас раскаиваться поздно!

— Видишь, чертово отродье, какой ты грешник, — вскричал Пинайе, — и сколь ты достоин смерти! Но что же ты, черт тебя возьми, такое натворил? Наверно, что-нибудь у меня украл, похитил, изгадил? Совершил в отношении меня какую-нибудь вопиющую несправедливость, о которой я, сатана ты эдакий, еще ничего не знаю, не ведаю, не подозреваю? Ну и дела, нечего сказать! Счастье мое, что я

еще докопался до них! Сейчас признайся мне во всем, как на духу, не то я сдеру с тебя шкуру и сварю тебя живьем! Скажешь ты мне все или не скажешь?

— Ах, нет, — ответил Шпигель, — что касается вас, то мне не в чем себя упрекнуть. Речь идет о десяти тысячах золотых гульденов, принадлежавших покойной моей хозяйке, — но что проку от разговоров? Хотя... как поразмыслю да погляжу на вас, то, пожалуй, все-таки еще не слишком поздно; присмотревшись к вам, я вижу — вы еще мужчина из себя видный и здоровый, что называется — в соку. Скажите-ка, господин Пинайс! Неужели вы никогда не испытывали желания вступить в законный и выгодный брак? Но что за чушь я несу! Разве могут человеку столь разумному и искусному прийти такие праздные мысли? Станет мастер своего дела, преданный столь полезным занятиям, думать о глупых бабах! Правда, у самой худшей из них — и у той всегда найдутся качества, полезные для мужчины, этого отрицать нельзя! Если же она хоть чего-нибудь да стоит, то такая женщина — примерная хозяйка, телом пышная, умом бойкая, нравом приветливая, сердцем верная, бережливая в домоводстве, но расточительная в угождении мужу, в речах учтивая, в делах разумная, в обращении ласковая. Она целует супруга в уста и гладит ему бороду, заключает его в свои объятия и чешет у него за ухом, когда ему хочется, словом — делает тысячи вещей, не лишенных приятности. Смотря по расположению духа супруга, она то льнет к нему, то скромно держится от него в отдалении; когда он занят делами, она ему не мешает и тем временем множит его добрую славу в доме и вне дома, не позволяя его порочить и сама расхваливая его по всем статьям. Но привлекательнее всего — чудесное строение ее нежного плотского естества, которое природа, при кажущемся сходстве, создала столь отличным от нашего, что в счастливом браке оно творит непрестанно возобновляющееся чудо и таит в себе подлинное изощреннейшее колдовство! Но что это я, как дурак, болтаю вздор на пороге смерти? Разве станет мудрец уделять внимание предметам столь суетным? Простите меня, господин Пинайс, и отрежьте мне голову!

Но Пинайс гневно вскричал:

— Да остановись же наконец, болтун! И скажи мне — где найти такую женщину и есть ли у нее десять тысяч золотых гульденов?

— Десять тысяч золотых гульденов? — переспросил Шпигель.

— Ну да! — с раздражением крикнул Пинайс. — Разве ты только что не упомянул о них?

— Нет! — ответил Шпигель. — Это совсем другое дело. Они спрятаны в надежном месте.

— Чего же они там лежат, чьи они? — заорал Пинайс.

— Они ничьи, это-то и тяготит мою совесть, ведь я обязан был найти им применение. По сути дела они достанутся тому, кто женится на такой особе, какую я сейчас описал. Но как в этом безбожном городе найти одновременно и десять тысяч золотых гульденов, и разумную, добрую, красивую хозяйшку, и разумного, честного мужчину? Поэтому, если правильно рассудить, мой грех не так уж велик, ведь эта задача не по силам бедному коту!

— Если ты, — прервал его Пинайс, — тотчас не перестанешь пустословить и не изложишь мне всю историю обстоятельно, по порядку, я пока что отрежу тебе хвост и уши! Итак, начинай!

— Уж если вы приказываете, придется мне рассказать все как было, — сказал Шпигель, поудобнее усаживаясь на задние лапки, — хотя эта проволочка только усугубляет мои страдания!

Пинайс воткнул остро отточенный нож в половицу между собой и Шпигелем, уселся на бочку и, сгорая от любопытства, приготовился слушать, а Шпигель продолжал:

— Вам известно, господин Пинайс, что добрая старушка, покойная моя госпожа, умерла незамужней — в девичестве; она втайне делала людям много добра и никому не становилась поперек дороги. Но не всегда вокруг нее было так тихо и спокойно, и хотя она сроду не была злого права, однако в давнее время причинила много горя и бед. Надо сказать, что в юности она слыла самой прекрасной молодой особой во всем нашем краю, и все знатные господа и храбрые кавалеры, будь то местные жители или приезжие, влюблялись в нее и наперебой домогались ее руки. Ей и самой очень хотелось выйти замуж, стать женой пригожего, добропорядочного, разумного человека, и было у нее из кого выбирать, так как и местные уроженцы и пришлые спорили из-за нее и зачастую прокалывали друг друга шпагами, ибо каждый стремился обеспечить себе преимущество. За нею ухивались, вокруг нее теснились всякие женихи — дерзкие и робкие, хитрые и простодушные, богатые и бедные, люди,

занимавшиеся почтенными делами, и люди, жившие, как дворяне, по-благородному, на свою ренту. Тот имел один достоинства, этот — другие; кто был речист, кто молчалив, кто боек и любезен, а иной хоть и казался с виду простачком, на самом деле умом обижен не был. Словом, выбор молодой особе представлялся такой, какого только может желать девушка на выданье. Но, сверх красоты, она еще обладала состоянием во много тысяч золотых гульденов; оно-то и было причиной, почему красавица никак не могла наметить избранника и выйти замуж, ибо своим имуществом она управляла на редкость разумно и осмотрительно и придавала ему большое значение, а поскольку человек обычно судит о других по собственным своим склонностям, то всегда случалось — как только около нее появлялся жених, достойный внимания, и начинал ей нравиться, она воображала, будто он сватается к ней единственно ради ее денег. Если это был человек богатый, ей думалось, что, не владей и она богатством, он бы не стал искать ее руки. А уж в отношении бедняков она была твердо уверена, что они помышляют только о ее золотых гульденах, намереваясь вволю ими попользоваться. Таким образом, несчастная девица, сама столь дорожившая земным своим достоянием, была не способна отличить у своих женихов приверженность к деньгам и достатку от любви к ней самой или же, когда эта приверженность и впрямь имелаась, отнестись к нейнисходятельно и простить ее.

Уже несколько раз она была почти что обручена и сердце ее билось сильнее, как вдруг, по какому-нибудь ничтожному поводу, ей начинало казаться, что она обманута и жених просто метит на ее деньги; она тотчас порывала с ним и с болью в сердце, но бесповоротно отдаляла его от себя. Всех тех, кто ей сколько-нибудь нравился, она испытывала на сотни ладов; требовалась большая изворотливость, чтобы не попасться в ловушку, и наконец никто не мог уже приблизиться к ней хотя бы с некоторой надеждой на успех, не будучи отъявленным хитрецом и притворщиком; уж по одной этой причине выбор для нее стал особенно трудным; ведь такие люди в конечном счете все же вызывают у красавиц смутную тревогу и сомнения тем более тягостные, чем жених хитрее и искуснее в лукавстве.

Излюбленным способом распознать искренность поклонников было для нее испытание их бескорыстия; изо дня в день она понуждала их к большим тратам, богатым подаркам и делам благотворительности. Но как они ни стара-

лись, им никак не удавалось ей угодить; когда они проявляли щедрость и тратили деньги без счета, задавали блестящие пиры или вручали ей значительные суммы для бедных, она вдруг заявляла: все это, мол, делается только ради того, чтобы па живца поймать лосося, или, как говорится, за грош получить червонец. Подарки и доверенные ей деньги она жертвовала на монастыри, богоугодные заведения и на пропитание нищих, а обманутых женихов непреклонно отвергала. Если же поклонники выказывали прижимистость, а тем более скупость, она тотчас осуждала их без малейшего снисхождения, потому что эти черты еще сильнее возмущали ее, представляясь ей выражением неприкрытой, дерзкой беззастенчивости и себялюбия. Кончилось тем, что девушка, искавшая чистое сердце, готовое отдаться ей ради нее самой, оказалась окруженной лицемерными, своекорыстными жепихами, отравлявшими ей жизнь и настолько хитрыми, что она никак не могла их раскусить. Наконец она впала в такое уныние и безнадежность, что выгнала всех поклонников из своего дома, заперла его на замок и отправилась в Милан погостить у двоюродной сестры.

Когда верхом на ослике она перебиралась через Сен-Готтард, ее обуревали мысли столь же черные и страшные, как те дикие утесы, что возвышаются там над пропастью, и она испытывала сильнейшее искушение броситься с Чертова моста в бурлящие волны Рейса. Лишь ценой невероятных усилий удалось проводнику и двум сопровождавшим ее служанкам, которых я еще застал в живых (теперь обе давно уже умерли), успокоить ее и отвлечь от страшного намерения. Бледная, печальная, прибыла она в прекрасную Италию, и как ни ярко там синева небес, ее мрачные мысли все же не прояснялись. Но когда она прожила у двоюродной сестры несколько дней, в душе ее неожиданно зазвучала новая мелодия и занялась весна, до той поры ей почти неведомая.

Дело в том, что в доме двоюродной сестры бывал молодой швейцарец, с первого взгляда так понравившийся госте, что можно прямо сказать — на этот раз она сама впервые влюбилась. Он был славный юноша, хорошо воспитанный, благородный в обхождении, в ту пору не богатый и не бедный — все его достояние заключалось в десяти тысячах золотых гульденов; эти деньги он унаследовал от покойных своих родителей и, основательно изучив коммерцию, намеревался открыть на них в Милане торговлю шелком: был он предприимчивого нрава, ясного ума и удачлив, как это зачастую бывает с людьми непосредственными и неискушен-

ными, а юноша был именно таков; при всех своих познаниях он казался невинным и бесхитростным, словно ребенок. И хотя он был купцом, а по характеру человеком простодушным — сочетание, само по себе ценное и редкое, — однако имел осанку мужественную, рыцарскую и так гордо носил меч у пояса, как носит его только опытный воин. Все это, да еще его располагающая к себе красота и молодость столь безраздельно пленили сердце девушки, что она едва могла совладать с собой и обходилась с юношей весьма ласково. Она опять повеселела, и если порою ей случалось грустить, то причиной тому была смена любовной тревоги и надежды — чувство как-никак более достойное и приятное, нежели то тягостное затруднение в выборе, которое она прежде испытывала среди множества женихов. Теперь она знала лишь одну заботу и тревогу — понравиться доброму, красивому юноше, и чем прекраснее она была сама, тем скромнее и неувереннее держалась, потому что впервые в ней заговорило настоящее чувство. Но и молодой купец никогда еще не видел такой красавицы, или по крайней мере ни одна еще так не приближала его к себе, не обходилась с ним столь ласково и приветливо; а поскольку, как уже было сказано, девица, помимо красоты, отличалась добрым сердцем и учтивостью, то не удивительно, что доверчивый, бесхитростный юноша, сердце которого еще было совершенно свободно и нетронуту, влюбился в нее со всем тем пылом и самозабвением, какие были заложены в нем природой.

Возможно, что никто так и не узнал бы об этом, если бы молодой человек, по своему простосердечию, не усмотрел ободрения в той приветливости, которую, сам не ведая притворства, он с тайным трепетом и сомнением осмеливался считать свидетельством взаимности. Однако в течение нескольких недель он сдерживал себя и воображал, будто искусно скрывает свою тайну. Но, бросив на него беглый взгляд, каждый догадывался, что он страстно влюблен, а стоило ему только очутиться вблизи приезжей красавицы или хотя бы услышать ее имя, как сразу становилось ясно, в кого именно. Но влюблен он был недолго, а вскоре полюбил красавицу беззаветно, со всем жаром юности: она стала для него самым святым и дорогим на свете существом, и он раз навсегда решил, что в ней одной — его блаженство и все, ради чего ему стоит жить. Ей это чрезвычайно нравилось, ибо его слова и поступки были совершенно непохожи на то, с чем она встречалась раньше, и так глубоко волно-

вали и трогали ее, что она, в своей черед, страстно его полюбила и для нее самой уже и речи не могло быть о каком-то там выборе. Все видели, как разыгрывается эта любовная история, говорили об этом открыто и частенько шутили по этому поводу. Девице это весьма правилось, и хотя ей казалось, что сердце у нее вот-вот разорвется от томительного ожидания, она все же, со своей стороны, старалась несколько запутать и затянуть роман, чтобы вволю насладиться им, потому что молодой человек в своем смущении совершал поступки столь милые и по-детски наивные, каких она еще никогда не видела, и каждый из них был для нее более приятен и лестен, чем предыдущий.

Однако юноша, по своей прямоте и порядочности, не мог долго оставаться в таком положении; поскольку все делали намеки и позволяли себе шуточки, ему казалось, что его сокровенную тайну превращают в комедию, а он слишком чтит и обожал свою возлюбленную, чтобы мириться с этим, и то, что ее так тешило, вызывало в нем грусть, сомнения и чувство неловкости за нее. Вдобавок он считал нечестным со своей стороны и обидным для девицы, что он так долго носит в себе столь страстную любовь к ней и непрестанно о ней думает, а она об этом и не подозревает. Такое положение казалось ему не вполне благопристойным и тревожило его совесть. И вот однажды утром для всех стало очевидно, что он что-то задумал; и действительно, он немногими словами открылся девице в своей любви, предварительно поклявшись себе сказать ей об этом один раз и никогда не говорить вторично, если счастье ему не суждено. У него и в мыслях не было, что столь прекрасная и добродетельная девица способна утаить истинное свое мнение и не ответить в первый же раз нерушимым «да» или «нет». Он был столь же предан ей, как страстно влюблен, столь же застенчив, как доверчив, столь же горд, как простодушен, и всегда ставил вопрос ребром: жизнь или смерть, да или нет, согласен или несогласен.

Но когда девица услышала это признание, которого ждала с таким нетерпением, в ней проснулась прежняя мнительность, и в недобрый час она вспомнила, что ее поклонник — купец и, возможно, стремится только завладеть ее состоянием, чтобы расширить свои дела. Если попутно он слегка влюблен в нее, то при ее красоте это не такая уж великая заслуга, и тем более возмутительно, ежели она представляется ему всего лишь приятным приложением к ее золоту. И вот вместо того, чтобы признаться во взаимности и



обнадежить юношу, как ей самой хотелось, она в тот же час, с целью испытать его преданность, придумала новую хитрость: приняв вид если не грустный, то весьма озабоченный, она призналась ему, что якобы у себя на родине давно обручилась с одним молодым человеком, которого любит всем сердцем. Уже не раз она собиралась сказать ему (то есть купцу) об этом, ибо дружбой его она весьма дорожит, как он, наверно, заметил по ее обращению, и доверяет ему, как родному брату; однако неуместные шутки окружающих сделали такой задушевный разговор очень затруднительным для нее; но уж если он теперь сам, к ее изумлению, раскрыл перед ней свое честное, благородное сердце, то наилучшим для нее способом выразить ему благодарность за его любовь будет столь же полная доверенность с ее стороны. Да, продолжала девица, лишь тому она будет принадлежать, кого однажды избрала, и никогда она не сможет отдать свое сердце другому — это пламенными письменами запечатлено в ее душе, и даже ее милый, хотя знает ее в совершенстве, однако не подозревает, как она его любит. Но злая судьба обрушилась на нее: ее жених — кунец, по бедности как церковная крыса, поэтому они решили, что он на средства невесты откроеет торговлю; начало уже было положено, все удавалось на славу, уже был назначен день свадьбы, и вдруг стряслась беда: права невесты на все ее состояние стали предметом судебного процесса, ей теперь грозит опасность навсегда лишиться всего, а несчастному жениху именно в ближайшее время предстоят первые платежи миланским и венецианским купцам, и от уплаты этих денег целиком зависят его кредит, дальнейшее преуспевание и доброе имя, не говоря уже о соединении двух любящих сердец и о радостной свадьбе! Она поспешила в Милан, где у нее богатые родственники, искать помощи и средств, но приехала, видно, в неудачное время; ничто не спорится и не ладится, а срок платежей уже близок, и если она не сможет выручить своего возлюбленного, то неминуемо умрет от горя. Ведь он самый хороший, самый чудесный человек, какого можно себе представить, и если только ему помочь, он, несомненно, станет богатейшим купцом, и не может для нее быть другого счастья на земле, как стать его супругой!

Когда она окончила свой рассказ, у бедного юноши кровь давно уже отхлынула от лица; он был бледен как полотно, но с уст его не слетело ни единого звука жалобы, ни словечка не вымолвил он больше о себе и своей любви, а

только грустным голосом спросил, какой сумме равняются денежные обязательства счастливо-злосчастного жениха.

— Десять тысяч золотых гульденов! — еще более грустно ответила девица.

Опечаленный юноша встал, посоветовал своей собеседнице не падать духом, так как выход, наверно, найдется, и удалился, не осмелившись взглянуть на нее; слишком он был пристыжен и погрязен тем, что остановил свой выбор на особе, столь беззаветно и страстно любившей другого: ведь бедняга каждому ее слову верил свято, как Евангелию. Расставшись с красавицей, он тотчас отправился к купцам, с которыми вел дела, и, согласившись на известный денежный ущерб, упросил их расторгнуть заключенные с ними сделки, которые он как раз на этих днях должен был оплатить своими десятью тысячами гульденов, а на этих сделках основывались все его планы и надежды. Не прошло и шести часов, как он снова явился к девице, неся с собой все свое достояние, и стал просить ее ради всего святого принять от него эту помощь. Глаза красавицы засверкали от радостного изумления, сердце стучало, будто кузнечный молот. Она спросила его, где он раздобыл такую большую сумму; он ответил, что занял ее под ручательство своего доброго имени и сможет вернуть без всяких затруднений, так как его дела приняли удачный оборот. По его лицу девица видела, что он лжет и что ради ее счастья он пожертвовал всем своим состоянием и всеми надеждами на будущее, но притворилась, будто верит его словам. Она дала волю своей радости, но, продолжая жестокую игру, сделала вид, будто эта радость вызвана тем, что она может теперь спасти своего избранника и выйти за него замуж; казалось, она не находила слов, чтобы выразить свою благодарность. Но вдруг, как бы спохватившись, она заявила, что сможет воспользоваться великодушием своего поклонника только под одним условием, иначе все уговоры будут тщетны. Когда же он спросил, в чем это условие заключается, она потребовала от него торжественного обещания явиться к ней в назначенный ею день, чтобы присутствовать на ее свадьбе и стать лучшим другом и покровителем ее будущего супруга, а также самым верным другом, защитником и советчиком ее самой. Залившись краской, молодой человек просил ее отказаться от этого требования; но тщетно, стараясь ее отговорить, приводил он множество доводов, тщетно уверял ее, что неотложные дела не позволяют ему вернуться в Швейцарию в ближай-

ише время, что эта поездка причинит ему большие убытки. Она твердо стояла на своем и даже, видя, что он упорствует, подошинула к нему его золотые монеты. Наконец он согласился, но девица заставила его скрепить свое обещание рукопожатием и вдобавок поклясться своей честью и вечным своим спасением, что свято выполнит его. После этого она назначила точный день и час, когда ему надлежало явиться, в чем ему также пришлось поклясться своей верою в Христа и вечную жизнь. Лишь тогда она согласилась принять его жертву и с великой радостью велела отнести сокровище в свою опочивальню, где собственноручно заперла его в дорожный сундук, а ключ спрятала на груди.

Она не стала дольше задерживаться в Милане, а поехала домой через Сен-Готард, столь же веселая, сколь печальной совершила путь в Италию. Перезезжая Чертов мост, с которого она чуть было не бросилась, она на этот раз хохотала как безумная и, распевая во весь голос, бросила в Рейс букетик из цветов граната, который носила на груди. Словом, ее радость не знала предела, и путешествие было самое веселое, какое только можно вообразить. По возвращении она отперла свой дом, проветрила его сверху донизу и разукрасила так, словно ожидала приезда какого-то принца. Мешок с десятью тысячами золотых гульденов она положила в изголовье своей постели и ночью так блаженно клала голову на жесткую глыбу и спала на ней так сладко, словно то была самая мягкая пуховая подушка. Она едва могла дожидаться условленного дня, когда твердо рассчитывала увидеть своего любимого, ибо знала, что он не способен нарушить даже простое обещание, тем более клятву, хотя бы это могло стоить ему жизни. Но долгожданный день настал, а возлюбленный не явился; прошло еще много дней и недель, а о нем все не было ни слуху ни духу. Тогда ее охватила дрожь, и она впала в глубочайший страх и тоску; письмо за письмом посылала она в Милан, но никто не мог ей сказать, куда девался молодой швейцарец. Наконец случайно выяснилось, что он заказал себе мундир из куска алой камки, который остался у него с той поры, когда он начал заниматься торговлей, и завербовался в швейцарский полк, сражавшийся в войсках короля Франциска Первого во время миланского похода. После битвы при Павии, в которой погибло столько швейцарцев, его нашли бездыханным на груде убитых испанцев; тело его было покрыто смертельными ранами, алый мундир сверху донизу иссечен и разодран. Прежде чем юноша

испустил дух, он наказал лежавшему рядом с ним зельдвильцу, не так тяжело изувеченному, точно запомнить все, что он скажет, и просил его, если он выживет, в точности передать это изустное послание, гласившее: «Любезнейшая девица! Хотя я своей честью, своей верою в Христа и вечным своим спасением поклялся вам явиться на вашу свадьбу, я все же не в силах был снова увидеть вас и стать свидетелем того, как другой удостоится наивысшего счастья, какое только было мыслимо для меня. Это я почувствовал лишь в разлуке с вами и не знал ранее, сколь неумолима и жестока любовь, какую я питаю к вам, — ипаче я, без сомнения, лучше убе-регся бы от нее. Но раз уж так случилось, то я скорее согласен лишиться мирской своей славы и спасения души и быть осужденным за клятвопреступление на вечные муки, нежели еще раз появиться возле вас с огнем, более сильным и неугасимым, чем адское пламя, которое вряд ли сможет причинить мне большие страдания. Не вздумайте молиться за меня, прекраснейшая девица, потому что без вас я не могу сподобиться блаженства и не сподоблюсь его ни на этом, ни на том свете, а посему живите счастливо и примите последний мой привет!».

Так в этой битве, после которой король Франциск Первый воскликнул: «Все потеряно, кроме чести!» — несчастный влюбленный потерял все — надежду, честь, жизнь и вечное спасение, но не испепелявшую его любовь. Зельдвильц выжил, и как только он несколько оправился и опасность для его жизни миновала, он, чтобы ничего не забыть, записал все слово в слово на свою аспидную дощечку, а вернувшись на родину, явился к несчастной девице и прочел ей послание жестким и воинственным голосом, каким обычно производил переключку в своем отряде, — ведь он был старый командир. Девица же стала рвать на себе волосы, разодрала одежду и принялась вопить и рыдать так громко, что по всей улице было слышно и отовсюду сбежались люди. Слово в беспамятстве приволокла она мешок с десятью тысячами золотых гульденов, рассыпала их по полу, распростерлась на них и стала целовать блестящие золотые. Затем, совершенно обезумев, она пыталась собрать разбросанные монеты в кучу и обнять их, словно в них незримо присутствовал погибший возлюбленный. День и ночь лежала она пичком на этом золоте, отказываясь от еды и питья; она непрестанно целовала и ласкала холодный металл, пока наконец однажды ночью вдруг не поднялась с постели и, без усталости бегая туда и обратно, не перенесла сокровище в сад,

где, заливаясь слезами, бросила его в глубокий колодец, а затем произнесла над ним заклятие, чтобы оно никогда уже не досталось никому другому.

Когда Шпигель дошел до этого места своего рассказа, Пинайс прервал его вопросом:

— И что же, драгоценное золото все еще лежит в колодеце?

— А где же ему лежать, — отозвался Шпигель, — один я могу его вытащить, а пока что я этого не сделал.

— Ах да, верно! — вскричал Пинайс. — Слушая тебя, я начисто забыл об этом. Ты недурно рассказываешь, чертovo отродье! И мне захотелось обзавестись жenuшкой, которая вот так бы во мне души не чаяла; но она должна быть рас-красавица! Ну, а теперь расскажи поскорее, как одно свя-зано с другим.

— Прошло немало лет, — продолжал Шпигель, — пре-жде чем девица несколько оправилась от тяжкого душевного недуга и мало-помалу стала той молчаливой старой девой, какою была, когда я познакомился с ней. Могу похвалиться, что в ее отшельнической жизни я был для нее единственной отрадой и самым близким другом до тихой ее кончины. Но, почувствовав приближение смерти, она вновь живо предст-авила себе далекие дни, когда была молода и прекрасна, и вновь, но в более кротком, смиренном расположении духа, пережила сперва сладостные волнения, а затем жестокие муки тех времен и так горько плакала семь дней и семь по-чей подряд, вспоминая про любовь юности, утех которой она лишилась по своей недоверчивости, что совсем незадол-го до смерти ее старые глаза ослепли. Тогда она пожалела о том, что произнесла заклятие над кладом, и сказала, пре-поручая мне это важное дело: «Нынче, милый мой Шпигель, я изменяю свое распоряжение и уполномочиваю тебя при-вести в исполнение то, что я решила сейчас: ищи, разыски-вай, пока не найдешь, девицу, прекрасную как день, но не-имушную, которой из-за ее бедности женихи пренебрегают. И если найдется рассудительный, честный, видный из себя мужчина, живущий в достатке, и, несмотря на бедность де-вушки, посватается к ней, побуждаемый единственно ее красотой, то пусть этот мужчина напосвященнейшими клят-вами обязуется быть ей преданным столь же глубоко, само-завбенно и непоколебимо, как был мне предан несчастный мой возлюбленный, и всю свою жизнь угождать этой жеп-щине всегда и во всем; и тогда отдай те десять тысяч золо-тых гульденов, что лежат на дне колодца, в приданое этой

девушке, дабы в день свадьбы она доставила этим радостную неожиданность своему нареченному». Так сказала мне покойница, а я из-за превратностей моей судьбы не успел заняться этим делом, и теперь меня гнетет мысль, не тревожится ли бедняжка в гробу, что и для меня может иметь весьма неприятные последствия.

Недоверчиво взглянув на Шпигеля, Пинайс сказал:

— А сумеешь ли ты, бездельник, точнее осведомить меня об этом кладе и показать мне его воочию?

— В любое время! — с готовностью отозвался Шпигель. — Но вы должны знать, господин чернокнижник, что не такое это для вас простое дело — достать золото из колодца. Вам наверняка свернули бы шею: ведь в колодце шалит нечистая сила; об этом у меня есть кое-какие сведения, о которых я, по некоторым обстоятельствам, не могу распространяться.

— Э, да кто же говорит о доставании? — не без опаски сказал Пинайс. — Сведи меня туда и покажи мне клад! Или, лучше, давай-ка я тебя сведу на крепкой веревке, чтобы ты не удрал от меня!

— Как вам угодно! — отвечал Шпигель. — Но захватите с собой еще и другую длинную веревку и потайной фонарь, который вы могли бы опустить на этой веревке в колодец, — ведь он страх какой глубокий и темный!

Пинайс последовал совету и привел резвого кота в сад покойной старой девы. Вместе перелезли они через ограду, и Шпигель показал чернокнижнику скрытый среди разросшихся кустов путь к заброшенному колодцу. Придя туда, Пинайс спустил в колодец фонарь и стал жадно вглядываться вглубь, ни на минуту не спуская Шпигеля с привязи. И действительно, на дне, под зеленоватой водой, поблескивало золото.

— Я и впрямь вижу его! — воскликнул Пинайс. — Это правда! Ну и молодец же ты, Шпигель! — Потом, снова зорко вглядываясь во мрак, он спросил: — А их в самом деле десять тысяч?

— Поклясться в этом, пожалуй, нельзя, — отвечал кот. — Я не был там, внизу, и не считал! Возможно даже, что девица, когда несла сюда деньги, обронила по дороге несколько золотых, уж очень она была взволнована.

— Ну, если и будет на десяток-другой меньше, — сказал Пинайс, — это для меня не важно.

Он уселся на краюшку колодца; Шпигель тоже сел и принялся лизать лапку.

— Вот клад и налицо, — молвил Пинайс, почесав за ухом, — и подходящий мужчина тоже найден; не хватает только девицы, прекрасной как день!

— Как так? — спросил Шпигель.

— Я хочу сказать, — пояснил черно книжник, — не хватает только той, что должна получить эти десять тысяч золотых гульденов в приданое, чтобы доставить мне этим радостную неожиданность в день свадьбы, и, сверх того, должна обладать всеми теми приятными свойствами, которые ты расписал!

— Гм! — возразил Шпигель. — Дело обстоит не совсем так, как вы говорите. Клад налицо, это вы правильно заметили, девица, прекрасная как день, у меня, по правде сказать, тоже на примете; а вот найти мужчину, который при этих сложных обстоятельствах захочет на ней жениться, — в этом-то и загвоздка! Ибо в наши дни красота в придачу должна быть еще позолочена, точно орехи на рождественской елке, и чем пустопорожнее становятся головы у мужчин, тем больше им охота заполнить эту пустоту жениным добром, чтобы с большей приятностью провести время: то муж с важным видом осматривает лошадь, то покупает кусок бархата, то, после долгой суеты и беготни, заказывает хороший самострел и у него безвыходно сидит оружейник; только и слышишь: «Надо мне собрать мой виноград и вычистить мои бочки, заняться прививкой моих деревьев, заново покрыть мою крышу, послать мою жену на воды — она прихварывает и стоит мне больших денег; надо вывезти мои дрова из лесу; надо взыскать с моих должников все, что мне причитается; я купил пару борзых; я выменял моих гончих; я сторговал массивный выдвижной дубовый стол и отдал в придачу мой большой ореховый ларь; я подвязал мои бобы на жерди; я продал мое сено; я посадил в моем огороде салат»; словом, с утра до вечера разговор все один — про мое да про мое. А есть и такие, что говорят: «На будущей неделе у меня стирка, мне пора проветрить мои перины, мне нужно нанять служанку, нужно переменить мясника, прежним я недоволен; я по случаю купил прехорошенькую вафельницу и продал мой серебряный ларчик для прястей, он мне был ни к чему...». Все это, разумеется, по праву принадлежит жене, и вот эдаким манером лежебока проводит время и крадет у господ бога один день за другим, перечисляя свои хлопоты, а на самом деле — палец о палец не ударяя. В крайнем случае, если бездельник смекнет, что

надо сбавить спесю, он, пожалуй, скажет: «Наши коровы и наши свиные», но все же...

Тут Пинайс, дернув привязь так сильно, что Шпигель жалобно замлукал, в ярости закричал:

— Замолчи, пустобрех! И скажи немедленно: где та, которая у тебя на примете? — Ибо перечисление всех этих благ и занятый, связанных с приданым жены, еще больше разохотило тощего чернокожишника.

— Неужели вы действительно хотите взяться за это дело, господин Пинайс? — с удивлением спросил Шпигель.

— Разумеется, хочу! Кому же за него взяться, как не мне? А посему — выкладывай! Где некая особа...

— Чтобы вы могли войти и посвататься к ней?

— Разумеется!

— Ну, так знайте — без меня вам не обойтись! Вы должны обратиться ко мне, если хотите заполучить жену и деньги! — с невозмутимым видом заявил Шпигель и начал прилежно водить обеими лапками по ушам, всякий раз предварительно слегка смачивая их.

Пинайс призадумался, побряхтел и молвил:

— Я вижу, ты хочешь расторгнуть наш договор и спасти свою шкуру!

— А по-вашему, это так уж странно и противоестественно?

— Выходит, ты меня морочишь и лжешь мне, как первейший плут?

— И это возможно, — отозвался Шпигель.

— А я тебе говорю: не морочь меня! — повелительно крикнул Пинайс.

— Ладно, значит, я вас не морочу, — ответил Шпигель.

— Посмей только!

— А вот посмею!

— Не мучь меня, милый Шпигель! — сказал Пинайс плаксивым тоном, а Шпигель ответил, теперь уже серьезно:

— Удивительный вы человек, господин Пинайс! Вы держите меня на привязи, дергаете ее так, что у меня дыхание спирает, более двух часов — да что я говорю! Более полугода назад вы занесли надо мной смертоносный меч, а теперь просите: «Не мучь меня, милый Шпигель!». Так вот, если вам угодно, я вкратце скажу вам: мне может быть только приятно выполнить наконец долг признательности в отношении покойной и найти для некой особы подходящего супруга, а вы действительно, думается мне, удовлетворяете всем требованиям.



Оно кажется нехитрым, а все-таки мудреное это дело — хорошо пристроить женщину, и я снова говорю: я рад, что вы на это согласны! Но даром дается только смерть! Прежде чем вымолвить еще хоть слово, сделать еще хоть шаг, прежде чем хотя бы рот раскрыть еще раз — я хочу получить свободу и быть спокойным за свою жизнь! Поэтому уберите веревку и положите договор сюда, на закранный колодец, вон на этот камень, или же отрежьте мне голову — одно из двух!

— Ах ты бесноватый, ах ты зазнайка! — сказал Пинайс. — Уж очень ты горяч, сразу так взбешенный! Надо все это толком обсудить и, уж во всяком случае, заключить новый договор.

На этот раз Шпигель ничего не ответил: он сидел неподвижно — одну минуту, две минуты, три минуты. Тут уж черно книжнику стало не по себе. Он вынул бумажник, тяжело вздохнув, достал оттуда договор, перечел его и не без колебаний положил перед котиком. Едва бумага оказалась перед ним, как Шпигель схватил и проглотил ее. Он жестоко давился при этом, но все же проглоченный документ показался ему самым вкусным и питательным кушаньем, каким он когда-либо лакомился, и у него явилась надежда, что оно надолго пойдет ему впрок и поможет снова стать кругленьким и веселым.

Покончив со своей приятной трапезой, кот, учтиво поклонившись черно книжнику, сказал:

— Я всенепременно дам вам знать о себе, господин Пинайс; жена и деньги — за вами. Но вы, со своей стороны, приготовьтесь изображать страстную влюбленность, чтобы вы могли клятвенно подтвердить известное вам условие самозабвенной преданности женщине, которая, можно сказать, уже ваша! А пока что разрешите поблагодарить вас за радушие и угощение и откланяться.

С этими словами Шпигель удалился, потешаясь над глупостью черно книжника, воображавшего, будто ему удастся обмануть самого себя и весь свет, хотя он собирается жениться на желанной невесте отнюдь не бескорыстно, из одной любви к ее красоте, а заранее зная, как обстоит дело с десятью тысячами гульденов. К тому же котик присмотрел особу, которую он думал навязать глупому черно книжнику в благодарность за всех его жареных дроздов, мышей да колбаски.

Против дома господина Пинайса находился другой дом, фасад которого был тщательнейшим образом выбелен, а окна вымыты до блеска. Скромные белоснежные занавески всегда казались только что вытуженными, и такой же ослепи-

тельною белизной сияли одежда, головной платок и косынка престарелой бегинки<sup>1</sup>, жившей в этом доме; полумошашеский убор ниспадал на грудь такими безупречными складками, будто был сделан из тончайшей писчей бумаги; казалось, только вздумай — и можно писать на нем; во всяком случае, это было бы весьма удобно сделать на ее груди, плоской и жесткой, словно гладильная доска. Столь же остры, как тугие белые кантики и отвороты одеяния бегинки, были и ее длинный нос, и подбородок, и язык, и злобный взгляд ее глаз; но она мало болтала языком и редко расходовала по пустякам зрение, потому что, ненавидя мотовство, все пускала в ход только в урочное время и весьма осмотрительно. Бегинка неукоснительно три раза в день ходила в церковь, и когда она в своем свежевыстиранном белом, хрустящем от крахмала наряде шла по улице, внюхиваясь в воздух белым заостренным носом, дети пугливо разбегались, да и взрослые рады были укрыться, если успевали, за дверью дома. Однако благодаря своему благочестию и отшельническому образу жизни бегинка пользовалась доброй славой, в частности — большим уважением среди духовенства, но даже попы охотнее сносились с ней письменно, нежели устно, а когда она исповедовалась, священник всякий раз выскакивал из исповедалини весь в поту, словно из раскаленной печи.

Итак, богомольная бегинка, с которой шутки были плохи, жила в мире и спокойствии, и никто ее не тревожил. Да и она не водилась ни с кем, не вмешивалась в чужие дела, если только люди не вмешивались в ее собственные. Но к соседу Пинайсу она, по-видимому, питала лютую ненависть: стоило ему только показаться у своего окошка — и она тотчас, метнув на него через улицу злобный взгляд, задергивала белые занавески; что до Пинайса, то он боялся ее как огня и осмеливался позубоскалить на ее счет только в самой что ни на есть отдаленной камерке своего дома, запершись на все замки и засовы.

Но насколько белым и светлым был дом бегинки с фасада, настолько же черным, закопченным, таинственным и необычайным он казался с противоположной стороны, которую, однако, вряд ли кто-нибудь мог видеть, кроме птиц в облаках да кошек на крышах, так как сторона эта выходила в темный тупик, окруженный высокими, до неба, глухими стенами, без единого окна, и никогда там не показывалось

---

<sup>1</sup> Бегинки — полумошашеский женский орден.

человеческое лицо. Под крышей дома бегинки висели разодранные нижние юбки, корзины, мешки с целебными травами; на крыше росли деревца тиса да кусты терновника и зловеще торчала огромная, черная от сажи дымовая труба. А из этой трубы темной ночью зачастую, верхом на помеле, вылетала ведьма — молодая, прекрасная, нагая, какую господь создал женщину и какую дьяволу приятно ее видеть. Вылетев из трубы, она тоненьким своим носиком и вишнево-красными губками жадно вдыхала свежий ночной ветерок и мчалась вдаль; сияние ее ослепительно белого тела освещало ей путь, длинные, черные как вороново крыло волосы развевались, словно ночное знамя.

В дыре возле этой трубы сидела старая сова; к ней-то и направился теперь освобожденный Шпигель, держа в зубах жирную мышь, пойманную им по дороге.

— Добрый вечер, любезная госпожа сова! Все так же исправно сторожите? — сказал он, на что сова ответила:

— Приходится! Добрый вечер и вам! Давно вас не видеть было, господин Шпигель!

— На это были свои причины, потом расскажу. Вот я вам принес мышку — не ахти какую, по времени года, — надеюсь, не побрезгуете! А что хозяйка — уже вылетела?

— Нет еще, она хочет под утро прогуляться часок-другой. Спасибо вам за славную мышку! Вы, как всегда, учтивы, Шпигель! У меня тут припасен тощий воробушек, очень уж близко от меня он пролетел сегодня! Сделайте милость, закусите! А как вам жилось это время?

— Чего-чего только не было! — ответил Шпигель. — С меня хотели голову снять! Вот послушайте, если вам угодно!

И за вкусным ужином Шпигель рассказал внимательно слушавшей сове все, что с ним случилось, и как он ускользнул из рук Пинайса. Сова на это сказала:

— Поздравляю вас тысячу раз! Теперь вы опять сами себе господин и можете, приобретя богатый опыт, идти куда вам вздумается!

— Я с этим делом еще не развязался, — возразил Шпигель. — Пинайс должен получить и обещанную жену и обещанные золотые гильдены!

— Вы, видно, рехнулись? Хотите оказать благодеяние негоддю, который едва не содрал с вас шкуру?

— Ну что ж, он мог это сделать по праву, на основании нашего соглашения, и раз я могу ему отплатить той же монетой, то почему бы мне не сделать этого? А кто говорит, что я

хочу оказать ему благодеяние? Вся эта история — чистейшая выдумка. Моя хозяйка — да почитет она с миром! — была простая душа, никогда в жизни не влюблялась, никогда не была окружена поклонниками, а пресловутый клад — не что иное, как несправедливо нажитое добро, которое она когда-то получила в наследство и, чтобы оно не принесло ей несчастья, бросила в колодезь со словами: «Будь проклят тот, кто его вытащит и воспользуется им!». Как видите, не такое уж это благодеяние!

— Тогда, разумеется, это совсем другое дело! А где же вы думаете раздобыть подходящую жену?

— Вот здесь, в этой самой трубе. Я для того и пришел, чтобы поговорить с вами начистоту! Неужели вам не хочется наконец освободиться из тяжелой неволи у этой ведьмы? Подумайте, как бы нам ее словить и сосватать старому лиходею!

— Шпигель, вам стоит только приблизиться ко мне, и у меня сразу появляются дельные мысли!

— Я давно знал, что вы умница! Я старался, как только мог, а если и вы еще приложите руку к этому делу, взявшись за него со свежими силами, оно, наверно, выгорит!

— Уж если все так удачно складывается, мне незачем долго раздумывать, у меня давным-давно есть свой план!

— Чем мы ее поймаем?

— Новехонькой сетью для куликов, сплетенной из добротной, крепкой конопляной бечевы; сплести ее должен двадцатилетний юноша, сын охотника, никогда еще не взглянувший на женщину, и уже трижды на эту сеть должна была пасть почная роса, но ни один кулик не должен был попасться в нее, а причиной тому трижды должен был явиться праведный поступок. Такая сеть достаточно крепка, чтобы ведьма в нее поймалась.

— Любопытно узнать, где вы достанете такую сеть, — заметил Шпигель, — ведь я знаю, что вы никогда не бросаете слов на ветер!

— Она уже найдена, как бы нарочно для нас сплетена; в лесу неподалеку отсюда живет девятнадцатилетний юноша, сын охотника, никогда еще не взглянувший на женщину, так как он слеп от рождения; поэтому он годен только на то, чтобы плести сети, и несколько дней назад закончил новую, превосходную сеть для ловли куликов; но когда старик охотник, его отец, впервые пошел расставить ее, навстречу ему попала женщина, которая стала склонять его на грех; а была она так безобразна, что старик в страхе бежал, оставив сеть на траве. Поэтому на нее пала ночная роса и пе

поймалось ни одного кулика, и причиной этому явился праведный поступок. Когда охотник на другой день снова пошел расставлять сеть, ему повстречался всадник с тяжелой дорожной сумкой на седле; в этой сумке была дыра, из которой время от времени на землю падала золотая монета. Тут охотник снова бросил сеть на землю, рысцой побежал за всадником и давай подбирать червонцы да бросать их в свою шапку, пока всадник не обернулся, не увидел, чем старик занят, и, придя в ярость, не нацелился в него копьем. Тогда охотник в страхе поклонился всаднику, подал ему шапку и молвил: «Ваша милость, вы здесь обронили много монет, я для вас подобрал их все до одной!». Это опять-таки был праведный поступок; ведь честно вернуть находку — дело чрезвычайно трудное и похвальное; но в погоне за червонцами охотник успел уйти так далеко от сети для куликов, что оставил ее в лесу на вторую ночь и ближней тропкой вернулся домой. Наконец на третий день — было это вчера, — когда он снова пустился в путь, навстречу ему попала миловидная кумушка, которая давно уже обхаживала старика и не одного зайчика получила от него в подарок. Из-за нее он совсем забыл о куликах, а на другое утро сказал: «Я даровал жизнь бедным пташкам; всякая тварь заслуживает милосердия!». Поразмыслив над этими тремя праведными поступками, он решил, что стал слишком хорош для мирской суеты, и сегодня спозаранку ушел в монастырь. Вот как случилось, что сеть, ни разу не употребленная, все еще лежит в лесу, и мне только нужно слетать за ней туда.

— Сделайте это поскорее, — воскликнул Шпигель, — она нам очень пригодится!

— Мигом слетаю, — отозвалась сова, — только вы покамест посторожите за меня у этой дыры и, если хозяйка снизу кликнет в трубу: «Чист воздух?» — отвечайте, подделываясь под мой голос: «Нет, в фехтовальной школе еще не воюет!».

Шпигель забрался в выбоину, а сова бесшумно полетела над городом к лесу. Вскоре она вернулась с сетью и спросила: — Ну как, хозяйка не кликала?

— Нет еще, — ответил Шпигель. Они вдвоем натянули сеть над трубой и тихонько, чинно уселись возле нее; вокруг было темно, дул легкий предзвездный ветерок, в небе слабо мерцали звезды.

— Вот увидите, — прошептала сова, — как ловко она умеет вылетать из трубы, нисколечко не замавав сажей свои белоснежные плечи.

— Я никогда еще не видал ее так близко, — шепнул в ответ Шпигель, — только бы она нас не спанала!

Тут ведьма снизу кликнула:

— Чист воздух?

А сова ответила:

— Совершенно чист, в фехтовальной школе чудесно воит!

Ведьма тотчас поднялась из трубы и запуталась в сети, которую кот и сова быстрехонко стянули и завязали.

— Держи покрепче! — командовал Шпигель.

— Стяни потуже! — кричала сова.

Ведьма билась и бесновалась, но не издала ни звука, словно рыба в неволе. Все было тщетно, сеть показала себя на славу. Только помело торчало из петель. Шпигель хотел было потихоньку вытащить его, но получил такой щелчок по носу, что едва не лишился чувств и понял — львицу нельзя дразнить, даже если она в сети. Наконец ведьма утихомирлась и спросила:

— Чего вы от меня хотите, чудные вы звери?

— Хочу, чтобы вы меня уволили со службы и вернули мне свободу! — сказала сова.

— Столько шуму из-за такого пустяка! — вскричала ведьма. — Ты свободна, развяжи-ка сеть!

— Погодите малость! — вмешался Шпигель, все еще потирая нос. — Вы должны клятвенно обязаться выйти замуж за вашего соседа, городского чернокопчикника Пинайса, в точности следуя при этом нашим указаниям, и никогда уже с ним не разлучаться!

Тут ведьма опять стала трепыхаться и фыркать, словно сам черт, и сова сказала:

— Она несогласна!

Но Шпигель заявил:

— Если вы мигом не успокоитесь и не будете слушаться нас во всем, мы оставим вас в сети и повесим у фасада на драконовой голове сточного желоба; наутро все вас увидят и признают ведьмой! Вот и выбирайте, что вам больше по вкусу: чтобы вас изжарили под председательством господина Пинайса или чтобы вы, став его супругой, сами жарили его на медленном огне?

Тут ведьма ответила со вздохом:

— Скажите, что же вы задумали?

Шпигель учтиво изложил ей, что именно они задумали и что она должна делать.

— Ну, это в крайнем случае еще можно вытерпеть, если уж никак нельзя иначе! — сказала она, уступая, и поклялась самыми страшными клятвами, какими только может связать себя ведьма. Тогда кот и сова открыли темницу и выпустили ее. Она тотчас села верхом на метлу, сова — за ней, а Шпигель примостился совсем назад, на помеле, крепко держась за него; так они понеслись к колодцу, ведьма спустилась туда и достала клад.

Поутру Шпигель явился к господину Пинайсу и сообщил ему, что он может посмотреть на известную ему особу и посвататься к ней, но она, дескать, настолько обнищала, что сидит, всеми покинутая, отверженная, под деревом у городских ворот и плачет горячими слезами. Господин Пинайс тотчас облачился в потертый камзол из желтого бархата, который надевал только в высокаторжественных случаях, нахлобучил лучшую свою мохнатую шапку, к поясу прицепил шпагу, взял старую зеленую перчатку, флакончик изпод бальзама, еще слегка благоухавший, да бумажную гвоздику, после чего направился со Шпигелем к городским воротам на смотрины. Там он застал под ивой горько плакавшую девушку такой красоты, какой он никогда не видел; но одета она была в рубище столь убогое и разодранное, что как стыдливо она ни куталась в него, все же то здесь, то там просвечивало белоснежное тело. Пинайс вытаращил глаза и от неожиданного восторга едва мог сказать красавице, зачем он пришел. Та тотчас утерла слезы, с чарующей улыбкой протянула ему руку, звонким ангельским голосом поблагодарила его за великодушие и поклялась вечно хранить ему верность. В ту же минуту Пинайс преисполнился такой ревности к своей невесте, что поклялся никогда никому не показывать ее. Он тайно обвенчался с ней у престарелого отшельника и устроил свадебный пир у себя дома, причем единственными гостями были Шпигель и сова, которую Шпигель, с разрешения молодожена, привел с собой. Десять тысяч золотых гульденов лежали на столе в миске, время от времени Пинайс запускал туда руку и перебирал монеты; он глаз не сводил с красавицы, восседавшей за столом в синем бархатном платье; волосы у нее были перевиты золотой сеткой и убраны цветами, на шее блистало жемчужное ожерелье. Пинайс то и дело тянулся поцеловать ее, но она стыдливо и целомудренно отстранялась с обольстительной улыбкой и клялась, что никогда на это не согласится при свидетелях и до наступления темноты. Это еще усугубляло его

блаженство и влюбленность, а Шпигель усаждал трапезу цветистыми речами, на которые красавица отвечала столь приятно, разумно и вкрадчиво, что чернокнижник так и млеял от удовольствия. Когда стемнело, сова и кот откланялись и степенно удалились. Господин Пинайс проводил их со свечой до самого крыльца и еще раз поблагодарил Шпигеля, назвав его достойнейшим и учтивейшим существом, а когда он вернулся в комнату, за столом сидела его соседка, старая бегинка, в белом одеянии и смотрела на него злыми глазами. Пинайс в ужасе уронил подсвечник и, весь дрожа, прислонился к стене. От страха он высунул язык, лицо у него стало такое же бледное и заостренное, как у самой бегинки. Что до нее — она встала, вплотную подошла к Пинайсу, погнала его перед собою в брачную комнату и, пользуясь своим колдовским искусством, подвергла его таким мукам, каких еще не знал ни один смертный. Итак, Пинайс был отныне связан со старухой неразрывными узами, и когда об этом проведали в городе, только и слышно было: «Смотрите-ка, в тихом омуте черти водятся! Кто бы подумал, что благочестивая бегинка и господин городской чернокнижник в таком возрасте еще поженятся! Ну что ж — почетная и праведная чета, хоть и не очень приятная!».

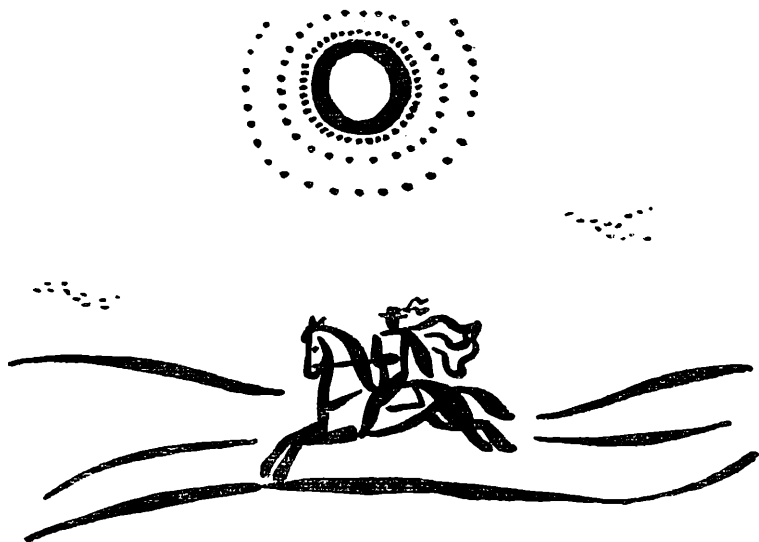
А Пинайсу с той поры житья не стало. Жена немедленно завладела всеми его тайнами и стала им верховодить. Она не давала ему ни отдыха, ни покоя, заставляла его колдовать с утра до вечера что было сил, а Шпигель, проходя мимо и видя все это, ласково спрашивал его:

— Все трудитесь, все трудитесь, господин Пинайс?

С этого времени в Зельдвиле и стали говорить: «Сторговал у кота сало», особенно ежели кто из корысти женится на сварливой, противной женщине.







## ЛАНДФОГТ ИЗ ГРЕЙФЕНЗЕ

П

ринадцатого июля 1783 года, в день памяти императора Генриха, и поныне еще обозначаемый в цюрихском городском календаре красными буквами, толпы людей в колясках, верхом на лошадях и пешком направлялись из Цюриха и его окрестностей в деревню Клотен, расположенную по дороге на Шафгаузен. Ибо на отлогих холмах вблизи этой деревни полковник Соломон Ландольт, в ту пору — ландфогт области Грейфензе, намеревался в присутствии господ членов военного совета сделать смотр сформированному им полку цюрихских стрелков и

произвести учение. Праздник святого Генриха ландфогт выбрал по той причине, что, как он утверждал, добрая половина людей, обязанных состоять в ополчении distinguished города Цюриха, носят имя Генрих и проводят этот знаменательный день в попойках и безделье, а посему от смотра большой беды не будет.

Собравшиеся любовались необычайным зрелищем, которое представлял новый, доселе неизвестный им отряд, состоявший из добровольцев — цветущих юношей в скромных зеленых мундирах; восхищались ловкостью их движений в рассыпном строю, самостоятельностью, с какой каждый из них действовал своим исправно заряженным, стрелявшим без промаху ружьем, а более всего — отеческим отношением Ландольта, зачинателя и главы этого дела, к своим brave молодцам.

Они то располагались цепью по краю рощи и исчезали в ней, то на клич своего командира сплошной темной колонной появлялись в отдалении, меж тем как он на огненьорыжем коне мчался по гребням холмов; то с веселой песней проходили совсем близко, а затем вдруг показывались на поросшем елями пригорке, где их почти не отличить было от зеленой хвои. Все упражнения проделывались ими необычайно быстро и дружно; непосвященный и представить себе не мог, сколько труда и усилий положил этот достойный человек, любовно подготавливая для родины свой подарок.

Когда он наконец под звуки валторн беглым шагом подвел своих стрелков — человек пятьсот — вплотную к толпе зрителей и по его команде они с молниеносной быстротой разошлись на отдых, а сам он, столь же мало выказывая усталость, как и юноши, молодежато соскочил с коня, — все наперебой принялись расхваливать его. Офицеры швейцарских полков, служившие во Франции и Нидерландах, обсуждали блестящие виды, открывающиеся новому роду войск, и радовались, что их отечество создало его самостоятельно для своих собственных нужд. Попутно кое-кто с удовольствием вспоминал, что однажды, когда Ландольт присутствовал на маневрах в окрестностях Потсдама, сам король Фридрих заметил одинокого, мелькавшего повсюду военного, пригласил его к себе и даже неоднократно вел с ним переговоры, убеждая его перейти в прусскую армию.

Все благосклонно смотрели на ландфогта, когда он, подойдя к своим начальникам и согражданам, стал крепко пожимать руки друзьям. На нем был темно-зеленый кафтан

без единого галуна, светлые кавалерийские перчатки, ботфорты с белыми отворотами. На боку висела большая шпага, края шляпы были приподняты, как у офицеров. В остальном биограф Ландольта описывает его наружность следующими словами:

«Кто видел его однажды, тот никогда уже не мог его забыть. Открытый выпуклый лоб был ясен, крупный орлиный нос слегка изогнут; тонкие губы нежно, красиво очерчены, а в уголках рта, за едва уловимой лукавой улыбкой таилась меткая, но никогда намеренно не уязвлявшая насмешка. Светло-карие глаза глядели смело, твердо и говорили о недюжинном уме их обладателя; они неопишимо ласково останавливались на предметах, ему приятных, а когда густые брови хмурились от гнева — пронизывающе устремлялись на все, что могло оскорбить благородные чувства порядочного человека. Роста среднего, он отличался крепким, правильным сложением и военной выправкой».

• К этому описанию мы прибавим, что волосы у него были заплетены на затылке в довольно изрядную косицу и что в ту пору ему шел сорок второй год.

Когда Ландольт приблизился к красной парадной карете, чтобы приветствовать сидевших в ней людей, протягивавших ему руки, карим глазам его вдруг представился случай остановиться со свойственной им неопишимою ласковостью на предмете весьма приятном: неожиданно для себя он увидел в карете, в числе других лиц, обворожительнейшую особу, которую он некогда хорошо знал, но не встречал уже годами. На вид ей могло быть лет тридцать пять; у нее были смеющиеся карие глаза, алый ротик; каштановые кудри ниспадали на кружевной воротник, обрамлявший полуобнаженную шею, и пышно венчали прелестную головку, которую осеняла изящная соломенная шляпа. На ней было легкое в белую и зеленую полоску платье, в руке она держала зонтик — в наши дни его называли бы китайским или японским. Чтобы в корне пресечь необоснованные предположения, заметим, что она давно была замужем и матерью нескольких детей и что, следовательно, между ней и командиром стрелкового полка речь могла идти только о прошлом. Короче говоря, то была первая девушка, которой он некогда хотел отдать свое сердце, и получил от нее любезный отказ. Ее фамилия должна остаться тайной, так как все ее дети еще живы и занимают видное положение; мы ограничимся тем, что назовем ее именем, под которым она сохранилась

в памяти Ландольта. А называл он ее, когда думал о ней, Щегленком.

Оба слегка покраснели, здороваясь друг с другом, а за прохладительными напитками в гостинице под вывеской «Льва» в Клотене, где собралось большое общество, красавица, когда Ландольт случайно очутился с ней рядом, обошлась с ним необычайно ласково и мило, словно влюбленной стороной в былое время была она. Это доставило ему отраду, какой он не знал уже много лет, и он приятнейшим образом беседовал с так называемым Щегленком, который казался таким же юным, как прежде.

Наконец долгий летний день стал клониться к закату, и Ландольту пришлось подумать о возвращении домой; ведь до замка Грейфензе, где он уже два года жил, как ландфогт всей области, было около трех часов пути. При прощании как-то само собой вышло, что он пригласил старинную свою приятельницу навестить его и взял с нее слово приехать в Грейфензе с мужем и детьми.

Погруженный в раздумье, возвращался он домой через Дитликен, верхом на коне, сопровождаемый одним только слугой. Над торфяным болотом клубился легкий туман; направо от дороги закат догорал над густым лесом, налево молодой месяц восходил над горными кряжами Цюрихских Альп — тихая вечерняя картина, всегда животворно действовавшая на ландфогта; весь обратясь в зрение и слух, он благоговейно внимал едва уловимому трепету природы. Но в этот вечер созерцание блистающих небесных светил, тихий шелест и шорох вокруг настроили его еще торжественнее обычного, даже слегка растрогали, и пока он размышлял о подобающем приеме для той, которая некогда учтиво ему отказала, ему вдруг захотелось увидеть у себя в доме не только ее, но и еще нескольких очаровательных существ, с которыми у него в минувшие годы были сходные отношения. Словом, чем дольше он ехал, тем сильнее в нем становилось желание созвать к себе всех тех милых, достойных любви женщин, которые некогда были ему дороги, и провести день среди них.

К сожалению надо признаться, что Ландольт, в ту пору закоренелый холостяк, не всегда был так неприступен и в молодости легко, чересчур легко поддавался женским чарам. В его перечне ласкательных имен значилась еще особа по прозвищу Наяц, другая называлась Малиновкой, третья — Капитаном, четвертая — Черным Дроздом; всего вместе со

Щегленком их было пять. Одни были замужем, другие остались в девцах, но всех их можно было пригласить со спокойной совестью, — ведь по отношению к любой из них Соломон Ландольт не знал за собой никакой вины, и не держи он вожжи и хлыст, он с тайным удовольствием потирал бы руки, живо представляя себе, как он перезнакомит красавиц, как они будут себя вести и ладить между собой и какое это будет чудесное развлечение — достойно принять столь милое общество.

Трудность, по правде сказать, заключалась для Ландольта в том, чтобы довериться своей ключнице Марианне, а после этого — заручиться ее согласием и помощью. Стоило ей не одобрить это весьма щекотливое начинание, отказать в поддержке — и неминуемо рухнул бы его очаровательный план.

А госпожа Марианна была величайшая чудачка во всем мире, второй такой не сыскать, хоть посули за это целое царство. Дочь городского плотника из Халля в Тироле, она росла с целой оравой братишек и сестреноч под гнетом злой мачехи, которая отдала ее послушницей в монастырь. У Марианны был прекрасный голос; она как будто свыклась со своим положением; но когда пришло время произнести монашеский обет, она стала так отчаянно, неистово сопротивляться, что ее в страхе отпустили на волю. После этого она одна-одинешенька отправилась на чужбину и нанялась стряпнухой в гостиницу; было это во Фрейбурге в Брейсгау. Видная, статная девушка много терпела от пазойливых домогательств студентов и австрийских офицеров, завсегда в гостиницы; но она решительно отвергала их всех, за исключением красавца студента, уроженца Донауэшингена, юноши из хорошей семьи, которому отдала свое сердце. Некий офицер, ревновавший ее, с досады стал распускать о Марианне дурные слухи, которые дошли до нее. Вооружась острым кухонным ножом, она явилась в общую залу, где сидели офицеры, крепко отчитала виновного, назвав его клеветником, а когда он попытался выставить решительную женщину за дверь, она так стремительно стала наступать на него, что ему пришлось выхватить шпагу из ножен. Но она разоружила своего противника, сломала шпагу и бросила ему под ноги; это привело к изгнанию его из полка. Затем храбрая тиролька вышла замуж за своего студента и бежала с ним, так как его родители были против этого брака. Он поступил в Кенигсберге в прусский конный полк, а Марианна определилась туда же маркитанткой и сопро-

вождала его в нескольких войнах. Везде и во всем, в походах и в гарнизонной жизни, она выказывала изумительное трудолюбие и умение, а поэтому зарабатывала достаточно, чтобы содержать мужа в полном довольстве, да еще кое-что откладывать. За эти годы у нее родилось девять человек детей, которых она любила больше всего на свете, со всей страстностью, заложенной в нее природой. Но они умирали один за другим; каждый раз у нее сердце разрывалось от горя, и все же судьба не могла ее сломить. А когда молодость и красота исчезли, гусар, ее супруг, вспомнил, что он более знатного происхождения, чем его жена, и стал презирать ее; слишком уж хорошо ему жилось на ее хлебах. Тогда она, собрав все свои сбережения, заплатила немало денег за то, чтобы он мог выйти в отставку, и предоставила ему держать путь, куда он захочет, в поисках счастья, — сама же одна направилась на юг, откуда пришла, надеясь там найти себе пристанище.

Случилось так, что в городке Санкт-Балазее в Шварцвальде ее рекомендовали ландфогту области Грейфензе, подыскивавшему ключницу, и теперь она служила у него уже без малого два года. Ей было по меньшей мере лет сорок пять, паружностью она скорее напоминала старого гусара, нежели домоправительницу. Бранилась она, словно прусский вахмистр, а когда что-либо возбуждало ее неудовольствие, поднималась такая буря, что все разбегались; один только ландфогт, заливаясь смехом, стойко выдерживал натиск и потешался над ее иступлением. Но с хозяйством она справлялась превосходно, челядь и работников держала в строгом повиновении, денежные расчеты вела тщательно и бережливо, торговалась и выгадывала, где и на чем могла, если только хозяин по своей щедрости не препятствовал ей, и при этом так охотно и умело поддерживала его гостеприимство хорошим столом, что вскоре он передал в ее руки управление всем своим домом.

Но сквозь суровую оболочку иногда прорывалась затаенная мечтательность; это случалось, когда она своим все еще прекрасным голосом пела внимательно слушавшему ее ландфогту то старинную балладу, то еще более старинную любовную или охотничью песню. И она немало гордилась, когда ее хозяин, быстро запомнив грустную мелодию, играл ее на валторне у окна замка, откуда звуки далеко разносились по озаренному луной озеру.

Однажды десятилетний сыннишка одного из соседей захворал неизлечимой болезнью; ни наставления священника, ни уговоры родителей не могли облегчить страдания ребенка и рассеять страх, внушаемый ему смертью, когда ему так страстно хотелось жить. Ландольт, спокойно куря трубку, сел у постели больного и такими простыми, сердечными словами стал говорить ему о безнадежности его положения, о необходимости примириться с этим и потерпеть недолгое время, и еще о том, что смерть принесет ему желанное избавление от страданий, о блаженном вечном покое, уготованном ему за терпение и благочестие, о любви и сочувствии, которые он, Ландольт, чужой человек, питает к нему, — что ребенок с того часа словно преобразился и терпеливо сносил свои муки, пока смерть действительно не избавила его от них.

Тогда Марианна с присущей ей страстностью кинулась к умершему, преклонила колена у гроба и долго, истово молилась, прося маленького страдальца, которого считала святым, быть заступником перед богом за всех ее давно умерших малюток. Ландфогту же она благоговейно, словно святейшему епископу, поцеловала руку, которую он, смеясь, отдернул со словами: «Вы что, взбесились, старая дура?».

Такова была ключница господина полковника, с которой ему предстояло объясниться начистоту, если он хотел, чтобы пять женщин, которых он некогда любил, собрались у его очага и блистали там.

Когда ландфогт, въехав во двор замка, соскочил с коня, он услышал, как Марианна бушевала на кухне из-за того, что служанка забыла приготовить вечерний корм для собак, которые теперь жалобно выли на псарне. «Значит, сейчас не время!» — подумал он и робко уселся в покойное кресло у накрытого к ужину стола, меж тем как ключница, продолжая негодовать, докладывала ему обо всем, что произошло в его отсутствие. Он налил ей стакан бургундского вина, которое она предпочитала всем другим, но пила только, когда ее потчевал хозяин, хотя ключи от погреба хранились у нее. Это сразу несколько смягчило ее гнев. Затем Ландольт снял со стены валторну и сыграл одну из ее любимых песен, звуки которой плавно поплыли над тихим озером.

— Марианна, — сказал он немного погодя, — не споете ли вы мне еще и другую песню, знаете, какую:

Кто в небе закатном видал вереницу  
Подруг, покинувших свет,  
К волшебной скале тот вечно стремится,

Забвенья навек ему нет.  
Сестры, прощайте, глубок мой покой,  
Крепко я сплю под безмолвной травой<sup>1</sup>.

Она тотчас спела ему эту песню, подряд все строфы, неожиданно переходящие от одной темы к другой, но все пронизанные единым страстным желанием — снова увидеть любимую.

— Марианна! — начал Ландольт, отступив от окна в глубь комнаты. — Мы должны в ближайшее время подумать о том, как бы достойно принять небольшое, но избранное общество.

— Какое общество, господин ландфогт? Кто придет?

— Придут, — ответил он, покашливая, — Щегленок, Паяц, Маллиновка, Капитан и Черный Дрозд!

Разинув рот, выпучив глаза, ключница закричала:

— Да что это за люди? На чем они сидеть-то будут — на стульях или на жердочке?

Ландфогт тем временем сходил в соседнюю комнату за трубкой и принялся ее раскуривать.

— Щегленок, — сказал он, развенная первые струйки дыма, — Щегленок — красивая женщина!

— А тот, второй?

— Паяц? Тоже женщина и тоже в своем роде красивая!

В таком духе разговор продолжался, покуда не дошли до Дрозда. Но эти многословные объяснения несколько не удовлетворили ключницу, и волей-неволей Ландольту пришлось наконец рассказать более обстоятельно о предметах, которых он никогда еще не единым словом не касался.

— Короче говоря, — признался он, — это все мои бывшие возлюбленные, которых я хочу один раз увидеть всех вместе!

— По тысяча чертей! — вскричала Марианна, еще шире вытаращив глаза и вскочив так стремительно, что ударилась спиной об стену. — Господин ландфогт, все милостивейший господин ландфогт! Вы любили столько женщин! Ох, гром меня разрази! И ни один черт не подозревал об этом, и вы всегда прикидываетесь, что будто терпеть не можете женский пол! И всех этих несчастных бедняжек вы обманывали и бросали!

— Нет, — ответил ландфогт, смущенно улыбаясь, — они не хотели идти за меня!

---

<sup>1</sup> Перевод В. С. Давиденковой.



— Не хотели! — с возрастающим волнением вскричала Марианна. — Ни одна?

— Ни одна!

— Проклятая шушера! Но мысль господину ландфогту пришла удачная! Пускай явятся, уж мы их заманим и разглядим как следует! Прелюбопытная должна быть компания! Надеюсь, мы их запрем в башне, на самом верху, где гнездятся галки, и там будем морить голодом! А чтобы они все перегрызлись — об этом уж я позабочусь!

— Ну нет! — возразил, смеясь, ландфогт. — Напротив, вы должны выказать величайшую учтивость и радушие — ведь этот день должен быть для меня прекрасен, как если бы наступил месяц май, которого на самом деле нет, — и первый и последний день этого месяца были бы слиты воедино!

По блеску его глаз Мариана догадалась, что в мыслях у него нечто и задушевное и возвышенное; подбежав к нему, она схватила его руку, поцеловала ее и, утирая глаза, тихо сказала:

— Да, господин ландфогт, я вас понимаю. Такой будет день, словно у меня вдруг собрались все мои умершие дети, ангелочки мои!

Когда лед таким образом был сломлен, ландфогт постепенно, как и подобало, познакомил Марианну со всеми пятью героинями своих любовных увлечений и рассказал ей о каждой из них, причем и повествователь и слушательница, под наплывом быстро сменявшихся впечатлений, неоднократно сбивали и путали друг друга. Мы хотим пересказать эти повести, но надлежащим образом расположив их, придав им законченность и приспособив к нашему пониманию.

## ЩЕГЛЕНОК

Это прозвище Соломон Ландольт почерпнул из фамильного герба красавицы, изображавшего щегленка и помещенного живописцем над дверью ее дома. Не у одной только ее семьи в гербе были певчие птицы; поэтому можно раскрыть имя девушки, а звалась она Саломеей. Надо сказать, что в ту пору, когда Соломон познакомился с ней, она была весьма хороша собой.

В те времена, кроме государственных владений и наместничеств, в Швейцарии имелось еще и некоторое число об-

ширных старинных поместий с замками, земельными угодьями, а нередко и с правом феодального суда. Такие поместья переходили из рук в руки на правах частной собственности, и горожане их покупали, а иногда снова продавали, в зависимости от состояния своих денежных дел. До революции приобретение подобных поместий было излюбленным видом помещения капиталов и занятия сельским хозяйством в крупных размерах; владение ими давало и недворянам приятную возможность украшать свое воображаемое участие в управлении страной звучными титулами, воскрешавшими феодальное прошлое. Благодаря этому установленно добрая половина состоятельных горожан все благодатное время года проводила в качестве либо хозяев, либо гостей в живописнейших уголках страны, уподобляясь древним властителям средневековья, но без их междоусобных распрей и кровавых походов, среди невозмутимого мира.

В одном из таких поместий Соломон Ландольт, которому в ту пору было лет двадцать пять, встретился с юной Саломеей. И он и она состояли с его владельцем в дальнем родстве по разным линиям, так что могли не считать себя родственниками, и все же испытывали приятное чувство некоторой близости. Вдобавок созвучность их имен давала повод к благодушным остротам, и когда они, в ответ на чей-нибудь оклик, одновременно оглядывались и, краснея, убеждались, что один из них ослышался, это вызывало множество шуток, которые отнюдь не претили им. И он и она были в равной мере красивы, веселы и жизнерадостны; поэтому благожелательные друзья решили, что они, пожалуй, подходят друг к другу и что возможность брачного союза между ними отнюдь не исключена.

Правда, Ландольт вовсе не был склонен уже теперь основать семейный очаг; чепи его судеб все еще бороздила вода у тихой пристани, не решаясь ни причалить к ней, ни отплыть вдаль. В свое время Ландольт посещал военную академию в Меце, где сначала изучил артиллерийское и военно-инженерное дело, а затем избрал гражданское зодчество, чтобы на этом поприще впоследствии служить родному городу. В тех же целях он затем направился в Париж; но циркуль, линейка, вечные измерения и расчеты паскучили его живому уму и юношеской необузданности, и он принялся развивать свою прирожденную склонность к живописи — рисовать с натуры, делать наброски карандашом и красками, а вместе с тем, внимательно приглядываясь и

прислушиваясь ко всему вокруг, особенно во время долгих верховых прогулок, старался приобрести разнообразные знания и богатый опыт. Домой он вернулся, не став ни инженером, ни зодчим. Это не очень понравилось его родителям; явное их беспокойство в конце концов побудило сына занять должность в городском суде, чтобы исподволь подготовиться к участию в государственных делах. Беззаботный, но любезный в обращении и добронравный, он служил не очень усердно: жажда деятельности и более глубокое сознание долга еще дремали в нем.

Само собой понятно, что необеспеченное положение молодого человека служило предметом оживленных разговоров в связи с возможностью его женитьбы, и все стороны этого дела взвешивались более обстоятельно, чем сам он подозревал; и как крестьяне, чем туманнее для них будущее, тем усерднее поминуют в начале года всякие, иногда зловещие, приметы, так маменьки дочерей на выданье наперебой обсуждали и осуждали беззаботное житье юного Соломона Ландольта. Прелестная Саломея заключила отсюда только одно — что о надежных видах на будущее и о замужестве тут думать не приходится, но приятное, даже дружеское общение тем более дозволено. Ее величали «мадемуазель», воспитана она была во французском духе, с тою лишь разницей, что выросла не в монастыре, а в свободомыслящем протестантском обществе, и поэтому легкую любовную игру не считала чем-то предосудительным.

Бесхитростно отдавался Ландольт тому чувству, которое вскоре зародилось в его восприимчивой душе, но никогда не бывал назойлив или нескромен. Взаимная склонность привела к тому, что когда одна сторона гостила у неизменно радушных владельцев замка, вскоре появлялась и другая, а это давало окружающим повод без конца решать занимательную загадку: поженятся — не поженятся?

Но в один прекрасный день показалось: решение вот-вот должно последовать. Соломон, который уже в ранней молодости приобрел кое-какие знания по сельскому хозяйству и значительно пополнил их во время своих путешествий, уговорил владельца поместья засадить вишнями луг на солнечном косогоре. Он сам доставил туда молодые стройные деревья и принялся собственноручно сажать их в землю. Среди них был новый сорт белой вишни; эти деревья Ландольт решил сажать рядами, попеременно с красной вишней, а так как всего саженцев было около пятидесяти штук,

то предстояла работа, для которой едва хватило бы короткого весеннего дня.

Саломея хотела во что бы то ни стало быть при этом и даже сама приложить руку, так как, со смехом говорила она, ей, возможно, суждено когда-нибудь стать женой помещика, и нужно поэтому заблаговременно приучиться к сельскому труду. Надев шляпу с широкими полями, она пошла на луг, расположенный довольно далеко, и во время работы оказывала Ландольту множество услуг. Он намечал прямые линии для посадки и отмеривал расстояние между деревцами, а Саломея помогала ему натягивать веревки и вбивать колышки. Затем он старательно выкапывал в рыхлом грунте ямки, а девушка поддерживала гибкие саженцы, куда он снова засыпал углубления землей и заравнивал ее. После этого Саломея, наполнив лейку живительной влагой из бочки, куда работник то и дело наливал воду, орошала деревца так обильно, как ей указывал Ландольт.

Около полудня, когда лучи солнца весело плясали вокруг только что посаженных деревьев, владельцы поместья шутки ради прислали усердно трудившейся чете незатейливый завтрак, каким кормят рабочих на поле; они съели его, сидя на зеленой траве, и нашли необычайно вкусным; Саломея заявила, что теперь-то уж ей, как любой крестьянской девушке, полагается выпить несколько стаканов вина, раз она работала не покладая рук. Вино и непрерывное, длившееся до самого вечера движение взволновали ее кровь; этот жар поборол в ней житейскую мудрость, свет который на время померк, как меркнет сияние солнца, когда его заслоняет луна.

Ландольт во время работы держался так сосредоточенно и спокойно, делал свое дело так ловко и добросовестно, был при этом так неизменно весел, общителен, остроумен, казался таким счастливым, — притом в течение всего дня ни на миг не забываясь, не позволяя себе ни одного вольного взгляда или слова, — что Саломея прониклась сладостной уверенностью: с этим спутником можно всю долгую жизнь провести так, как этот день. Горячее чувство захлестнуло ее, и когда последний саженец был крепко врыт в ямку и ничего уже не оставалось делать, она с легким вздохом сказала: «Так всему приходит конец».

Растроганный волнением, звучавшим в этих словах, Соломон Ландольт блаженно взглянул на девушку. Но сияние вечернего солнца озаряло ее прекрасное лицо, и он не мог распознать, нежность ли разрумянила ее щеки или же

ласкавший их отблеск заката. Только глаза ее блистали ярче солнечных лучей, и молодые люди невольно протянули друг другу руки. Этим все и ограничилось, так как подоспел работник, пришедший за граблями, лопатой, лейкой и прочей утварью.

Под новыми созвездиями пошли они обратно по красивой вишневой аллее, ими посаженной; теперь они смогли смотреть друг на друга только влюбленными глазами, поэтому в доме они стали общаться реже и осторожнее. Это обстоятельство, а еще более — приветная тихая радость, казалось, действовавшая на них живительно и в то же время умиротворяюще, с достаточной ясностью свидетельствовали, что произошло нечто необычайное. Но Соломон мешкал недолго; шепнув Саломее несколько многозначительных слов, которые она приняла благосклонно, он во весь опор помчался в Цюрих — подготовить в обеих семьях возможность обручения. А пока — ему не терпелось в письме к возлюбленной излить ей свою душу. Но едва успел он, воодушеваясь, сказать самое для него неотложное, как юношеский задор натолкнул его на мысль испытать силу чувства Саломеи таинственно зловещим рассказом о своем происхождении и видах на будущее.

Что до его происхождения, оно с материнской стороны и подлинно было своеобразным. Мать Ландольта, Анна-Маргарита, была дочь голландского генерала от инфантерии Соломона Хирцеля, владельца поместья Вюльфлинген, где сохранилось право феодального суда. Он и трое его сыновей получали от нидерландского правительства большие пенсии и тратили их в этом расположенном неподалеку от Винтертура поместье на сумасбродства, которыми прославились. Волк, вместо собаки сидевший на цепи у ворот и заливавшийся хриплым лаем, словно олицетворял собой этот диковинный уклад жизни. После ранней смерти хозяйки дома, при частых отлучках отца, каждый делал то, что ему вздумается, сыновья генерала и три его дочери воспитывали себя сами, притом на редкость нелепым образом. Только когда старик бывал дома, устанавливался некоторый порядок, выражавшийся в том, что утром барабан бил сбор, а вечером — зорю. В остальном каждый жил так, как ему нравилось. Старшая из дочерей, мать Ландольта, ведала всем хозяйством, и благодаря тому, что на ней лежали известные обязанности, стала самой степенной и разумной во всей семье. Но и она ездила наравне с мужчинами на охоту, действовала

арапником и умела пропитательно свистеть, вложив пальцы в рот. Мужчины завели обычай в юмористическом духе изображать свои похождения и проделки на стенах построек поместья. Поэтому в садовом павильоне можно было лицезреть, как старик генерал с тремя сыновьями и старшей дочерью, в то время уже замужней, несется вскачь по камням и жнивью, а маленький Соломон Ландольт трусит верхом рядом с осанистой матерью — ни дать ни взять, семья кентавров.

Такие кавалькады иногда предпринимались для преследования ручного оленя, приученного сначала убежать от охотников и собак, а в конце концов дать себя поймать; но это было, в сущности, лишь упражнением в верховой езде; настоящие охоты устраивались постоянно, перемежаясь шумными пирами и бесчисленными шутовскими выходками, которые сумасброды учиняли даже тогда, когда разбирали тяжбы в суде.

Своим трезвым умом, ясным расположением духа, безупречной нравственностью мать Соломона Ландольта, как уже было сказано, возвышалась над этим безудержным разгулом и впоследствии стала для своих детей надежным и верным другом, тогда как весь род ее отца погиб. После того как генерал в 1755 году умер, Анна-Маргарита вместе с мужем уехала из Вюльфлиггена, а братья стали вести жизнь все более и более разнузданную. Охоты кончались драками с соседними помещиками из-за межевых знаков или истязаниями подчиненных. Однажды, когда священник, отличивший братьев с амвона, верхом на лошади ехал через их лес, они напали на него и, угрожая хлыстами, гнали по полю прямо в реку Тесс, пока его старая кобыла не рухнула пазень и он, упав на колени, не стал, дрожа всем телом, вымаливать у них прощение. А когда судебный пристав явился взыскать положенный на них за это бесчинство крупный денежный штраф, то подкупленные ими люди в масках на обратном пути связали его и отобрали у него эти деньги.

К свойственному братьям нелепому мотовству прибавилась еще и страсть к карточной игре, которой они безудержно предавались целыми неделями. Заманив к себе простачков, они обыгрывали их в пух и прах, а затем, чтобы не запятнать свою рыцарскую честь, давали им отыгаться, покуда пострадавшие с лихвой не возвращали себе утраченное. Но долго ли, коротко ли — все это привело к печальному концу. Один за другим вынуждены были братья покинуть

родовой замок, а последнему из них пришлось с величайшей поспешностью отказаться от древних феодальных прав и поборов, от лесных и пашенных угодий, усадьбы и парка и спастись бегством. Один из братьев так обнищал, что где-то на чужбине окончил свои дни в работном доме, второй некоторое время жил один-одишешенек в заброшенной лесной сторожке, но, преследуемый кредиторами, изнуренный болезнями, поневоле оставил это жалкое пристанище и скрылся в дальних краях; третий снова поступил на военную службу в чужой стране и там погиб.

Правда, мятежный юмор не изменял этим самодурам до последней минуты. Прежде чем покинуть родовой замок, они приказали своему придворному деревенскому живописцу изобразить на стенах все приведшие их к гибели шутовские выходки и проделки, вплоть до той, которую они учинили, когда в последний раз вершили суд; за печкой были начертаны пышные названия всех уступленных ими грамот и привилегий; на лесной полянке, освещенной луной, резвились лисицы, зайцы, барсуки, весело играя различными атрибутами утраченной феодальной власти. А над входной дверью братья велели увековечить себя самих, как они напоследок, держа шляпу под мышкой, с важным видом переходили у межевого столба границу былых своих владений. Внизу вверх ногами было начертано слово: «Аминь!».

Рассказав в письме к Саломее эту мрачную повесть, Соломон Ландольт выразил скорбное опасение, не проснется ли в нем злосчастная кровь трех дядюшек и не постигнет ли его их судьба, которая лишь благодаря некоей счастливой звезде миновала его благородную мать. Но именно поэтому, заключил он, вполне вероятно, а быть может, и закономерно предположить, что гибельные черты вновь оживут в нем самом. Правда, он твердо решил всеми силами и средствами бороться с этим. Однако он должен признаться, что за время своих странствий уже наделал карточных долгов на большую сумму и мог покрыть их только благодаря тайной помощи матери. Далее — гласил его рассказ — он на чужие деньги без ведома отца содержал верховых лошадей, хотя это ему не по карману. А в отношении наличных денег он почти уверен, что вряд ли когда-нибудь научится расходовать их так осмотрительно, как приличествует главе семьи с ограниченными средствами. Даже более привлекательные черты характера дядюшек — склонность к верховой езде и охоте, к веселым шуткам и проказам, — и те, уверял Ландольт, про-

являются в нем, вплоть до страсти к малеванию; в замке Велленберг, где его отец был фогтом, он еще подростком при помощи угля и красного карандаша изобразил на стенах сотни воинов.

Эти тяжкие сомнения, писал Ландольт далее, он, как порядочный человек, считает себя не вправе утаить от обожаемой им мадемуазель Саломеи, а напротив, усматривает свой долг в том, чтобы дать ей возможность, прежде чем она переступит порог будущего, окутанного непроницаемой завесой, зрело обдумать этот важный шаг; ее дело решить, дерзнет ли она затем, уповая на помощь божественного провидения, стать его спутницей или же, руководствуясь справедливой, похвальной осмотрительностью и вполне свободно располагая своей особой, захочет уберечь себя от неизвестной судьбы.

Едва отослав письмо, Ландольт уже пожалел о том, что написал его. Ибо в ходе изложения то, что он хотел сообщить, стало более веским, так сказать — более правдоподобным, и, в сущности, хотя он бодро смотрел в будущее, все обстояло именно так, как он писал. Но было уже поздно что-либо изменить, и вдобавок он все же испытывал потребность по результату узнать, насколько глубока привязанность к нему Саломеи.

А результат не замедлил сказаться. Саломея уже призналась матери в том, что произошло между ней и Ландольтом; событие обсудили с участием отца девушки и, в виду неопределенной будущности молодого человека, нравившегося всем, но никем не понятого по-настоящему, этот брак был признан нежелательным и даже опасным; а когда получилось еще и письмо, родители воскликнули: «Он прав, он свято прав! Честь и слава ему за его благородную откровенность!».

Прелестная Саломея, для которой жизнь, обремененная заботами, а тем паче несчастная, была невообразима, весь следующий день проплакала горькими слезами, а затем написала неосторожному испытателю ее сердца письмецо, гласившее: «Этому не суждено быть! Не суждено по многим важным причинам! И пусть он больше не помышляет об этом, но сохранит ей свою дружбу, как и она всегда будет дружески, сердечно к нему расположена и готова служить ему, чем только возможно».

Спустя несколько недель она обручилась с богатым человеком, имущественное положение и душевный склад



которого не оставляли никаких сомнений в том, что ее ждет спокойное, надежное будущее.

После этого Ландольт полдня слегка грустил. Но затем он подавил сожаление и с ясной улыбкой сказал себе, что избег немалой опасности.

## ПАЯЦ

Имя той возлюбленной, которую Ландольт прозвал Пяцем, можно привести полностью, так как весь ее род вымер. При крещении ей дали старинное имя Фигура; она приходилась племянницей умнейшему члену городского совета и реформационной палаты господину Лею, следовательно, звалась Фигура Лей. То было полное непосредственности существо с золотистыми кудрями, которые изо дня в день доставляли ее парикмахеру жестокие мучения, так как только с величайшим трудом можно было подчинить их прихотям моды. Фигура Лей с утра до вечера плясала, резвилась и придумывала бесчисленные проказы, развлекаясь ими в одиночестве и на людях. Только в пору новолуния она вела себя потише; в эти дни ее глаза, где глубоко залегло лукавство, напоминали синеватый прудик, на дне которого незримо таятся серебристые рыбки, редко-редко поднимаясь на поверхность, когда комарик слишком близко подлетит к зеркальной глади.

В остальное время проказы начинались с воскресенья, рано поутру. В качестве члена реформационной палаты, учреждения, призванного блюсти правоверие и строгость нравов, дядюшка Фигуры выдавал горожанам, желавшим в воскресенье выйти за черту города, разрешение на отлучку, вручая им жетон, который они должны были сдавать страже у городских ворот. Всем остальным жителям было строжайше запрещено покидать город в те дни, когда в храмах совершалось богослужение. Сам советник, человек просвещенный, украдкой потешался над этим постановлением, когда оно не доставляло ему слишком больших хлопот; ведь иногда по воскресеньям к нему являлось человек сто, и все они под самыми различными предлогами стремились погулять на приволье. Но еще более потешалась девица Фигура, когда в просторных сенях она предварительно распределяла и расставляла пришедших сообразно причинам их ходатайств, а затем поразрядно вводила их в кабинет господина члена реформационной палаты. Но помещая просителя в тот

или иной разряд, она руководствовалась не мнимыми основаниями, на которые он ссылался, а подлинными, мгновенно угадывая их по его лицу. Так, она безошибочно соединяла вместе подмастерьев, приказчиков и служанок, которые под предлогом, будто больные хозяева посылают их за лекарем в окрестности города, хотели повеселиться на ярмарке или на празднике жатвы в какой-нибудь дальней деревне. Все они в доказательство своей правдивости приносили с собой кто склянку из-под лекарств, кто баночку из-под мази или коробочку для пилюль, а кто и пузырек с водой, и по приказу веселой барышни крепко держали эти предметы в руках, когда их впускали в кабинет. За ними следовала кучка скромных людей, желавших воспользоваться древним правом горожан — поудить рыбу в тихих заводях и уже засунувших в карманы коробочки с дождевыми червями. Эти приводили множество неотложных дел — крестины, получение наследства, осмотр скота и тому подобное. Их сменяли подозрительные личности, известные гуляки, намеревавшиеся в уединенном сельском уголке присоединиться к шайке картежников, а в лучшем случае — поиграть там в кегли или по пьянствовать в компании. И наконец — впускались влюбленные, те, кто без всяких дурных помыслов хотели вырваться на приволье, чтобы собирать цветы и в лесу уродовать перочинными ножами кору деревьев.

Все эти разряды Фигура Лей устанавливала с большим знанием дела, и для дядюшки ее система оказывалась настолько пригодной, что он мог, не теряя времени, выделить то количество людей, которое по человеколюбивым соображениям намерен был выпустить, и отказать всем остальным, чтобы не слишком много народу ушло за город.

Соломон Ландольт прослышал о потешном смотре, который каждое воскресенье устраивала Фигура Лей. Ему захотелось самому пройти через это испытание; поэтому, хотя он мог в качестве офицера беспрепятственно выходить из городских ворот когда ему вздумается, он однажды верхом на коне подъехал к дому советника Лея, спешился и в ботфортах со шпорами вошел в сени, где только что закончилась хитроумная расстановка просителей, жаждавших побыть на лоне природы.

Фигура стояла на лестнице, уже одетая так, как это предписывалось для посещения церкви. На ней было черное платье и монашеский платок, белоснежную шейку обвивала дозволенная суровыми постановлениями о роскоши

тоненькая золотая цепочка. Пораженный прелестным обликом девушки, Ландольт на минуту опешил, затем поклонился и учтиво, с трудом подавляя улыбку, попросил указать ему, куда он должен встать.

Фигура грациозно присела и, угадав по его вопросу, что ему охота позабавиться, в свою очередь спросила:

— По каким делам вам угодно отлучиться, сударь?

— Я хотел бы подстрелить зайца для моей матушки, у нее вечером гости, и ничего нет на жаркое, — ответил Ландольт так непринужденно, как только мог.

— В таком случае извольте стать вот сюда, — сказала она столь же серьезно, указывая на кучку влюбленных, которых он тотчас распознал по их смущенному, томному виду — в точности такому, как ему описывали. Фигура снова поклонилась Ландольту, когда он, все же несколько озадаченный, подошел к указанной ему группе, и, все бросив на произвол судьбы, легко, словно призрак, выскользнула из дома, торопясь в церковь.

После ее ухода Ландольт потихоньку вышел из сеней, вскочил на коня и в раздумье направился к ближайшим городским воротам, которые немедленно с готовностью раскрылись перед ним.

По крайней мере он успел свести знакомство с этой странной девушкой, и, по-видимому, она сама ничего не имела против этого: когда они встречались на улице, Фигура весьма приветливо отвечала на его поклон и даже нередко, поскольку она не признавала никакого этикета, первая здоровалась с ним, весело кивая головой. Как-то раз она даже, словно вынырнув из воздуха, неожиданно подошла к нему и сказала:

— Теперь я знаю, кто охотится на зайцев! Прощайте, господин Ландольт!

Непринужденное обращение девушки было чрезвычайно приятно Ландольту, человеку прямого, открытого нрава, и возбудило в его уже слегка поклеванном Щегленком сердце теплое чувство к ней. Желая узнать ее поближе, он старался сойтись с ее братом, который, рано осиротев, как и сама Фигура, тоже жил у дядюшки-советника. Соломон разведal, что Мартин Лей состоит членом объединения юношей и молодых мужчин, именовавшегося Общество любителей отечественной истории и заседавшего в доме у Нового рынка.

То были энергичные люди, горячие головы из среды молодежи правящих классов, стремившиеся под вывеской этого

Общества подготовить лучшее будущее и вырваться из-под мрачного гнета так называемых обоих сословий, иначе говоря — духовных и светских властей. Вопросы просвещения, образования, воспитания, человеческого достоинства, особенно же опасная тема гражданской свободы обсуждались в докладах и непринужденных беседах с тем большим пылом, что почтенные отцы участников общества уже приступили к постепенному осуществлению относящихся сюда мер, и верховенство древнего города над окрестными областями было бесспорно: ведь эти области с их населением были в ходе веков приобретены за хорошие деньги, и документы городского архива по своему правовому значению ни на волосок не отличались от купчих крепостей частных лиц.

Зато исследование вопроса о том, кому должна принадлежать законодательная власть, право изменять конституцию — всем ли гражданам или же правительству, было делом тем более увлекательным, что заниматься им можно было только втайне: ведь на страже был палач со своим остро отточенным корректорским пером. Когда горожанам, которых правители считали одним из самых беспокойных элементов государства, случалось взбунтоваться, палача поспешно убирали, куда буря не уляжется; пройдет она — и он снова выходил на свет божий, словно фигурка из барометра, а правительство снова становилось все тем же мистически отвлеченным, творящим насилie зверем, которого поставил не кто иной, как сам господь бог.

Тем большая страстность и стойкость духа требовались от молодых людей, старавшихся разрешить эти проблемы. Кое-кто из них ударился в суровый пуританизм. Как «дубася по мешку, накласть хотят ослу», так восставали они против роскоши и погони за наслаждениями, но в совершенно ином духе, чем авторы постановлений о борьбе с распущенностью нравов. Не христианское смирение верноподанных государственной власти хотели они воспитать в людях, а добродетели истого республиканца. Отсюда вскоре возникли две партии, состоявшие одна — из людей более терпимых и жизнерадостных, другая — из мрачных аскетов, которые зорко наблюдали за первыми и обличали их. Общество уже исключило из своей среды одного из членов, носившего золотые часы и не пожелавшего расстаться с ними. Другим за слишком роскошный образ жизни выносились порицание, за ними следили. Верховным наставником

был господин профессор Иоганн-Якоб Бодмер<sup>1</sup>, как писатель и реформатор художественного вкуса уже переживший себя, но как гражданин, политический деятель и проповедник нравственности — человек столь мудрый, просвещенный и свободомыслящий, каких всегда было не много, а ныне и совсем не стало. Он отлично знал, что у властей и религиозных фанатиков слывет совратителем юношества; но его слишком уважали, чтобы ему приходилось чего-либо страшиться, а партия молодых ревнителей строгих нравов была его личной почетной стражей.

В это общество Ландольт был принят по рекомендации друзей и еще до начала заседания познакомился с молодым Леем, которому сразу пришелся по сердцу. Но им не удалось поговорить, так как в тот день сам господин профессор Бодмер пожаловал на полчаса, чтобы прочесть молодым людям доклад этического содержания и предложить им, в свою очередь, заняться этим предметом. Ландольт слушал не очень внимательно, его мысли витали в других местах. Время от времени он искоса поглядывал на брата Фигуры, которого, казалось, скука одолевала еще сильнее, и оба облегченно вздохнули, когда обсуждение наконец закончилось.

Но тут-то и наступил критический момент. Люди строгого толка считали делом чести не расходиться сразу, а еще хотя бы полчаса побыть вместе, беседуя на всевозможные темы, тогда как более легкомысленные только о том и думали, как бы поскорей удрать и пображничать где-нибудь в ресторации. В зависимости от того, как беглецов расценивали во всем остальном, их провожали кого презрением, кого негодованием и всех — недобрыми, косыми взглядами.

Уже несколько человек успело улизнуть, когда Мартин Лей, в свою очередь, дернул ни о чем не подозревавшего Ландольта за рукав и шепотом пригласил его распить бутылку хорошего вина. Ландольт охотно вышел с ним вместе, но крайне удивился, когда спутник, увлекая его за собой, поспешно пересек улицу, со всех ног помчался по Каменному переулку, затем через лабиринт извилистых проходов, где ютилась беднота, свернул в темный Львиный переулок, оттуда стрелой, словно преследуемый олень по лесной поляне, пролетел мимо Красного дома в Ослиный переулок,

---

<sup>1</sup> И. Я. Бодмер (1698—1783) — литературный критик и поэт, известный своей полемикой против Готшеда (см. прим. к стр. 246).

обогнул скотобойню, перемахнул через Нижний мост и Винную площадь, опрометью побежал вверх по Тележной улице и Ключевому переулку, миновав Красную гостиницу, во всю прыть проскочил через Аистов переулок и Гребеночный, снова очутившись у реки Лиммат, понесся направо и наконец вошел во внушительное новое здание купеческих гильдий. Запыхавшись от бега и смеха, молодые люди остановились на минуту, чтобы отдышаться, держась за чугунные перила лестницы — это чудо старинного литейного мастерства и поныне еще восхищает глаз. Лей рассказал новому своему другу о положении дел и о том, что неистовая гонка по всему городу имела целью сбить с пути соглядатаев. Ландольт, заклятый враг всякого ханжества, немало забавлялся этой шалостью, тем более что придумал ее брат особы, весьма ему нравившейся, и они в самом веселом расположении духа вошли в ярко освещенный зал ресторации, на стенах которого висело множество шпак и треуголок, принадлежавших посетителям, которые расположились за несколькими большими столами.

Сочные жареные колбаски, слоеные пирожки, мускатное вино и мальвазия — вот те кушанья и напитки, которыми угощалось вновь собравшееся в половинном составе Общество любителей отечественной истории, и все это было точно отмечено соглядатаем, который, принадлежа к партии суровых Катонов, незаметно прокрался вслед за двумя залопытыми беглецами по всем улочкам и переулкам; низко нагнув шляпу на лоб, стоял он у широкой двустворчатой двери, и ни одно блюдо не могло ускользнуть от его рысьих глаз. И все это — перед ужином, ожидавшим их дома, и после того, как они прослушали доклад великого своего наставника Бодмера «О необходимости самообуздания как основе свободной гражданственности»!

Но это обстоятельство отнюдь не мешало молодым эпикурейцам наслаждаться вкусной трапезой; дружба, эта чисто мужская добродетель, и тут отпраздновала торжество, так как Мартин Лей заключил с Соломоном Ландольтом сердечный союз на всю жизнь, не подозревая о том, что Ландольт имеет виды на его сестру и вдобавок — человек весьма умеренный, мало дорожащий чревоугодием как таковым.

Последствия этой шалости недолго заставили себя ждать. Без ведома Бодмера ревнители строгой нравственности немедля взялись за работу и не погнушались обратиться с тайным доносом к той самой государственной власти, гнет

которой они намеревались облегчить. Дело было в секретном порядке направлено в учреждение, призванное блюсти чистоту нравов, — в реформационную палату. Но поскольку виновные принадлежали к именитым семьям города и вдобавок были люди весьма одаренные, решено было ограничиться краткими устными увещаниями, причем на каждого из достопочтенных членов реформационной палаты была возложена обязанность келейно, без огласки, образумить мудрыми речами одного-двух из числа согрешивших.

Как и следовало ожидать, советнику Лею были препоручены его собственный племянник и ближайший сообщник последнего, Соломон Ландольт. Когда этот молодой человек получил от господина члена палаты приглашение отобедать у него в ближайшее воскресенье, ровно в полдень, он уже был осведомлен племянником о подоплеке дела. Гадая, что произойдет, шел он по городу, совершенно безлюдному, так как жители из-за суровых предписаний о воскресном покое старались не выходить из дому. Только несомые слугами увесистые корзины с паштетами плавно двигались, словно мощные голландские военные суда, по пустынным улицам, площадям и мостам. За одним из этих кораблей, кормчего которого он знал, Соломон следовал в некотором отдалении, все более и более тревожась, так как он и надеялся увидеть Фигуру Лей и вместе с тем боялся получить выговор в ее присутствии.

— Вас, сударь, ждет грозная проповедь! — крикнула она ему в коридоре, как только он вошел. — Но утешьтесь! Я тоже нарушила постановление, поглядите-ка!

Она грациозно встала перед Ландольтом, и он увидел на ней плотно облегавшее стан шелковое платье, дорогие кружева, алмазное ожерелье.

— Я поступила так, — продолжала она, — чтобы вам обоим не пришлось конфузиться передо мной, когда вы явитесь к столу после взбучки! До свиданья! — С этими словами она исчезла так же внезапно, как появилась. Действительно, постановлением реформационной палаты женщинам было запрещено носить все то, чем украсила себя Фигура.

Вскоре Соломона Ландольта ввели в кабинет господина члена реформационной палаты, где он застал Мартина Лея, который, смеясь, пожал ему руку.

— Господа! — начал дядюшка, после того как молодые люди, став рядом, приготовились слушать. — Я хочу просить вас внимательно рассмотреть известное вам дело о

двух точек зрения. Во-первых, нездорово в неположенное время, перед ужином, вкушать лакомые яства и напитки, в особенности южные вина, и таким образом привыкать к чревоугодию. Особенно же должны остерегаться подобных излишеств молодые офицеры, так как из-за них мужчины раньше времени становятся тучными и негодными к военной службе. Во-вторых, если уж без этого никак не обойтись и вам, господа, нужно подкрепиться, то, на мой взгляд, недостойно молодых горожан и офицеров уходить крадучись и сломя голову нестись по бесчисленным темным закоулкам. Нет, без многословных извинений, без страха делают настоящие холостяки то, за что они считают возможным ответить перед самими собой! А теперь — скорее за стол, не то суп простынет!

Фигура Лей ожидала мужчин в столовой, с забавной важностью изображая хозяйку дома, так как дядюшка был вдов. Он с изумлением взглянул на ее роскошный наряд, а она тотчас объяснила ему, что намеренно нарушила закон, не желая, чтобы бедный ее братец оказался в одиночестве у позорного столба. Член совета от души посмеялся этой забавной выдумке, а Фигура тем временем палила Ландольту супа вровень с краями тарелки, что вызвало с его стороны возражения.

— Неужели увещание сразу подействовало? — спросила она, бросив молодому человеку лукавый взгляд.

Но теперь и в нем проснулась веселость, и он показал себя таким находчивым и занимательным, сыпал такими удачными остротами, что Фигура то и дело заливалась серебристым смехом и, вся обратясь в слух, не успевала отвечать на его шутки. Только член палаты время от времени сменял Ландольта, принимаясь рассказывать накопившиеся в его памяти за долгие годы службы занимательные эпизоды, главным образом — характерные происшествия из жизни чиновников и ограниченного, но всегда кипящего страстями круга деятельности духовенства. Показывал он на забавных примерах и глубокое влияние почтенных супругов на правительственные и церковные дела; видно было, что член реформационной палаты часто перечитывал Вольтера.

— Господин Ландольт! — горячо воскликнула Фигура Лей. — Ни вы, ни я — мы никогда не вступим в брак, чтобы нас не постиг такой позор! Давайте обещаем это друг другу!

И она протянула ему руку, которую Соломон быстро схватил и пожал.



— Значит, решено! — сказал он смеясь, но взволнованно; ведь у него на уме было как раз обратное, и слова прелестной девушки он принял за некое скрытое признание или поощрение. Член палаты тоже засмеялся, но тотчас помрачнел, так как загудели колокола, возвещая, что скоро начнется послеобеденная проповедь.

— Уж эти мне постановления, — воскликнул он с досадой.

Дело было в том, что реформационная палата запретила гражданам засиживаться за семейной трапезой после начала богослужения, а обедающие только теперь спохватились, что уже два часа пополудни. Они тоскливо оглядели все еще обильно уставленный яствами, красиво накрытый стол; Мартин, племянник, торопливо откупорил еще бутылку десертного вина, а член реформационной палаты поспешил к себе, чтобы облачиться в установленный для посещения службы наряд, так как высокое положение и традиция обязывали его отправиться в собор. Вскоре он воротился, одетый в черную мантию, с огромным, в виде жернова, белым воротником на шее и с остроконечной шапкой на голове. Он хотел только наспех допить свой бокал. Но тут Ландольт принялся рассказывать какую-то новую занятную историю, разговор опять оживился и оборвался, лишь когда замер давно уже плывший над городом густой колокольный звон и внезапно наступила полная тишина.

— Теперь уже поздно, Мартин! Налей-ка нам всем вина! — смущенно молвил дядюшка. — Придется нам тихонечко сидеть тут, покуда не истечет срок!

Тут Фигура Лей, захлопав в ладоши, весело вскричала:

— Теперь все мы преступники, да еще какие! Давайте чокнемся по этому случаю!

Когда она с улыбкой подняла граненый наполненный янтарной влагой бокал, луч предвечернего солнца на миг озарил не только бокал и кольца на руке девушки, но и ее золотистые волосы, рдевшие нежным румянцем щеки, пурпурный ротик, алмазы ожерелья — и Фигура минуту-другую стояла, как бы осиянная нимбом, словно сошедший с небес ангел, совершающий некое таинство. Даже легкомысленный братец — и тот был поражен этим чудесным зрелищем и охотно обнял бы светозарную сестру, если бы он не боялся этим рассеять волшебное видение; дядюшка тоже благоклонно взглянул на девушку и подавил вздох, вызванный невольным опасением за ее судьбу.

Спустя часок, когда стало вечереть, член совета предложил обоим юношам погулять по городскому бульвару, в тенистых аллеях, проложенных между Стрелковой площадью и двумя огибающими ее реками.

— Там, — сказал он, — окруженный друзьями и учениками, прогуливается сейчас благородный Бодмер, произнося превосходнейшие речи, слушать которые весьма полезно. Если мы присоединимся к нему, то полностью восстановим нашу репутацию; а Фигура встретится там с подругами своих воскресных досугов: они, как правило, совершают прогулку по тем же местам, прежде чем полакомиться засахаренными вишнями, которыми с невинным видом угощают друг друга.

Молодые люди охотно последовали за дядюшкой на бульвар, где, по аллеям, не смешиваясь друг с другом, степенно расхаживало несколько компаний. Там в самом деле оказался и Бодмер со своей свитой; во время прогулки он обсуждал различие между идеалом и действительностью, между республикой Платона и городскими республиками Швейцарии, попутно касаясь самых различных вещей и недвусмысленными намеками указывая на всевозможные недостатки и недостатки.

Учтиво обменявшись приветствиями, господин Лей, его племянник и Ландольт присоединились к спутникам Бодмера и продолжали прогулку вместе с ними; Ландольт, человек живого нрава, к тому же не расположенный внимательно слушать, вскоре на несколько шагов опередил всех остальных, а Бодмер тем временем перешел к теме общественного воспитания, основанного на определенных государственных началах.

Впереди группы молодых девиц, только что свернувшей с боковой аллеи на главную, столь же стремительным шагом шла Фигура Лей. Ландольт почтительнейше поклонился, и все мужчины, следовавшие за ним, также сняли треуголки и отвесили такие глубокие поклоны, что прицепленные у всех шпаги разом дернулись концами кверху. Фигура, в свою очередь, присела весьма церемонно, с неподражаемым достоинством, и столь же низко, по ее примеру, присели девицы, шедшие за ней, — их было около двадцати.

Когда Бодмер критиковал одно из педагогических сочинений Базедова, женская процессия, шедшая теперь в прямом направлении, опять поравнялась с ним и его свитой,

и последовал тот же обмен приветствиями, — на этот раз затянувшийся еще дольше, покуда не прошли все девы.

Последующие рассуждения Бодмера о пользе театра, в которые он искусно вплел намеки на свои собственные драматургические опыты, снова были прерваны тем же церемониальным прохождением, и снова конца не было махания шляпами и отвешиванию поклонов, так что почтительный старец уже готов был рассердиться.

По правде сказать, вина в известной мере лежала на Соломоне Ландольте; стрелок и военный, он ни на минуту не терял из виду движений вражеского отряда и умел, неприметно для господ ученых, направлять их шаги к тем аллеям, где эти повторные встречи были неизбежны. Что до Фигуры, она всякий раз так своевременно и удачно вводила в действие свои нескончаемые приседания, что он не жалел о затраченных усилиях, а когда этот день кончился, считал его самым прекрасным из всех, какие ему довелось пережить.

Отныне проказница завладела всеми помыслами Ландольта. Но безмятежной ясности духа, не оставлявшей его в пору увлечения Саломеей, теперь и в помине не было. Стоило ему не видеть Фигуру Лей некоторое время, и уже в нем зарождались тревога и опасение, что ему придется прожить жизнь без нее. Да и ей он как будто полюбился: она всячески содействовала его стараниям почаще встречаться с ней и обращалась с ним как с хорошим товарищем, всегда готовым вместе с ней сыграть забавную шутку и разделить ее милую веселость. Сотни раз клала она руку ему на плечо или даже обнимала его за шею; но как только он пытался ласково завладеть рукой девушки, она поспешно отдергивала ее, а уж если он осмеливался вымолвить словечко понежнее или украдкой бросить ей красноречивый взгляд, — давала ему отпор ледяным невниманием. Иной раз из-за каких-нибудь пустяков она язвила его насмешливыми словами, которые он сносил молча, не замечая в своем смущении, что при этом она поглядывает на него с участием и лаской.

Брат и дядюшка не могли не видеть этих странных отношений, но предоставляли молодым людям свободу и рассматривали своевольные замашки девушки как нечто, что нельзя изменить, тем более что они знали Соломона Ландольта за человека глубоко порядочного и честного.

Но пришел день, когда положение определилось. В самом начале лета писатель Соломон Геснер<sup>1</sup> поселился в загородном доме, стоявшем посреди Зильского леса, главным смотрителем которого он был назначен по воле своих сограждан. Выполнял ли он на самом деле свои служебные обязанности — это сейчас вряд ли возможно установить. Несомненно одно — что в том летнем доме он писал свои сочинения, рисовал и весело проводил время с друзьями, часто его навещавшими. Этот новоявленный премудрый Соломон, столь часто упоминаемый в истории Гельветии, тогда был в расцвете лет и своей уже широко распространившейся славой; то, что в ней было заслуженного и справедливого, он нес с непритязательностью и любезностью, присущими только тем, кто подлинно чего-нибудь стоит. Идиллии Геснера — отнюдь не слабое и бессодержательное сочинительство; для своего времени, шагнуть за пределы которого не дано никому, кто не титан, они представляют небольшие по объему и законченные по стилю произведения искусства. Теперь мы едва удостоиваем их беглого внимания и не думаем о том, как лет через пятьдесят будут расценивать все то, что ежедневно появляется на свет сейчас.

Как бы там ни было, этого человека, когда он жил в своей лесной обители, окружала атмосфера искусства и поэзии; его разносторонняя кипучая деятельность в соединении с задумчивым юмором всегда вызывала в окружающих светлую радость. Гравюры его работы, как и те, что по его рисункам вырезали на меди Цинг и Кольбе, через сто лет будут в невиданном спросе для кабинетов эстампов, а сейчас мы сбываем их друг другу за несколько мелких монеток.

Будучи пайщиком фарфорового завода, Геснер, не долго думая, решил сам заняться художественной разрисовкой посуды, а несколько поупражнявшись, взялся разукрасить большой чайный сервиз, что ему и удалось в совершенстве. Прелестное произведение искусства решено было обновить в Зильском лесу; на скромное празднество пригласили друзей и подруг: стол был накрыт на берегу реки под могучими кленами, позади которых на яркой синеве неба вырисовывались густо поросшие лесом зеленые склоны гор. На ослепительно белой узорчатой скатерти были расставлены

---

<sup>1</sup> Соломон Геснер (1730—1788) — швейцарский писатель и художник, автор сентиментальных «Идиллий», которые он иллюстрировал собственными гравюрами.

кувшинны, чашки, тарелки и блюда, покрытые множеством мелких и более крупных рисунков; каждый из них представлял собой творение фантазии, идиллию, иллюстрацию какого-нибудь изречения, и прелесть их заключалась в том, что все это — нимфы, сатиры, пастухи, дети, пейзажи, букеты цветов — все было создано легкой, уверенной кистью и находилось на своем месте, во всем чувствовалась рука тешащегося своим вымыслом художника, а не разрисовщика, работающего по шаблону.

Празднично убранный стол рябили световые блики; падая сквозь кружевную листву кленов, они весело плясали при тихом дуновении востерка, шевелившего ветки; казалось, отблески света исполняют некий изящный и торжественный менуэт.

Геснер сидел за столом, поглощенный созерцанием этой игры, когда подкатила первая коляска с приглашенными. В ней сжали премудрый Бодмер — цюрихский Цицерон, как любил называть его Зульцер, — и каноник Брейтингер, в былые годы вместе с Бодмером воевавший против Готшеда<sup>1</sup>. Они занимали задние сиденья, так как везли с собой почтенных своих супругов.

В колясках, следовавших за первой, разместились другие учены и друзья; все они изъяснялись на некоем чрезвычайно остроумном и бойком жаргоне, с примесью литературной изысканности и гельветической простоты или, если угодно, старобытного бюргерского самодовольства.

В самом последнем экипаже ехали молодые девушки, в числе которых находилась и Фигура Лей; его верхом на конях сопровождали Мартин Лей и Соломон Ландольт.

Все эти сановные и благообразные люди вскоре наполнили лужайку под деревьями радостным оживлением; разрисованный фарфор внимательно разглядывали, не скупясь на похвалы; а спустя немного времени Соломон Геснер представил вместе с Фигурой Лей небольшую сценку — как пастушка преподает танцевальное искусство простецу пастушку, изобразив это так естественно и забавно, что всех обуяло шумное веселье, и миловидной госпоже Геснер (в девичестве — Хейдегер) стоило немалого труда наконец усадить гостей и приступить к угощению.

---

<sup>1</sup> Готшед И.-К. (1700—1766) — немецкий просветитель, сторонник классицизма.

Тему для завязавшейся во время трапезы более спокойной беседы доставил один из тех энтузиастов, которые неизменно вытаскивают наружу все личное. Он уже успел, быть может не без содействия почтеннейшей супруги Геснера, проведать о самых последних событиях жизни поэта. Из Парижа было получено несколько писем. Руссо необычайно лестно писал о Геснере его переводчику господину Губеру и сообщил, что не растает с его произведениями. А Дидро — тот даже выразил желание, чтобы некоторые из его новелл были изданы вместе с последними идилиями Геснера, в одном томе. Что Руссо восторгался идеальным естественным состоянием мира, изображенного в идилиях, это, в сущности, не представлялось удивительным; но то обстоятельство, что великий реалист и энциклопедист домогался удовольствия предстать читателю рука об руку с простодушным автором идилий, было сочтено наиважнейшим дополнением к выраженным в письме похвалам и, к немалой досаде Геснера, явилось поводом для бескончаемых разговоров. А это опять-таки настолько вывело из равновесия Цицерона — Бодмера, что в нем одержало верх безрассудство, присущее даже мудрейшим из людей: ни с чем не считаясь, он вздумал напомнить присутствующим о своем собственном поэтическом таланте. С грустью повествовал Бодмер, как в былые времена он, старший годами, будучи связан восторженной дружбой с молодым Виландом, состязался с восходящим юным светилом в стихотворных опытах на многие священные темы; где теперь эти, столь благородные, радости?

Скрестив сухощавые ноги, откинувшись на спинку стула, живописно задрапировавшись из-за лесной прохлады в легкий серый плащ, Бодмер с многословной меланхолией предавался воспоминаниям о скорбных испытаниях тех дней, когда один вслед за другим оба ангелоподобных юноши, Клопшток и Виланд, которых он в свое время призвал в Цюрих, столь постыдно обманули и презрели его священную отеческую дружбу и братскую поэтическую любовь; один — тем, что пристал к компании молодых гуляк и, вместо того чтобы работать над поэмой о Мессии, впал в ужасающую суетность; другой — тем, что, все больше и больше предаваясь общению со всевозможными женщинами, в конце концов стал, по мнению Бодмера, самым легкомысленными фривольным рифмоплетом, какой только жил на свете, и он, Бодмер, должен был трудиться до изнеможения, созидая из

пеиссякаемого потока грозных гекзаметров свои почтенные «патриархиды», дабы этим заглушить свои огорчения и стыд. Затронув эту тему, он тотчас упомянул «Испытание Авраама», «Возвращение Иакова из Храма», «Ноахиду», «Потоп» и все прочие памятники своей неустанной деятельности и продекламировал из них множество эффектных мест.

В этот долгий рассказ он вилел и некоторые достойные порицания новости, извлеченные из его обширнейшей корреспонденции, например, сообщение, что в Данциге городской совет запретил молодым горожанам, приверженным поэзии, пользоваться гекзаметром, так как счел этот размер непристойным для воспевания событий гражданской жизни и располагающим к возмущению.

Затем, с лукавой усмешкой предупредив, что это случай, характерный для современной дружбы, он рассказал о том, как он доверительно сообщил одному пастору, своему другу, о появлении дрянной, враждебной ему, Бодмеру, шутовской поэмы, озаглавленной «Бодмериада»; как этот друг негодовал по поводу того, что кто-то осмеливается столь мерзостным и бесчестным способом отравлять удовольствие, доставляемое бессмертными творениями Бодмера, и выразил надежду, что ни один порядочный человек не станет читать такие пасквили, — и как, однако, падкий на новизну священник в заключение спросил, не может ли он по дружбе на один день достать ему эту «Бодмериаду», потому что преодоленная досада, без сомнения, удвоит наслаждение от столь прекрасных стихов.

Слушатели весело усмехались при мысли о любопытствующем пасторе, имя которого они угадали. А Бодмер, все более горячась, весь подался вперед, так что плащ соскользнул на бедра, и, уподобившись, таким образом, римскому сенатору, воскликнул:

— За это он лишится упоминания, которым я хотел было почтить его в новом издании «Ноахиды»; ибо он показал себя недостаточно благородным, чтобы, ведомый мною, войти в грядущие века!

Тут он начал перечислять, кого из друзей, доказавших свою преданность, он уже почтил такими упоминаниями в своих поэмах и кому еще намерен оказать эту честь, притом, смотря по значению данного лица, в трудах большего или меньшего объема, большим или меньшим числом стихов.

Испытующим взором обвел он присутствующих, и все потупились, одни — краснея, другие — бледнея, ибо казалось — он производит решающий смотр.

Постепенно его волнение утихло, он снова откинулся назад и, вспоминая минувшее, кротким голосом, возведя глаза к зеленеющим склонам гор, сказал:

— Ах, где то золотое время, когда юный мой Вилацд, сочиняя введение к нашим песнопениям, закончил его словами: «Более всего обязаны мы божественной нашей религии, если по нравственному благородству наших стихов стоим несколько выше Гомера!»

В ту минуту, когда Бодмер снова глянул вниз, он увидел картину настолько странную, что проворно вскочил и строгим голосом воскликнул:

— Что эта дурочка вытворяет?

А случилось следующее: Соломон Ландольт все это время один прогуливался несколько в стороне, под сенью деревьев, раздумывая о своих сердечных делах и взвешивая, не предпринять ли ему в этот день нечто решающее? В те годы он носил волосы забранными в сетку, украшенную пышным бантом. Фигура Лей успела раздобыть в доме Геснера маленькое карманное зеркальце и круглое, ручное. Первое она сумела, сделав вид, что расправляет бант на прическе Ландольта, незаметно прикрепить к ней, а он, не подозревая об этом, продолжал спокойно расхаживать взад и вперед. Фигура же, неслышно для него ступая по мшистой земле, танцующим шагом, будто в некоей пантомиме, следовала за ним, легкая и прелестная, словно одна из граций, и разыгрывала очаровательную сценку, попеременно глядясь то в зеркальце, красовавшееся на спине Ландольта, то в свое ручное, а порою, шествуя все той же ритмичной поступью, поворачивала ручное зеркальце и гибкий свой стан так, что видно было — она любит себя со всех сторон одновременно.

С быстротою молнии у пронизательного, умного старика возникло подозрение, что шаловливая юность изображает тщеславное самолюбование и, толкуя в этом смысле произнесенные им здесь речи, передразнивает его самого. Все повернули головы в ту сторону, куда он указывал длинным костлявым пальцем, и тешились забавным зрелищем, покуда сам Ландольт не насторожился, не обернулся в изумлении и не поймал Фигуру на том, как она проворно снимала зеркальце с его спины.



— Что это означает? — тихим, кротким голосом спросил старик профессор, успевший овладеть собой. — Уж не хочет ли юность высмеять болтливую старость?

Чего, в сущности, хотела Фигура, так и осталось невыясненным; доподлинно известно только одно, что она стояла крайне смущенная и уже испытывала раскаяние; в страхе она указала на Ландольта и сказала:

— Разве вы не видите, что я только хотела подшутить над этим господином?

Соломон Ландольт изменился в лице, неожиданно увидев себя предметом насмешки; в то же время и остальному обществу стал понятен двусмысленный характер этого зрелища, и наступило неловкое молчание.

Но тут вмешался Соломон Геснер; проворно завладев ручным зеркальцем, он воскликнул:

— О высмеивании не может быть и речи! Эта милая девушка хотела изобразить, как истина шествует за добродетелью, которую, надеюсь, никто не станет отрицать за нашим Ландольтом! И все же лицедейка наша виновна, так как истина должна существовать только ради себя самой и ни в чем не зависеть ни от добродетели, ни от порока. Посмотрим, не удастся ли мне передать это лучше, нежели ей!

С этими словами Геснер схватил прозрачную шаль сидевшей рядом с ним дамы, обернул ее вокруг бедер, словно был обнажен на античный лад, и с зеркальцем в руке взошел, как на пьедестал, на большой камень; приняв вычурную позу, слащаво улыбаясь, он так комично изобразил статую надменно-величавой истины, что смех и веселье тотчас воцарились вновь.

Одни только Соломон Ландольт остался мрачен; незаметно удалившись, он пошел по уединенной лесной тропинке, намереваясь собраться с мыслями, чтобы выпутаться из этой истории без ущерба для собственного достоинства. Но не успел он далеко уйти, как Фигура Лей, внезапно появившись возле него, взяла его под руку.

— Вы разрешите мне прогуляться с вами, сударь? — шепотом спросила она и легкими шагами пошла рядом с Ландольтом, хранившим молчание, но все же крепко прижимавшим ее руку к себе. Когда они поднялись на пригорок, где ничей глаз уже не мог их увидеть, Фигура остановилась и сказала:

— Я должна наконец поговорить с вами, иначе я неминуемо погибну. Но сперва — вот это!

Она обеими руками обвила шею Ландольта и крепко его поцеловала. Но когда он хотел ответить ей тем же, она с силой оттолкнула его.

— Это означает, — продолжала она, — что я вас люблю и знаю, что и вы меня любите! А теперь надо сказать: аминь! Конечно, аминь! Знайте: когда моя матушка лежала на смертном одре, за минуту до того, как она испустила дух, я свято обещала ей, что никогда не выйду замуж. Это обещание я хочу и должна сдержать! Она была душевно-больная, сначала страдала меланхолией, потом стало еще хуже, и только перед самой смертью наступило краткое просветление, и она поговорила со мной. Этот недуг у нас в семье появляется то здесь, то там; прежде он, как правило, миновал одно поколение, но моя бабушка страдала им, потом мать, а теперь боятся, что он поразит и меня!

Она бросилась наземь, закрыла лицо руками и горько заплакала.

Ландольт, глубоко потрясенный, опустился на колени рядом с девушкой, ловя ее руки и пытаясь успокоить ее. Он искал слов, чтобы выразить ей свою признательность, свои чувства, но ничего не мог придумать, кроме отрывочных: «Смелее, мы с этим справимся!..», «Ну, вот еще, ничего не случится...» и тому подобное.

Но она с ужасающей твердостью воскликнула:

— Нет, нет! Я и сейчас потому лишь так дурачусь и проказничаю, что хочу этим отпугнуть лютую тоску, которая словно ночной призрак стережет меня, я это чувствую!

В те времена в нашем крае еще не существовало особых заведений для таких больных; умалишенных, если они не буйствовали, оставляли в их семьях, и они долго жили в памяти близких людей как несчастные создания, одержимые демоном.

Плачущая девушка поднялась с земли скорее, чем Ландольт того ожидал; тщательно утерев лицо, она с инстинктивной поспешностью отогнала от себя печаль.

— Довольно! — воскликнула она. — Теперь вы знаете все! Вам надо жепиться на хорошей, красивой девушке поумнее меня! Тише, молчите! Поставим точку!

Ландольт не пашелся, что ответить; он все еще был расстроган и потрясен грозным предостережением судьбы — и вместе с тем проникся спокойной уверенностью в счастье, от которого твердо решил не отказываться. Они еще погуляли вместе, пока все следы волнения не изгладились на

прекрасном лице Фигуры, а затем вернулись в круг гостей.

Там среди людей помоложе уже начались танцы, благо господин Геснер распорядился позвать нескольких сельских музыкантов. Но когда появилась Фигура, отходчивый Бодмер сам пригласил ее протанцевать с ним тур, чтобы все воочию убедились, какой он еще молодец. Затем она, столько раз, сколько было возможно, не вызывая пересудов, танцевала с Ландольтом, шепнув ему, что этот день должен быть последним днем их близости, — ведь она не знает, когда ее отзовут в неведомую страну, где скитаются тени.

На обратном пути в город он ехал верхом подле коляски, где сидела Фигура. Бойкий язычок девушки не умолкал ни на минуту. Проезжая под вишневым деревом, отягощенным ягодами, Ландольт быстро отломил ветвь, усеянную красными, как кораллы, вишнями и бросил ее девушке на колени.

— Благодарю вас! — ответила она и потом в продолжение тридцати лет бережно хранила ветку с засохшими ягодами; ибо Фигура осталась совершенно здоровой, жестокий рок пощадил ее. И все же она упорствовала в своем решении. Брат ее Мартин, к которому Соломон на другой день явился чуть свет, чтобы поговорить с ним, подтвердил ее признание и сказал, что у них в роду этот недуг издавна считается неотвратимым и по преимуществу поражает женщин. Никто, уверял Мартин, не был бы для него столь желанным шурином, как Ландольт; но он сам вынужден просить его, ради спокойствия и ясности духа сестры, до того времени сравнительно благополучной, отказаться от всяких дальнейших попыток.

Ландольт не сразу примирился с этим; он молча выжидал несколько лет, но положение нимало не изменилось. Бодрость духа он сохранял лишь благодаря тому, что всякий раз как он, после положенного длительного промежутка, снова встречался с Фигурой Лей, ее глаза неизменно давали ему понять: для нее он самый лучший и близкий друг.

## КАПИТАН

Целых семь лет Соломон провел, совершенно не думая о женщинах. Один только Паяц — так прозвал он Фигуру Лей — все еще жил в его сердце. Но в конце концов с ним снова приключилась любовная история,

В ту пору в Цюрихе, возвратясь из Голландии, где он служил в наемных швейцарских войсках, поселился отставной капитан, некто Гиммель, с единственной дочерью; жена его, родом голландка, давно умерла; жил он на маленькое состояньице да на свою пенсию, причем почти все тратил на себя одного.

Капитан был завзятый пьяница и драчун, а вдобавок вообразил себя отменным фехтовальщиком. Человек пожилой, он, однако, всегда водился с молодежью, буянил и затевал скандалы. Оказавшись однажды в одной с ним компании, Ландольт был настолько возмущен его бахвальством, что принял брошенный им вызов и отправился вместе со всеми остальными в дом Гиммеля, содержавшего фехтовальный зал. Там Ландольт рассчитывал, хотя старый рубака и носил кожаный панцирь, раз-другой пребольно ткнуть его в бок — ведь сам он превосходно владел шпагой и еще мальчиком в Бюльфлингенском замке, а затем в военной школе в Меце и Париже усердно упражнялся в этом искусстве.

Действительно, зал вскоре огласился шумом шагов и прыжков фехтующих и лязгом оружия; мало-помалу Ландольт стал так жестоко теснить бахвальщика, что тот даже запыхтел; но вдруг противник капитана опустил шпагу и, словно замороженный, уставился на только что открывшуюся дверь, в которой, держа в руках поднос с водочными рюмками, появилась дочь Гиммеля, прекрасная Вендельгард.

Ее и впрямь можно было назвать чарующим видением. Одета она была словно и не по средствам, высокий, стройный стан облегал тяжелые шелка, но роскошь наряда затмевалась редкостной красотой всего ее облика. Лицо, шея, руки, плечи — все было ровной, ослепительной белизны, будто паросский мрамор облекли одеждой. Вообразите еще пышные рыжеватые волосы, шелковистые пряди которых ниспадали волнами; большие темно-синие глаза и прелестный рот, казалось, выражали какой-то немой вопрос, быть может — даже затаенную тревогу, хотя и не вызванную усилением мысли.

Красавица обвела глазами комнату, ища, где бы поставить поднос, и капитан, обрадованный столь желанным отвлечением, указал дочери на подоконник. Молодые люди приветствовали ее с той учтивостью, на которую такое прекрасное существо имеет право при любых обстоятельствах. Она удалилась, поклонившись с обворожительной улыбкой, на миг озарившей сосредоточенное лицо; при этом она

украдкой бросила робкий взгляд на изумленного Соломона, которого впервые видела в доме. Что до папаша, он принес превосходнейшую голландскую водку нескольких сортов и так радушно угощал ею, что все и думать забыли о продолжении схватки. Да и сам Ландольт уже не помышлял о том, чтобы поранить капитана Гиммеля, который мгновенно превратился для него в чародея, владеющего несметными сокровищами и способного мановением руки сделать человека счастливым или несчастным. Не задумываясь принял он, по предложению Гиммеля, участие в катанье по озеру, которое закончилось пирушкой в знаменитом винном погребеке, и как ни были непривычны ему шумные повадки старого хвастуна — теперь он в отношении его был сама снисходительность и терпимость.

От избытка сердца глаголят уста, за одной вестью приходит другая. Чтобы хоть что-нибудь услышать о прекрасной Вендельгард, Ландольт отныне с большим лукавством, но словно невзначай и прикидываясь равнодушным, заводил о ней речь везде и повсюду; а как раз в то время она, особа прежде малоизвестная в городе, заставила говорить о себе с тем легкомыслием, с которым, по слухам, наделала долгов на изрядную сумму, что привело к неслыханным последствиям: молодая девушка, дочь цюрихского гражданина, очутилась на краю позорнейшего банкротства, ибо отец — так говорили в городе — отказывался хоть что-нибудь платить по долгам, сделанным без его ведома, и угрожал назойливым кредиторам избиением, а дочери — изгнанием из родного дома.

Судя по всему, дело обстояло так: дочь, ведавшая домашним хозяйством и не получавшая на это от капитана никаких средств, поневоле начала забирать в долг и с течением времени стала все чаще и чаще прибегать к этому спасительному средству. Здесь в известной мере сказались неопытность девушки, отсутствие материнского попечения и некоторое, иногда свойственное таким писаным красавицам, простодушие, не говоря уже о том, что хвастуна отца она считала человеком весьма состоятельным.

Как бы то ни было, в городе только и было разговору, что о ней; женщины, всплескивая руками, заявляли, что раз уж такое творится, — значит, светопреставление близко; мужчины постарше ограничивались предсказаниями о гибели государства; девушки украдкой шушукались и рисовали себе несчастную самыми мрачными красками; молодые люди

отпускали вольные, а порою и непристойные шуточки, но опасливо держались подалше от жилья капитана и даже от той улицы, где оно находилось; пострадавшие купцы и лавочники без усталы бегали по судам, предъявляя иски.

Один только Соломон Ландольт с удвоенной нежностью вспоминал оплакивающую свои долги Вендельгард. Проникнутый жгучей жалостью, он томился неодолимой тоской по прекрасной грешнице и мысленно видел ее не в чистилище ее мучений, а в цветущем, благоуханном саду, замкнутом золотой решеткой. Не в силах долше противостоять страстному желанию увидеть Вендельгард и помочь ей, он однажды вечером, выждав, покуда капитан прочно обосновался в трактире, с внезапной решимостью подошел к дому, где жила красавица, и сильно дернул колокольчик. Служанке, выглянувшей из окна и спросившей, что ему угодно, он сурово ответил, что прислан из городского суда и должен переговорить с барышней, а этот предлог он выбрал, чтобы тем самым сразу пресечь всякие праздные пересуды и кривотолки. Правда, он этим сильно перепугал несчастную девушку: вся побледнев, вышла она ему навстречу, а узнав его, тотчас залилась краской. Несказанно смущенная, она дрожащим голосом, в котором явственно слышались страх и испуг, попросила его присесть; ибо она была так одинока и заброшена, что совершенно не представляла себе хода судебных дел и воображала, будто ее тотчас отведут в тюрьму.

Но едва Ландольт уселся, как они поменялись ролями, и теперь он стал, в свою очередь, с трудом подыскивать слова для задуманного им сообщения; ведь прекрасная несчастливица казалась ему более высокородной и знатной, нежели король Франции, которому как-никак, когда он покупал у швейцарцев их кровь, приходилось называть их «мои дорогие друзья». Наконец с таким видом, будто он домогался ее покровительства, Ландольт рассказал, что именно привело его к ней; все возраставшее наслаждение, которое он при этом испытывал, глядя на нее, придадо ему храбрости, и он сумел спокойно объяснить ей, что, ознакомившись в качестве члена городского суда с ее прискорбным делом, пришел обсудить с ней положение и найти способ все это уладить. А поэтому пусть она без утайки сообщит ему, какой суммы достигают те обязательства, которые она взяла на себя, и какого они свойства.

С облегчением вздохнув и, как в тот первый раз, бросив на него испытующий взгляд, Вендельгард побежала за

коробкой, куда давно уже, ни разу больше не взглянув на них, сложила все полученные ею счета, напоминания и судебные повестки. Снова вздохнув и с краской стыда на лице потупив глаза, она выложила весь ворох бумаг на стол, откинувшись на спинку кресла, заслонила лицо пустой коробкой и, отвернувшись, тихо заплакала.

Растроганный и обрадованный тем, что может так действительно ее утешить, Ландольт забрал коробку у девушки, бережно взял ее за руки и попросил приободриться. Затем он принялся просматривать бумаги, а когда ему требовалось какое-нибудь разъяснение, спрашивал ее таким веселым, внушающим доверие голосом, что ей легко было отвечать ему. Тут же вытащил он маленький альбом, который всегда носил при себе, заполняя его беглыми зарисовками лошадей, собак, деревьев, облаков. Разыскав неизмаранный лист, он вписал туда перечень и сумму долгов бедняжки Вендельгард. В основном она была должна купцам за нарядные платья и прочие женские уборы, да еще за кое-какую изящную мебель; попадались и счета за сласти, но в скромных размерах, и в целом долги не достигали той баснословной цифры, которую пазывала молва. Однако общая сумма все же составляла около тысячи гульденов цюрихского чекана, и должница не имела никакой возможности раздобыть эти деньги.

Но Ландольт был так заворожен, что, когда он тщательно спрятал альбом в нагрудный карман, список долгов очаровательной Вендельгард показался ему предметом едва ли не более приятным, ценным и желанным, нежели опись приданого богатой невесты; ему было дорого все, что там было перечислено: платья, кружева, шляпы, перья, веера и перчатки; даже перечисление сластей — и то возбудило в нем лишь желание когда-нибудь самому угощать этого прелестного взрослого ребенка подобными лакомствами.

Когда он, прощаясь, обещал вскоре снова дать знать о себе, в глазах Вендельгард выразилось сомнение: ей было неясно, как все сложится в дальнейшем. Тем не менее она повеселела и, глядя на Ландольта с доверием и благодарностью, сама посветила ему до крыльца, где, ласково пролепетав: «Доброй ночи!», совершенно покорила этим члена городского суда. Медленно, поглощенная, быть может, впервые в жизни размышлениями, снова поднялась она к себе наверх и, уж во всяком случае, впервые за долгое время усну-

да так сладко и крепко, что не слыхала, как с шумом и грохотом вернулся домой капитан.

Зато Ландольт в эту ночь совсем почти не спал, раздумывая обо всем происшедшем, пока в многочисленных куртичниках города не запели петухи.

Поскольку Соломон Ландольт еще жил у родителей и зависел от них, самое большее, что он мог сделать, было достать часть потребной для спасения Вендельгард суммы: ведь его вмешательство должно было остаться втайне, если он не хотел с самого начала еще более затруднить себе следующий брачный союз с пленительным чудом легкомыслия. Но у него была богатая бабушка, любившая его больше всех других внуков, неизменно выручавшая его из всевозможных денежных невзгод и находившая удовольствие в том, чтобы делать это втихомолку. У старухи была та особенность, что она сильно раздражалась, когда заходила речь о возможной женитьбе внука, так как считала, что в браке Соломон, которого она, по ее словам, великолепно знала, будет несчастен и совершенно пропадет; ибо женщины, утверждала старуха, она тоже изучила в совершенстве и точно знает им цену. Поэтому она всякий раз сопровождала пособие и тайную поддержку настоятельными уговорами только, боже упаси, не помышлять о женитьбе; когда он, попав в какую-нибудь передрагу, обращался к ней, ему стоило сделать соответствующий намек — и немедленный успех был обеспечен.

Он и на этот раз решил прибегнуть к помощи чудаковатой бабушки и, притворно вздыхая, сказал ей, что ему наконец нужно подумать о том, как при помощи наметившейся выгодной женитьбы избавиться от нужды и достичь независимого положения. Старуха в испуге сняла очки, которые незадолго перед тем надела, чтобы перечесть список причитающихся ей платежей, и стала глядеть на злосчастного внука так, словно перед ней безумец, который вот-вот подожжет свой собственный дом.

— Да знаешь ли ты, что я тебя лишу наследства, если ты женишься? — вскричала она, втайне сама ужаснувшись своей мысли. — Только мне не хватало, чтобы эдакая скребуха курица когда-нибудь разворотила все мои сундуки и лари! А ты сам? Неужели ты в силах будешь снести все то, что вытворяет женщина? Как ты сможешь терпеть, если она, например, день-деньской будет лгать? Или будет поносить всех и вся, так что твой честный семейный очаг станет



рассадником злословия? Как поладишь с такой, которая стоя, сидя, на ходу беспрестанно ест и жуя, в то же время судачит? И неужто люди станут тебя уважать, если ты обзаведешься жепой, которая в лавках тащит, что плохо лежит, или по уши влезает в долги, как Гиммельша?

Внук с трудом удержался от смеха, когда старуха, упомянув последнюю особу, тем самым попала в точку, и как можно серьезнее возразил:

— Если уж так печально обстоит дело с бедняжками женщинами, значит, тем менее допустимо предоставлять их самим себе, а нужно брать их в жены и таким образом спасти то, что можно спасти!

Тут доведенная до иступления ненавистница своего пола воскликнула:

— Перестань, изверг! Что случилось, что тебе нужно?

— Я проиграл тысячу гульденов, и, чтобы покрыть долг, мне не хватает шестисот!

Старуха снова надела очки, сорвала с себя пышный чепец, почесала коротко остриженную седую голову и, прихрамывая, подошла к старинному мозаичному бюро. С тайным удовольствием увидел Ландольт, как из-под откинутой крышки показались все те диковины, что бережно хранились там и восхищали его еще в детстве: крохотный серебряный глобус; выточенный из слоновой кости конь, а на коне — рыцарь в настоящих, вызолоченного серебра, доспехах, которые можно было снимать с него; на щите сверкал алмаз, султан на шлеме был покрыт эмалью; и, наконец, тоже слоновой кости скелетик вышиной в шестнадцать дюймов, с серебряной косой в руках, по прозвищу «смертеньш», сработанный так искусно, что каждая мельчайшая косточка была на своем месте.

Это изящнейшее изображение смерти старуха взяла в трясущуюся руку и, под едва слышное звяканье и брешчание точеной слоновой кости, молвила:

— Смотри: такой вид имеют и мужчина и женщина, когда забава кончена! И кому только может прийти охота влюбляться и жениться?

Соломон, в свою очередь, взял «смертеньша» в руку и стал внимательно его разглядывать. Легкий трепет пронизал его, когда он представил себе, как прекрасное тело Вендельгард истлеет и от него останется такой же остов; но тут же, при мысли о том, что наши дни быстротечны и невозвратны, сердце у него забилось так сильно, что фигурка задро-

жала еще заметнее, и он с вожделением взглянул на руку бабушки; а та сказала, вынимая из ящика, где у нее всегда хранились наличные деньги, сверток новехоньких золотых монет:

— Вот тебе тысяча гульденов! Но только не морочь мне больше голову пустыми бреднями о женитбе!

Прежде всего Ландольт взялся теперь за капитана Гиммеля. Разыскав вояку в трактире, он отвел его в сторону и сообщил ему, что некое лицо, желающее остаться неизвестным, уполномочило его, Ландольта, уладить щекотливое дело дочери капитана и предоставило ему необходимые для этого средства; но это лицо, продолжал он, требует, чтобы капитан, ради сохранения доброй славы дочери, сделал все нужное от своего имени, и дочь тоже должна пребывать в полной уверенности, что ее долги заплатил отец. Согласно данным ему указаниям, он, Ландольт, действуя якобы от имени капитана, внесет следующую по долгам сумму в соответствующее учреждение и позаботится о том, чтобы кредиторы были удовлетворены без малейшей огласки. Таким образом, и отец и дочь будут избавлены от всяких дальнейших неприятностей.

Удивленно воззрившись на молодого человека, капитан заговорил было о непрошеном вмешательстве, о неприкосновенности отцовских прав и даже взялся за рукоять шпаги; но когда Ландольт намекнул ему, что некое лицо принимает живейшее участие в судьбе его дочери и ее благополучии, которое может зависеть от скорейшего улажения известного им дела, капитан, почуяв, что дочь, пожалуй, можно будет хорошо устроить, снова водворил хранителя своей чести, шпагу, в ножны и изъявил согласие принять предложенный ему *modus procedendi*<sup>1</sup>.

Соломон Ландольт осторожно и умело довел дело до благополучного конца, полностью удовлетворив всех кредиторов. Все в городе были уверены, что капитан Гиммель положил гнев на милость, и сама Вендельгард так думала. В ее присутствии отец теперь всегда напускал на себя необычайную важность, чем еще более укрепил ее в убеждении, что он все-таки, по-видимому, человек со средствами.

Поэтому она не слишком удивилась и растерялась, когда Соломон, мнимый поверенный в делах, однажды вечером снова явился к ней и передал ей расписки в уплате всех

---

<sup>1</sup> Способ решения спора (*лат.*).

долгов, крупных и мелких. Всей душой радовался он за нее и был счастлив, что она снова обрела горделивую осанку, тем более что при ликвидации долгов их число и характер вызвали в нем как-никак разные сомнения, которые, однако, привели лишь к тому, что он снова проникся нежной жалостью к бедной неопытной девушке и полон был страстного желания навсегда взять ее судьбу в свои крепкие руки.

Предвидя это посещение, Вендельгард последние дни одевалась и украшалась еще тщательнее обычного; она тоже была счастлива, что может снова высоко держать голову и, следовательно, предстанет своему спасителю избавленной от прежнего унижения, притом, как ей думалось, благодаря богатству отца.

Но все же она простыми, сердечными словами поблагодарила Ландольта за его хлопоты и помощь; при этом она доверчиво протянула ему руку и была в этот миг так прекрасна, что Ландольт, не колеблясь долее, открылся ей в своем чувстве и в том, что оно одно побудило его так назойливо вмешиваться в ее дела. Мало того — в своей безудержной откровенности он договорился до признания, что взаимностью и согласием отдать ему свою руку она окажет ему помощь несравненно более ценную, так как этим побудит его упорядочить свою несколько рассеянную жизнь и сделать во имя любви и красоты то, что до сих пор он не в силах был сделать ради себя самого.

Но это честное безрассудство или безрассудная честность пробудили в красавице благоразумие. Пока Ландольт взволнованно убеждал ее, она не отнимала у него руки и смотрела на него ласковыми глазами, снявшими счастье при мысли о столь неожиданном возвышении после такой униженности. Но как ни сладостна была эта минута, все же легкомыслие, в котором винил себя ее поклонник, смутило девушку, обычно столь ветреную, и она попросила недельный срок на размышление. Попрощалась она с ним, однако, весьма милостиво, а оставшись одна — задышала прерывисто и часто, словно молодой кролик.

Тем временем капитан, призадумавшись над таинственными намеками Ландольта, сделал открытие, что дочь действительно созрела для счастья, а поэтому нужно свести ее на ярмарку невест. В его планы отнюдь не входило, чтобы кто-то безвестный выхватил у него из рук такое сокровище; напротив, он намерен был зорко следить за ходом событий и прежде всего — надлежащим образом выставить

красавицу папоказ. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, он решил отправиться с дочерью на воды в Баден, где к троицыну дню, благо весна выдалась прекрасная, съехалось много народа. Он велел ей взять с собой самые нарядные свои платья, которыми в Цюрихе из-за гонений на роскошь нельзя было шегольнуть, и они, недолго мешкая, вдвоем поселились в гостинице Хинтергоф, которая, как и все другие гостиницы в Бадене, уже была переполнена приезжими. Но на этом отеческое попечение Гиммеля кончилось: он отправился разыскивать подходящую компанию старых рубах, охотников выпить, и мигом нашел ее, а Вендельгард всецело предоставил самой себе.

По странной, но счастливой случайности в той же гостинице оказалась Фигура Лей в сопровождении пожилой дамы, приехавшей в Баден лечиться от ломоты в суставах. Фигура уже вошла в известный возраст, но своевольничала еще больше прежнего. Увидев прекрасную прославившуюся своими долгами Вендельгард и заметив, что она, в своем одиночестве, не знает, как скоротать время, Фигура свела с ней знакомство и стала развлекаться тем, что наблюдала и изучала это своеобразное, ни с кем не схожее существо, казалось, олицетворявшее собой красоту без всякой примеси духовности. Вскоре она приобрела доверие девушки, еще не испытавшей прелести такого общения, и благодаря этому в первый же день узнала о ее отношениях с Соломоном Ландольтом и о недельном сроке, выговоренном ею на размышление. На второй день Фигура сказала себе, что для опрометчивого поклонника будет величайшим из несчастий, если девушка даст свое согласие. Почему именно — этого она сама толком не могла бы сказать. У нее только было смутное ощущение, что у Вендельгард нет настоящей души. Но потом она подумала, что эта девушка — словно чистое белое полотно, на котором Ландольт, уж наверное, сумеет нарисовать нечто сносное, и, возможно, все еще пойдет на лад. Удрученная собственной неуверенностью, она вдруг решила предоставить решение божьему суду, своего рода испытанию огнем; на эту мысль ее навело известие о предстоящем приезде ее брата Мартина. Уже пять лет состоял он капитаном наемного Цюрихского полка, служившего в Париже, и вдобавок подвизался во всех видах искусства, в частности, стал превосходным актером-любителем и с успехом выступал на домашних спектаклях в светском обществе Парижа. Капитан Гиммель и его дочь никогда в жизни не

видели Мартина Лея, а он к тому же умел сделать себя неузнаваемым даже для хороших знакомых. На этом обстоятельстве Фигура и построила свой план, и когда брат, неожиданно явившийся на родину, чтобы повидать своих, поехал из Цюриха в Баден, она, тайком от всех направившись ему навстречу, перехватила его на полпути, быстро открыла ему свой план и заручилась его содействием, так как в судьбе доброго своего друга он принимал не менее горячее участие, чем его сестра. Она же очень торопилась — ведь из семи дней уже миновало четыре, и ей было ясно, что Вендельгард не ответит отказом.

Поэтому Мартин Лей намеренно задержался прибытием до наступления темноты, тогда как Фигура поспешно вернулась в Баден и притворилась, будто никуда не уезжала. Сделав за ночь все нужные приготовления, Мартин появился утром как никому не известный иностранец с таинственными и важными манерами. Осмотревшись, он, будто случайно, присоединился к капитану и, распивая с ним бутылочку вина, тотчас намеренно проиграл ему в кости несколько талеров, чем, однако, ограничился. Затем он стал прогуливаться по парку вдоль реки, а Фигура тем временем пренебрежно распустила слух, будто приезжий — знатный француз, имеющий полмиллиона ливров годового дохода и твердо решивший жениться только на швейцарке-протестантке, так как сам исповедует эту религию. Он якобы уже заезжал в Жевеву, но не нашел там ничего подходящего, и теперь намерен побывать в Цюрихе, но сперва хочет немного осмотреться в Бадене, где, по его сведениям, в это время года собирается изысканнейшее женское общество.

Капитан поспешно, еще до обеда, нарушив этим все свои привычки, вернулся домой, то есть в гостиницу, и, приказав дочери одеться понаряднее, повел ее на прогулку. Он даже взял ее под руку и, гордо задрав свой сизый нос, так форсил и кривлялся, что толпа гуляющих забавлялась его ужимками не меньше, чем восхищалась красотой Вендельгард. Когда же навстречу им попался пресловутый богатый гугенот, капитан напустил на себя еще большую важность. Произошел длительный обмен приветствиями и любезностями. Восторженное изумление, выразившееся на лице Мартина Лея при виде Вендельгард, отнюдь не было деланным; но в то же время он понял, сколь необходимо уберечь друга от этой опасности. Предложив красавице руку, он вместо отца повел ее к столу, а Фигура за обедом бросала на них

притворно робкие взгляды, словно восхищаясь зрелищем утонченной светскости.

После обеда Вендельгард успела только перекинуться с ней несколькими словами, так как за столом решено было предпринять увеселительную поездку в Шинцнах, где съехалось не менее избранное общество. Словом, Мартин в первый же день так умело справился со своей задачей, что Вендельгард поздно вечером бегом прибежала к Фигуре и, задыхаясь, сообщила ей: должно произойти нечто очень важное; гугенот сейчас спросил ее, не предпочтет ли она жизнь во Франции жизни в Швейцарии, и тут же, будто невзначай, осведомился, сколько ей лет, а за час до того сказал: если он когда-либо женится, то не возьмет за женой ни гроша приданого. А отец уже приказал ей, если присужкий сделает предложение, тотчас изъявить согласие.

— Но, дорогое дитя, — возразила Фигура, — все это немногого стоит. Мой совет — будь осторожна!

Не слушая ее, Вендельгард продолжала:

— А после того как мы больше часа гуляли вдвоем, он поцеловал мне руку и вздохнул.

— И тут же сделал тебе предложение?

— Нет, но он вздохнул и поцеловал мне руку.

— Француз поцеловал руку! Знаешь, какое это имеет значение? Ровно никакого!

— Но ведь он верующий протестант!

— А как его зовут?

— Не знаю, то есть мне кажется, что не знаю; я даже не обратила внимания.

— Разумеется, все это мешает делу, — задумчиво сказала Фигура, — но как же теперь быть с Соломоном Ландольтом?

— Вот об этом и я себя спрашиваю, — со вздохом ответила Вендельгард, кончиками сияющих белизной пальцев потирая белоснежный лоб, — но подумай только — полмиллиона годового дохода! Уж тут конец всем заботам и печалям! А Ландольту надобна жена, которая помогла бы ему упорядочить свою жизнь и завоевать положение! Разве я гожусь для этого — ведь я сама-то ничего не умею!

— Да он совсем не то имел в виду, простушка! Он этим хотел сказать — если только ты пойдешь за него, он ради тебя начнет работать, действовать, распоряжаться, а твое дело — только смотреть, тебе палец о палец не придется ударить; и он это выполнит, говорю тебе!

— Нет, нет! Мое легкомыслие только будет ему помехой! Я чувствую — если я не буду богата, неизменно богата, я опять наделаю долгов, и намного больше, чем в тот раз!

— Разумеется, это меняет дело, — заметила Фигура, — если ты не предпочтешь, чтобы он тебя изменил и перевоспитал! А ему это под силу, поверь мне!

Затем, увидев, что Вендельгард хотя и пришла в замешательство, но не выражает никакого чувства к Ландольту, она продолжала:

— Во всяком случае, смотри, как бы ты не оказалась между двух стульев. Если француз завтра сделает тебе предложение, ты должна свободно располагать собой. После завтра — седьмой день; тебе нужно быть готовой к тому, что Ландольт явится сюда за твоим решением. Разыграются сцены, пойдут разоблачения, и ты рискуешь, что оба они откажутся от тебя!

— О боже! Это истинная правда! Но что же мне делать? Ведь его здесь нет, а я сейчас не могу поехать в Цюрих!

— Напиши ему, и сегодня же! Письмо нужно будет завтра послать в Цюрих с нарочным, иначе он — я его хорошо знаю! — послезавтра неминуемо явится сюда!

— Я так и сделаю! Дай мне перо и чернила!

Вендельгард тотчас уселась, а так как она не знала, с чего начать, то Фигура Лей продиктовала ей следующее письмо:

«По зрелом размышлении я убедилась, что чувство, которое я питаю к вам, — не что иное, как чувство благодарности, и было бы ложью, если бы я пыталась назвать его иначе. Так как вдобавок воля моего отца указывает мне иной жизненный путь, то я прошу вас принять мое твердое решение подчиниться ему как изъявление доверия и той полной уважения искренности, которую всегда будет питать к вам преданная вам и проч., и проч.»

— Точка! — воскликнула Фигура в заключение. — Ты подписалась?

— Да, но, мне думается, следовало бы сказать несколько больше; я этим не совсем довольна.

— Можешь быть вполне довольна! Это образцовый стиль письменного отказа в тех условиях, когда долго распротраиваться невозможно; этим полагается предел всему дальнейшему, и жаждущие напиток по звону узнают, что стучали о пустую бочку!

Этот слегка приправленный ревностью намек Вендельгард по своему добродушию не поняла. Еще она попросила Фигуру позаботиться о скорейшей отправки письма, чтобы соперники невзначай не столкнулись друг с другом. Фигура обещала ей это и для пушей уверенности чуть свет поручила ответственную миссию своему брату, а тот пемедля повез письмо в Цюрих и нагрянул с ним к Соломону Ландольту, который как раз собирался на другой день поехать в Баден.

При чтении письма Ландольт слегка побледнел, а заметив, что Мартину Лею известно его содержание, залился краской. Что до Мартина, он, не мешкая, подробным рассказом обо всем происшедшем дал ему необходимые устные пояснения. Он на часок оставил Ландольта одного, потом вернулся и сказал ему:

— Соломон! Фигура, моя сестрица, шлет тебе привет и велела передать: если ты все-таки хочешь взять красотку Гиммель за себя, ты только дай об этом знать ей, моей сестрице, — Гиммельша от тебя не уйдет.

— Я не хочу ее и сознаю свое безрассудство, — ответил Ландольт, — но все-таки она прекрасна и достойна любви, а вы оба — плуты!

Снова приняв свой настоящий облик, Мартин остался в Цюрихе: поэтому понятно, что богатый гугенот бесследно исчез из Бадена, словно сквозь землю провалился. Капитан и Вендельгард пробыли на водах еще две недели, после чего возвратились в Цюрих; капитан был жаден до выпивки и драчлив как никогда, а дочь, притихшая, подавленная, нигде не показывалась.

Однако дело этим не кончилось. Любопытство и задор подстрекали Мартина Лея именно теперь поближе присмотреться к этой необычной красавице. Приняв всяческие предосторожности, чтобы в нем не узнали таинственного француза, он посетил фехтовальный зал капитана. Когда он увидел бедняжку все такой же прекрасной, но смирившейся духом и печальной, колесо фортуны повернулось. К тому же буян старик вскоре скоропостижно умер, и Мартин так страстно влюбился в одинокую девушку, что, решительно отвергнув все возражения, настояния, доводы благоразумия, не успокоился, пока она не стала его женой.

Предварительно он еще в последний раз спросил Соломона: «Хочешь взять ее за себя?» — На что тот, не задумываясь, ответил: «Я придерживаюсь библейского речения:



«Ваше да — пусть будет да, ваше нет — пусть будет нет!». Больше я не хочу возвращаться к этой истории...» — «которая влетела мне в тысячу гульденов, чего, благодарение богу, никто не знает», — прибавил он мысленно; ведь ему было известно, что бабушка, движимая чувством справедливости, исправно записывала все выдаваемые ею суммы и что то временем, во избежание ущерба для его сестер и братьев, эти деьги вычтут из причитающейся ему доли наследства.

Мартин Лей еще два года прожил с женой в Париже, а затем вышел в отставку. Вендельгард вернулась изрядно поумневшей, приобрела светский лоск и никогда уже не делала долгов. Ей было известно, что именно произошло в Бадене, и она узнала много гугенота раньше, чем он это заподозрил и сам признался ей во всем.

Но когда впоследствии Фигура Лей спрашивала Соломона Ландольта, сердится ли он на нее за ее вмешательство, жалеет ли в душе, что Вендельгард досталась не ему, раз она теперь исправилась и, видимо, раньше прикидывалась глупее, чем была на самом деле, — он пожимал ей руку и говорил: «Нет, так лучше!». А Вендельгард он краткости ради прозвал Капитаном.

## МАЛИНОВКА И ЧЕРНЫЙ ДРОЗД

Однако слепое поклонение красоте еще и после этой неудачи так пагубно действовало на Ландольта, что он совершенно утратил внутреннюю стойкость и весь отдался во власть внешних впечатлений. Словно ласточки осенью, когда они уже на отлете, порхали и щебетали вокруг него все боги любви, и в том же году, когда он лишился Вендельгард, у него были еще два любовных приключения, — правда, как это иной раз случается с близнецами, такие маленькие, что можно их завернуть в одну пеленку.

Уже в продолжение нескольких лет по утрам в погожие дни, когда воздух был чист, до слуха Ландольта, комната которого выходила на заднюю сторону дома, издали доносился, плывя над садами, нежный девичий голос, певший псалом. Голос этот, вначале детский, с течением времени несколько окреп, но сильным не стал. Все же Ландольт охотно внимал пению, которое раздавалось ежедневно все в тот же ранний час, и прозвал невидимую певунью Мали-

повкой. А была она дочерью господина секретаря комиссии по делам о повообращенных, бывшего приходского священника Элпаса Тумейзена, который, получив изрядное наследство, отказался от бремени пастырских обязанностей, но еще приносил некоторую пользу, состоя на службе в комиссиях по делам о лицах, приговоренных к изгнанию, и о повообращенных. Следуя желанию супруги, он свой титул произвел от второй из этих комиссий. Кроме того, он был секретарем реформационной палаты и старшиной кандидатов на должности цюрихского министерства. В часы досуга он для собственного удовольствия рисовал географические карты, из тех, что теперь изображают нам мир вверх ногами, так как восток и запад расположены на них вверху и внизу, а север и юг — слева и справа.

Что до его дочери, Малиновки — по-настоящему она звалась Барбара, — то, кроме пения, она подвизалась еще и в других искусствах, заполнявших все ее время. Дело в том, что господин секретарь, ее папаша, мастерил также изображения всевозможных птиц; он наклеивал их перья или даже обрывки перьев на бумагу, а затем красками пририсовывал клюв и лапки. Самым прекрасным образцом его мастерства был великолепный, натуральной величины удод, во всей красе своего оперения.

Барбара усовершенствовала и облагородила это искусство, она стала таким же способом изображать людей и создала немало художественных портретов, на которых лицо и руки воспроизводились красками, а все прочее было составлено из искусно скроенных и умело подобранных кусочков шелка, шерсти и других материй; и, наверно, птицы Аристофана были не более мудры, нежели птицы господина секретаря, раз от этих последних произошла столь прелестная разновидность человеческих существ, наполнявшая рабочую комнатку юной певуньи. Прежде всего, там блистал ее дядюшка с материнской стороны, возглавлявший в то время церковь, в облачении из черного атласа, черных шелковых чулках и воротнике из нежнейшего муслина. Его парик был изготовлен с поразительным умением и прилежанием из шерсти белого котенка; водянистые голубые глаза на бледно-розовом лице превосходно сочетались с белоснежными волосами; башмаки были сделаны из кусочков блестящего сафьяна, серебряные пряжки на них — из фольги, а обрез тревника, который дядюшка держал в руке, — из золотой бумаги.

Верховного священнослужителя, висевшего в рамке и под стеклом на почетном месте, окружали такие же портреты мужчин и женщин всякого звания и положения; из них особенно замечательно было изображение молодой женщины в белом кружевном платье из тончайшей бумаги, вырезанной затейливым ажуром; на руке у нее сидел попугай, сделанный, точно мозаика, из мельчайших перьев колибри. Напротив нее восседал, закинув ногу за ногу, господин в камзоле из голубого атласа и пышных брыжах. Он играл на флейте и, видимо, обучал попугая пению, так как голова птицы, казалось, внимательно прислушивающейся, была повернута в его сторону. Пуговицы на камзоле были из красноватых блесток и мишуры.

Еще там красовалось множество молодцеватых военных, чьи мундиры, галуны, металлические пуговицы, ботфорты, кивера свидетельствовали все о том же неутомимом усердии во тут-то и нашло свой предел искусство Барбары Тумейзен: когда ей вздумалось перейти к изображению сидящих на конях командиров, она, правда, сумела, пустив в ход свои изящные английские ножницы, выкроить и изготовить из пригодных к тому материй чепраки, седла и прочую сбрую, но рисовать лошадей оказалось ей не по силам: ведь до того времени она упражнялась только в передаче человеческих голов и рук, да и это не слишком ей удавалось. Возникла необходимость в наставнике или помощнике, и в качестве такового ей, в ответ на расспросы, рекомендовали Соломона Ландольта, как первейшего в Цюрихе рисовальщика лошадей.

Поэтому господин секретарь комиссии о повоображенных в один прекрасный день неожиданно явился с визитом к господину городскому судье — командиру стрелкового полка — и весьма учтиво просил его не отказать в любезности научить его дочь правильно изображать верховых лошадей, точно передавая на бумаге фигуру, масть и аллюр коня, после чего ей гораздо легче будет надеть на него седло и узду и посадить, придав ему надлежащую позу, самого всадника.

Ландольт охотно согласился оказать эту услугу — отчасти из природного добродушия, отчасти из любопытства: уж очень ему хотелось поглядеть на ту малиновку, что так мило распевала по утрам. С изумлением увидел он сначала пестрый птичий мирок господина секретаря двух комиссий, блистательного удода и великое множество щеглят, зябли-

ков, дятлов и ржанок, а в довершение всего — главу церкви и всех старейшин купеческих гильдий, членов совета двенадцати, городских судей и их супруг, лейтенантов, капитанов и все прочие творения девицы Барбары и, наконец, ее самое — хрупкую, но прекрасно сложенную фигурку, словно выточенную из слоновой кости. Она показалась ему самым прекрасным из всего — и птиц и человеческих существ, выставленных в этом скромном музее, а посему он тотчас приступил к преподаванию. Первым делом он с помощью соответствующих рисунков наглядно объяснил ей строение лошади и, прежде чем взяться за трудную задачу пояснения тайн конской головы, научил ее несколькими твердыми литрихами намечать основные линии и пропорции. Таким образом, обучение постепенно коснулось всех статей лошади, а затем пришла очередь красок, и стало возможным перейти к изображению коней вороных, буланых и белых; гривы и хвосты Барбара намеревалась делать из конских волос.

Это приятное общение продолжалось несколько недель, и все еще в работе Барбары обнаруживались кое-какие изъяны и погрешности, которые следовало устранить. Ландольт привык каждое утро на час-другой приходить к Тумейзенам; ему приносили стакан малаги стремя сладкими сухариками, и вскоре домашние, убедившись, что он кротчайший и тишайший наставник, когда-либо живший на свете, стали оставлять его наедине с ученицей. Малиновка была доверчива, словно прирученная птишка, и спустя немного времени стала клевать у него из рук половину сухариков и даже макать клювик в стакан с малагой. Однажды она сделала ему сюрприз — преподнесла сработанное ею втайне изображение его самого, сидящего в мундире стрелкового полка на своем украинском, сером в яблоках, коне; изображена была, разумеется, только левая сторона со шпагой, одной ногой и одной рукой. Но грива и хвост лошади были сделаны из собственных, черных как смоль, волос Барбары, и по этой жертве, да и по самому подарку можно было догадаться, как высоко она ценит Ландольта.

Действительно, склонности и вкусы их обоих представлялись Барбаре столь сходными и гармоничными, что, когда она сосредоточенно, с легким румянцем на щеках, размышляла об этом предмете, ей казалось: если они заключат брачный союз, их совместная жизнь, наверно, будет счастливой. А Соломон Ландольт со своей стороны считал, что для него

самое лучшее — причалить к этой тихой, скромной пристани и век прожить в незатейливом музее Малишовки.

В обеих семьях тоже не без удовольствия наблюдали сближение двух любителей искусств, и родители рассматривали возможный брак как событие весьма желательное и сулящее благополучие; поэтому дело быстро подвинулось настолько, что под дипломатическим предлогом — показать девице Тумейзен совершенно еще неизвестные ей картины кисти Соломона — Тумейзенов пригласили к Ландольтам.

Хотя у Соломона были большие природные способности к живописи, на его работах не лежала печать подлинной законченности и художественного совершенства; житейская суета не оставляла ему для этого достаточного досуга, да он в своей беспечной непритязательности и не стремился к столь высокой цели. Но для дилетанта он проявлял редкую самостоятельность, богатство мыслей, непосредственность и своеобразие восприятия природы. С этими качествами сочеталась живая и смелая манера исполнения, порожденная воодушевившей его пылкой любовью к искусству. Поэтому его часовня живописи, как он ее называл, поражала обилием полотен, висевших по стенам и расставленных на мольбертах; но как ни различались между собой картины, являвшиеся глазам зрителя, все они были проникнуты единым смелым и в то же время гармоничным духом. Непрестанное преобразование внутренне спокойной природы, слияние света и тихое его угасание, раскаты звуков и слабые их отголоски были для него лишь смеляющимися аккордами единого музыкального произведения. Предраассветная дымка, окутывающая поля и дуга, догорающий закат, темная полоса густого бора и озаренные лунным светом тяжелые от росы нити паутины на кустах переднего плана, луна, спокойно сияющая на синем небе над бухтой озера, осеннее солнце, пробивающееся сквозь туман над зарослями камышей, красное зарево пожара за перелеском; среди зеленовато-серой степи — деревушка с вьющимися над ней струйками дыма, иссеченное молниями грозное небо, пенные гребни волн, по которым хлещут потоки дождя, — все это на его полотнах представлялось как единое творение, но творение, пронизанное и волнуемое трепетом жизни, а главное — все его картины свидетельствовали о способности видеть и воспринимать природу по-своему, были плодом ночных странствий, долгих верховых прогулок во всякое время дня, в бурю и ненастье.

Мир природы был тесно переплетен с образами людей, то распаленных гневом и сражающихся, то бесцельно бродящих в одиночестве или стремительно несущихся куда-то вдаль, как те облака, что плыли над ними, то безмолвно исходящих кровью, лежа на земле. Конные патрули Семилетней войны, киргизы и кроаты на быстрых своих конях, французы, дерущиеся на шпагах, и рядом с ними — лихие охотники, мирные поселяне, упряжка волов, возвращающаяся с пашни, пастухи на выгоне, лесные и водяные птицы, испуганные войной или охотой, пощипывающая травку косуля и осторожно крадущаяся лиса — и все они, люди и животные, всегда были помещены на том самом клочке земли, который был единственно подходящим для их изображения. А зачастую — в сером, словно тень, человечке, с трудом пробирающемся сквозь косую пелену дождя, зритель неожиданно узнавал то или иное хорошо известное в городе лицо, которое художник, очевидно в наказание за какую-то провинность, изобразил промокшим до нитки; или в ведьме, окунающей ноги в болото у виселицы, можно было узнать злостную городскую сплетницу; или, наконец, узреть самого живописца, как он верхом на коне, покуривая трубочку, едет по холму навстречу рдеющей вдали вечерней заре.

Гостей встретили и приняли самым радушиим образом. Когда отпили кофе, Соломон повел припаряженную, почти по-праздничному разодетую девушку в свою художническую обитель; все остальные намеренно не последовали за ними, а пошли погулять по саду, поглядеть на дом снаружи и ознакомиться с внутренним его расположением. Соломон принялся показывать Барбаре картины, а заодно и множество других предметов — оружие, охотничье снаряжение, изготовленные им самим чучела животных и т. д. и давать ей объяснения к ним. Едва успев войти, девушка тихо вскрикнула от испуга при виде парящего в алый гусарский мундир деревянного манекена, сидевшего в покойном кресле и, казалось, разглядывавшего поставленную перед ним на мольберте картину; но потом она притихла и ничем не выражала ни удовольствия, ни восхищения, ни хотя бы любопытства; весь этот мир был чужд и непонятен ей.

Соломон не обратил на это внимания, даже не заметил, так как не стремился ни восхищать, ни поражать; ему не терпелось поскорее достигнуть цели, поэтому он быстро переходил от картины к картине, а тем временем туго обтянутая белым корсажем грудь Барбары дышала все

прерывистес, словно девушку волновал сильный страх. Остановясь перед полотном, изображавшим поединок едва забрезжившей зари с тусклым сиянием заходящего месяца над рекой, Ландольт рассказал, как рано ему пришлось однажды встать, чтобы уловить этот световой эффект, и как он все-таки никогда не мог бы его воспроизвести, если бы у него не было варгана. Весело смеясь, он стал объяснять девушке, какое действие оказывает эта музыка, когда нужно передать нежнейшие оттенки различных красок, — и тут же, схватив небольшой инструмент, лежавший на заваленном тысячью безделок столе, приставил его ко рту и извлек из него несколько дрожащих, тихих звуков, то едва слышных, то медленно нараставших и сливавшихся друг с другом.

— Глядите-ка! — воскликнул Ландольт. — Вот тот светло-серый тон, что на воде, в час, когда утренняя звезда еще горит ярчайшим светом, отликает тусклой красной медью! Я думаю, сегодня в этом уголке земли без дождика не обойдется!

Весело оглянувшись при этих словах на Барбару, он заметил, что ее глаза полны слез. Вся бледная, она с отчаянием в голосе вскричала:

— Нет! Нет! Мы друг другу не подходим, это несомненно!

Ландольт, испуганный, ошеломленный, взял ее руки в свои и спросил, что с ней, не захворала ли она. Но она резким движением высвободилась и сбивчиво, туманными намеками стала объяснять ему, что ровно ничего в этом не понимает, что все это не находит и никогда не найдет в ней отклика, более того — представляется ей едва ли не враждебным и страшит ее. При таких обстоятельствах о гармоничной совместной жизни не может быть и речи, раз его и ее влечет в противоположные стороны, и Ландольт так же не в состоянии ценить и уважать мирные, невинные занятия, которые до сей поры доставляли ей столько радостей, как она не способна хоть сколько-нибудь постичь его деятельность и ощутить интерес к ней.

Поняв, что именно девушка хочет сказать, Ландольт стал ласково успокаивать ее и уверять, что для него занятия живописью — только забава, точь-в-точь как для нее, что это маловажное обстоятельство, не имеющее никакого значения. Но его слова только ухудшили дело; Барбара в сильнейшем смятении выбежала из комнаты, разыскала родителей и, заливаясь слезами, потребовала, чтобы ее поскорее увезли до-

мой. Присутствующие окружили их, растерянные, смущенные. Ландольт тоже явился, Барбара возобновила свои путаные объяснения, и постепенно Ландольту открылось: тому, что ее смутило, она приписывала гораздо большее значение, чем можно было ожидать от нежного юного создания, казалось, столь простодушно-непритязательного; понял он также, что неспособность девушки пересилить себя и терпимо отнестись к чужим склонностям более всего вызвана узостью понятий, в которых она была воспитана.

Все уговоры со стороны Ландольта и его родителей были тщетны. Что касается родителей безутешной девицы — они, по-видимому, разделяли ее страхи и предусмотрительно ускорили отступление. Вызвав паланкин, Тумейзены посадили туда дочь, она тотчас задернула занавеску, и маленький караван, оставив Ландольта сконфуженным и раздосадованным, удалился так быстро, как только могли бежать носильщики.

На следующий день Соломон Ландольт в положенный для визитов час пошел к господину секретарю осведомиться о здоровье его дочери и разузнать, как ему следует поступить и какую вину он должен загладить. Родители Барбары встретили его учтивыми извинениями и стали многословно объяснять, что не только его глубокое преклонение перед природой и необузданная фантазия, которой дышат его картины, но и манекен, и чучела животных, и все прочие диковины того же рода — все это смутило бесхитростный ум их дочери, да и сами они считают, что столь резко выраженные артистические вкусы грозят смутить уют и спокойствие скромной бюргерской семьи.

Во время этих витневатых речей, все более и более изумлявших доброго Ландольта, вошла дочь, заплаканная, но спокойная; она с приветливым видом подала ему руку и кротко, но твердо сказала, что может стать его женой только под одним непременным условием: если обе стороны навсегда откажутся от занятий художеством и, таким образом, любовно принеся друг другу жертву, развеют все то причудливо-мятежное, что встало между ними.

Соломон Ландольт минуту колебался; но благодаря свойственной ему проницательности он быстро распознал, что здесь под личиной простодушной ограниченности таится разновидность самомнения, отнюдь не являющаяся залогом домашнего мира и согласия, и что жертва, которой от него требуют, обошлась бы ему слишком дорого; а поэтому он,



ни слова не вымолвив в защиту своей часовни живописи, распрощался с семейством господина секретаря, равно как с его удадом, с портретом верховного священнослужителя и со всей их свитой.

Едва миновал обычный срок скорби о погибшей надежде, едва улегся гнев бабушки, в конце концов проведавшей о «хитрой затее» внука, как на смену упорхнувшей малиновке прилетел черный дрозд.

В одном из предместий Цюриха, посреди обширного прекрасного сада, стоял дом, не то городской, не то сельский. Ландольт нередко посещал его, так как был в дружеских отношениях с хозяевами и пользовался у них большим уважением. Эмблемой этой усадьбы мог служить черный дрозд, весной ежевечерне сидевший в дальнем уголке сада на высокой сосне, вернее сказать — на самой ее верхушке, и восхищавший всю округу своим мелодичным пением. Это и было причиной, почему Ландольт, обычно запечатлевавший первую подмеченную им черту, прозвал Дроздом прекрасную Аглаю, — к слову сказать, в действительности она звалась иначе; прозвище «Аглая» для нее тоже придумал Ландольт, так как это принадлежавшее одной из трех граций имя он ошибочно отождествил с названием растения аглея — *Aquilegia vulgaris*, — ошибка, вызванная грациозным и привлекательным видом этого растения; казалось, синие и лиловые колокольчики столь же чарующе колышутся и клонятся над тонким, гибким стеблем, как пепельные кудри Дрозда — Аглан — над ее стройной шейкой.

Минувшей весной Ландольт, проходя вечером мимо этого дома, остановился на минуту послушать пение дрозда и впервые увидел прелестную девушку, стоявшую под сосной. То была дочь владельца, совсем недавно возвратившаяся из-за границы, где пробыла несколько лет. Она сразу ему понравилась, но в ту пору он был всецело поглощен Вендельгард и поэтому, учтиво раскланявшись, продолжал свой путь.

Настала осень, и Ландольт, бродя под мягкими лучами солнца по опушке рощи, нашел поздно расцветшую аглею, сорвал ее, стал разглядывать, и тут ему вспомнилась девушка под дроздовым деревом, о которой он с того дня ни разу не думал. Таинственное, неотразимое очарование цветка представилось его многострадальному, но все еще мятущемуся сердцу как некая поздно взошедшая, но тем ярче сияющая звезда, как непреложное знамение свыше. Он явствен-

но видел перед собой стройный стап и кудрявую головку девушки, которая, опустив глаза, внимала пению птицы, а затем обратила задумчивый взгляд на приветствовавшего ее прохожего.

В тот же вечер он впервые за долгое время снова посетил этот дом и часа три провел, приятно беседуя в кругу семьи. Аглая тихо сидела за столом с вязаньем в руках и, когда говорил Ландольт, не таясь смотрела на него с большим вниманием, а если кто-нибудь другой говорил что-либо примечательное, она снова обращала глаза к нему, будто пытаясь угадать его мнение. На душе у него было отрадно, а при прощании она несколько раз подряд, словно старому другу, крепко пожала ему руку. Вскоре после этого они встретились на улице; девушка ответила на его поклон легкой улыбкой радости от неожиданной встречи, а спустя немного времени даже прислала повому своему другу записочку с приглашением на скромное семейное торжество, которое, по случаю окончания сбора винограда, должно было состояться у них в тот вечер. Он охотно согласился и в назначенное время, захватив с собой все, что нужно для фейерверка, отправился в усадьбу, где застал многочисленное веселое общество, по преимуществу — подростков и детей. Его ракеты и огненные шары пришлись весьма кстати и развлекли празднично настроенную молодежь; Аглая, всем распоряжавшаяся, обо всем заботившаяся, несколько раз подходила к Ландольту сказать, как она рада его приходу и как хорошо он справился со своим делом. А когда настал час традиционного ужина виноградарей, на котором хозяйка дома, мать Аглаи, по нездоровью не могла присутствовать, Аглая усадила Соломона Ландольта на нижнем конце стола, но рядом с собой. Он и тут оказался полезным, искусно разрезав гуся и двух зайцев, что вновь дало Аглае повод выразить ему благодарность и одобрение, притом с радостным видом, хотя прибегнуть к услугам Ландольта пришлось по той причине, что папаша Аглаи обжег себе руку шутихой и не мог сам резать жаркое.

Когда неутомимая молодежь, утолив голод, снова зашумела и началась танцы, игры, пение, Аглая с удовлетворением откинулась на спинку стула, заявив, что теперь она вправе отдохнуть после хлопотливого дня; ей нетрудно было удержать соседа возле себя, и они, не обращая внимания на шумное веселье, царившее вокруг, стали оживленно беседовать, вполне довольствуясь душевным разговором один на

одни. Вновь и вновь скользил по Ландольту пытливо-ласковый взор Аглаи, а когда она в раздумье опускала глаза, он, в свою очередь, подолгу глядел на милую головку и тонкий стан. Словом, за эти часы они подлинно стали друзьями, и при расставании прелестная девушка настоятельно просила его приходить почаще и продолжать приятное общение, которого ей тягостно было бы лишиться.

И действительно, с этой поры она ухитрялась часто вызывать его к себе, то обращаясь к нему с какой-нибудь просьбой, то сообщая о выполнении того или другого обещания, данного ею с притворной неохотой. И Соломон, с теплым чувством в душе, тешил себя мыслью, что наконец-то он набрел на кузницу своего счастья.

«Эта девушка, — думал он про себя, — знает чего хочет, и честно, открыто идет к цели. Я не так глуп, чтобы исследовать вопрос, разумна ли эта цель или неразумна, коль скоро дело касается меня, — кто сам себе враг?»

Все теснее и теснее сживался он с мечтой, более пленительной и сладостной, нежели все те, что волновали его до той поры, и, казалось, подлинно сулившей ему новую жизнь, ясную и безмятежную, как синее небо. Однако, движимый безотчетной осмотрительностью, он боялся чрезмерно ускорить ход событий, дабы не омрачить сияющую синеву, и в течение всей зимы с уверенностью, все возрастающей, отдавался никогда еще им не испытанному глубокому, но спокойному чувству. Это наслаждение еще усугублялось тем, что Аглая чаще бывала серьезна, нежели весела, и нередко погружалась в мечтательное раздумье, а затем вдруг устремляла взор на него.

«Так, так! — говорил он себе. — Пускай на этот раз рыбка немножко потрепыхается! Достаточно этот пародец нас помучил!»

Но весной появились кое-какие признаки, указывавшие, что Аглая намерена взять дело в свои руки. Она неожиданно изъявила желание снова заняться верховой ездой, которую в последнее время забросила, и без особого труда достигла того, что в спутники и наставники ей дали Ландольта. Вдвоем, выбирая самые живописные места, ездилы они по окрестностям, совершая долгие прогулки вдоль озера, среди горных лесов, причем оказалось, что Аглая нисколько не нуждается в обучении; но тем задушевнее и длительнее были беседы, в которых они поверяли друг другу, что именно

веселит или печалит их в этом прекрасном мире, на ухаби-стой дорожке жизни.

По-видимому, кое-какие слухи о любовных злоключениях Соломона Ландольта проникли в общество; с достоверностью можно было сказать, что благодаря канцелярии по делам о новообращенных последний из этих эпизодов получил широкую огласку, хотя бы уже потому, что печальный конец семейного визита и торжественное отбытие в паланкине требовали надлежащего объяснения. К этому эпизоду Ландольт отнес те слова, с которыми Аглая тихо и участливо обратилась к нему, когда они, чтобы дать роздых лошадям, ненадолго остановились под сенью зеленых лип:

— Милый друг, вы, наверно, тоже испытали несчастья?

Застигнутый врасплох неожиданным вопросом, Ландольт ограничился тем, что сказал, лукаво взглянув на Аглаю:

— Эх, всякое бывало! Я могу сказать, как дядюшка Штилле: «Раз на раз не приходится: когда посмеешься, а когда и погрустишь!».

А про себя он в тот же миг подумал: «Время настало! Пора действовать!». Но потому ли, что, зная все сопутствующие объяснению в любви обстоятельства, он счел рискованным выразить свои чувства, сидя верхом на лошади, или потому, что остаток осторожности побуждал его еще помедлить, — он тотчас пустил лошадей рысью, и разговор оборвался. Но тем сердечнее Аглая, прощаясь с ним, пожала ему руку, а он, вернувшись домой, тотчас немногими строками сказал ей, как она ему дорога. В ответ Аглая немедленно написала ему, что она тронута, обрадована и польщена его словами, и просит его на другой день заехать за ней, чтобы вместе предпринять большую прогулку, а благовидный предлог найдется. Ранним утром она прислала ему еще записочку, в которой указала, какой именно предлог выставить: обним им нужно посетить друзей в одной и той же местности, ей на уединенных горных тропах не обойтись без провозжатога, и проч., и проч.

Ландольт оделся тщательнее обычного — словно лакедемонянин, идущий в бой, даже продел в манжеты гранатовые запянки и взял в руку изящную трость с серебряным набалдашником. К его приходу Аглая тоже облеклась в изящнейший летний наряд: на ней было белое, вышитое фиалками платье и длинные перчатки тончайшей кожи. Но самым прекрасным ее украшением были лучистые глаза, сиявшие благодарностью, когда она подала Ландольту руку. Она очень

торопила его, словно ей не терпелось приступить к некоему важному делу.

Любуясь стройной девушкой, шедшей впереди него по узкой тропинке, Ландольт в душе благословлял прекрасное, увешанное дивными колокольчиками растение — аглею, которое привело его на столь милый ему путь. Легкий ветерок шумел в листве молодых буков, осенявших тропинку, и едва заметно шевелил кудри, ниспадавшие на шею и плечи Аглаи.

«А ведь чудесная вещь — пословицы! — сказал себе Ландольт. — Взять хотя бы «хорошо смеется тот, кто смеется последним», или «конец — делу венец».

В эту минуту Аглая обернулась и, так как дорога стала шире, пошла рядом с ним; она снова протянула ему руку, лучистые глаза наполнились слезами, и, вся зардевшись, она сказала:

— Благодарю вас за ваше благородное чувство и за доверие ко мне. Вы должны найти счастье, вы найдете его, и ваша судьба сложится несравненно лучше, чем если бы жребий сделать вас счастливым выпал мне! Знайте же: я сама во власти мучительно радостного чувства; человек, которого я горячо люблю, отвечает мне взаимностью, да — вам я могу это сказать — питает ко мне такую же любовь!

И взволнованными, дышащими страстью словами она рассказала ему о своей любви и о своих терзаниях: как, живя за границей, она полюбила некоего священника...

— Поп!.. — почти беззвучно произнес Ландольт и едва не споткнулся, хотя держал в руке трость с серебряным набалдашником и на тропинке не было ни одного камешка.

— О, не называйте его так! — умоляюще воскликнула Аглая. — Это изумительный человек! Смотрите — взгляните в глубины этих глаз.

Она выхватила спрятанный у нее на груди медальон и показала Ландольту хранившееся там изображение молодого человека в черном одеянии; у него были довольно правильные черты и действительно огромные черные глаза, какими некоторые художники паделяют Иисуса из Назарета. Пожалуй, можно было назвать их глазами Юноны. Но Ландольт, вперивший в изображение неподвижный взгляд, с горьким чувством в душе подумал: «Глаза коровы!». А когда Аглая снова спрятала медальон на белоснежной груди, ему почудилось что-то злорадное хихиканье, под стать пословице: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним!».

История, которую Аглая затем досказала Ландольту, в основном сводилась к следующему: подростком, чтобы дать ей хорошее образование, ее отправили в Германию, в город N, к близким родственникам. У них в доме она встрети-лась с одним священником, который, несмотря на свою мо-лодость, уже пользовался славой выдающегося проповедника. Хотя он придерживался строгого правоверия, однако распро-страненные в то время пистистские увлечения коснулись и его; о божественном и единоспасающем, о неисчерпаемых сокровищах любви и вечной отчизне человека он говорил так горячо и убежденно, что сам казался носителем и по-рукою благодати. Все это, вкупе с чарующими глазами свя-щенника, возбудило в юной, неопытной девушке неодолимое желание завладеть его сердцем, а силою богатой фантазии, все преображавшей, все озарявшей волшебным светом, это желание обратилось в горькую и сладостную пламенную страсть, которая с годами не ослабевала, а усиливалась. Страсть эта, естественно, вскоре выдала себя и, обитая в существе столь обворожительном, не могла не встретить пол-ную взаимность. Однако родственники, у которых жила Аглая, как и ее родители, по многим причинам противились этому браку, и чем тверже девушка становилась в своем ре-шении, тем значительнее становились и трудности на пути к осуществлению ее надежд и желаний, — пока наконец не прибегли к силе и не увезли ее домой.

Но Аглая обладала природной стойкостью, и препоны только усиливали ее страсть; она переписывалась с возлюб-ленным; внешне спокойная, она жила неугасимой надеждой, которая вновь разгорелась с небывалой силой, когда молодой священник, сопровождавший некую знатную особу в путе-шестве по Швейцарии, нашел случай повидаться с ней и даже был принят в доме ее родителей. Но, сколь надежными ли представлялись его положение и виды на будущее, дело не сдвинулось с места, родители упорствовали в своем со-противлении, вызванном тем, что они издавна лелеяли для дочери совершенно иные планы и столь же неуклонно, как ласково и заботливо, придерживались своих намерений.

Так обстояло дело, когда Аглая, непрестанно искавшая помощи, решила описанным выше окольным путем заручиться дружбой и содействием Соломона Ландольта, что ей и удалось.

Ландольт проводил ее до поместья, владельцев которого она хотела навестить, под вечер зашел за ней, и к тому

времени, когда они вернулись в дом ее родителей, она успела всецело привлечь его на свою сторону. Он поражался и восхищался этой самозабвенной любовью, какой никогда еще не встречал, более того — он даже проникся сочувствием к счастливому избраннику и считал своим долгом, своей обязанностью и большой честью для себя помочь прекрасной Аглае.

Прежде всего, доверительно переговорив с некоторыми влиятельными лицами, он сумел через их посредство преподать родителям Аглаи кое-какие советы и склонить их поновому взглянуть на вещи, затем и сам неоднократно беседовал с ее отцом и матерью; словом, не прошло и полугода, как он устранил все препятствия, и священник сочетался браком со своей нареченной. Мало того — своему другу Аглая была обязана тем, что могла пышно титуловаться: «госпожа консисторская советница» и «супруга господина придворного проповедника», так как, желая устроить ее как можно лучше, Ландольт побудил самых влиятельных и ученых лиц города Цюриха пустить в ход свои обширные связи.

Сердечное участие к Аглае он проявил и впоследствии, когда она, после четырех или пяти лет супружества, вернулась на родину печальною вдовой; к сожалению, оказалось, что необычайный блеск, излучаемый глазами ее мужа, отчасти был следствием предрасположения к чахотке, и жестокий недуг рано свел его в могилу. Кончину молодого священника еще ускорило недавнее его честолюбие; всю жизнь он гнался за мирскими почестями, высокими званиями, большими окладами, и никогда — ни до, ни после тех лет — не пришлось Аглае выслушивать такие сложные подсчеты доходов от должностей, десятин, треб, как за краткий срок ее супружества. Тем смиреннее и спокойнее она, казалось, проводила свои дни теперь, после его кончины.

Таковы были те пять женщины, предметы его пяти былых увлечений, которых ландфогт из Грейфейзе задумал пригласить к себе. Одни из них жили в Цюрихе, другие — в окрестностях этого города, и теперь требовалось только залучить их так, чтобы ни одна не проведала о приглашении остальных и каждая приехала без спутников, в надежде встретить у него приятное общество. Все это он обсудил с Марианной и сделал необходимые приготовления. Назначив

празднество на последний день мая, он тотчас разослал приглашения, которые все пятеро, ни о чем не подозревая, охотно приняли, так что дело пошло как нельзя лучше.

31 мая, едва забрезжило утро, Ландольт поднялся на самый верх сторожевой башни замка поглядеть, какая будет погода.

Небо было совершенно чисто, звезды угасали, на востоке уже аела заря. Ландольт приказал поднять на башне большой флаг Грейфензе с изображением грифа, готовящегося к прыжку, и, решив приветствовать красавиц громом орудий, распорядился поставить за крепостным валом две небольшие пушки. Для вящей уверенности в том, что дамы не встретятся в пути, Ландольт за каждой из них послал отдельную коляску. По его приказу вся челядь разоделась по-праздничному; но щеголеватее всех была его любимица Кокко, проказливая обезьянка, прошедшая к этому дню специальную выучку: она была наряжена седой старушкой, в чепце с пышным бантом, на котором красовалась надпись: «Я — время!».

В вестибюле замка стояла Марианна; как домоправительница, она облеклась в старинный тирольский наряд, являвший всю пышность национальных одежд католических стран; в подмогу ей ландфогт дал красивого четырнадцатилетнего мальчика, которого он сам разыскал в окрестностях и велел одеть камеристкой, чтобы прислуживать приезжим дамам.

Часов в девять утра грянул первый пушечный выстрел, и между деревьев и живых изгородей показалась коляска, в которой сидела Фигура Лей. Как только лошади остановились у ворот, обезьянка, держа в лапе большой букет душистых роз, прыгнула на сиденье и с уморительными ужимками сунула букет Фигуре. Та, мигом разгадав загадку, взяла Кокко на руки вместе с букетом и, выходя из коляски, довольным, веселым голосом спросила Ландольта, который со шпагой на боку и шляпой под мышкой приветствовал ее и предложил ей руку:

— Что здесь у вас происходит, что означает флаг на башне, пушечные выстрелы и розы, которые дарует время?

Она была ему милее всех и ни в чем не виновата перед ним; поэтому он посвятил ее в свою тайну и доверил ей, что сегодня у него встретятся все те, кого он некогда любил. Сначала Фигура покраснела, но, после минутного раздумья, лукаво улыбнулась.



— Вы озорник и проказник, — молвила она, — берегитесь, мы распием вас, а вашу обезьянку, *singe aux roses*<sup>1</sup>, зажарим вместе с ее розами, не правда ли, Кокко, маленький ландфогт?

Не успел Ландольт проводить ее в жилые покои, где Марианна и мнимая камеристка тотчас принялись ухаживать за ней, как снова грянули пушки и подъехали две коляски одновременно. Это прибыли Вендельгард и Саломея — Капитан и Щегленок. Каждая из них уже в пути с удивлением гадала, кто едет во втором экипаже, который все время следовал той же дорогой. Каждая знала о существовании другой и о том, чем та, другая, в прошлом была для ландфогта; они обменялись быстрыми, пытливыми взглядами; но тотчас прискакала Кокко с двумя букетами, а вслед за ней появился Ландольт и, предложив одной — правую, другой — левую руку, повел их в замок.

Тем временем Марианна успела присмотреться к Фигуре Лей; зная, что эта гостья ничем не грешна, она была с ней милостива и любезна; но тем ярче засверкали ее глаза, когда она увидела Саломею и Вендельгард; при появлении двух красавиц, некогда отступившихся от ландфогта, ноздри у нее раздулись, верхняя, покрытая темным пушком губа гневно задрожала, и только суровый взгляд хозяина заставил преданную служанку сдерживать себя и соблюдать учтивость.

Прибывшей вскоре после них Аглае были оказаны такие же почести, как ее предшественницам; но на нее ключница посмотрела особенно испытующе, так как еще не решила, простительно ли или непростительно то, что Аглая учинила с Ландольтом, желая заручиться его помощью в беде. Однако старуха, чуть слышно поворчав, сменила гнев на милость, приняв во внимание, что Аглая все же показала себя способной любить по-настоящему и стала женой того, кому отдала первое свое чувство.

Зато Малиновку, прибытие которой возвестил последний пушечный выстрел, Марианна едва удостоила взглядом — какое дело было ей до жалкой букашки, которая сперва осмелилась заигрывать с господнином ландфогтом, а потом вдруг смалодушничала?

Ландольт тотчас заметил, что хрупкая Малиновка, и без того оробевшая, растерявшаяся среди этих блистательных красавиц, насмерть испугалась старой гусарши; поэтому он

---

<sup>1</sup> Обезьянку с розами (*франц.*).

шепотом в немногих словах попросил Фигуру принять ее под свое особое покровительство, что та сразу и сделала.

Затем начались учтивы представления и взаимные приветствия; за исключением Фигуры Лей, каждая из приглашенных красавиц пристально, со всех сторон оглядывала других, тщетно слясь понять, для чего их тут собрали; все они, разумеется, уже знали друг друга с виду и по рассказам, не говоря уже о том, что Фигура и Вендельгард были в свойстве. Но веселость и приветливость Фигуры, как и радостное настроение самого ландфогта, сразу передались всем остальным. К тому же, чтобы предупредить натянутость, вскоре был подан легкий завтрак — чай и сладкое вино с печеньем. Марианна наливала, мальчик разносил бокалы и чашки, а гости с любопытством рассматривали все вокруг, в особенности — мнимую молодую камеристку, вызывавшую в них кое-какие подозрения. Позавтракав, они принялись разгуливать по залу, рассматривая его убранство, а затем снова стали украдкой поглядывать друг на друга. Тем временем Ландольт учтиво и приветливо заговаривал по очереди с каждой из приглашенных, с довольным видом обводя их глазами и сравнивая между собой, пока они мало-помалу не уяснили себе положение и не догадались, что попали в ловушку. Тут они стали попеременно краснеть и улыбаться и наконец засмеялись, но не успели ни слова сказать о причине своего смеха и об открывшейся всем им тайне, так как Ландольт неожиданно умерил их веселье, торжественным тоном попросив извинения за то, что ему придется на часок заняться служебными делами и в качестве судьи решить несколько тяжб. Все они, продолжал Ландольт, касаются маловажных проступков и споров между супругами; быть может, дамам будет интересно послушать разбирательство. Дамы с благодарностью приняли это предложение, и Ландольт повел их в зал, где они, наподобие присяжных, расположились на стульях по обе стороны его судейского кресла, а писец уселся за столик, помещавшийся перед ними, на самой середине комнаты.

Сторож ввел крестьянскую чету; супруги постоянно враждовали между собой, но ландфогту до сих пор не удавалось установить, на чьей стороне вина, потому что оба жалобщика наперебой осыпали друг друга упреками и обвинениями и каждый из них нещадно поносил другого. Совсем недавно жена швырнула мужу в голову миску горячей мучной похлебки; он получил тяжелые ожоги черепа, и

у него стали немилосердно лезть волосы. Стоя перед судьей, крестьянин поминутно в сильнейшей тревоге прикладывал руку к голове, но тотчас расклевывался в этом, так как всякий раз между пальцев у него оставался изрядный клочок волос. Однако жена потерпевшего начисто отрицала свою вину, утверждая, что муж в приступе бешеной злобы принял миску с похлебкой за свою меховую шапку и хотел нахлобучить ее себе на голову. Стараясь, по своему обыкновению, найти правильное решение, ландфогт велел вывести женщину из комнаты и обратился к мужу со следующими словами:

— Я знаю, что обиженный — ты, что ты — Иов много-страдальный, во всех этих дьявольских бесчинствах повинна твоя жена; поэтому я в будущее воскресенье прикажу посадить ее в клетку на городской площади, и ты сам будешь крутить ее на глазах у всей общины, покуда это тебе не надоеет и она не утихомирится.

Но крестьянин пришел в ужас и стал умолять ландфогта отменить приговор. Хоть баба и злющая, говорил он, все же она как-никак его жена, ему не пристало таким мапером выставлять ее на позорище; он покорнейше просит господина ландфогта крепко отчитать ее и этим ограничиться.

Тогда ландфогт приказал удалить мужа и снова привести жену.

— Муж ваш, — сказал он ей, — судя по всему, негодяй и сам себе ошпарил голову, чтобы погубить вас. Этим неслыханным злодейством он заслужил примерную кару, которую вы сами должны привести в исполнение. В воскресенье мы засадим его в крутильную клетку на городской площади, и вы можете крутить его на глазах у всех, сколько вашей душе угодно.

Услышав это, жена подпрыгнула от радости, поблагодарила господина ландфогта за мудрое решение и поклялась, что будет крутить мужа изо всех сил и не остановится, покуда не вытрясет из него душу.

— Теперь мы видим, в ком сидит дьявол, — сказал ландфогт и приговорил злую бабу к трехдневному заключению в башне, на хлебе и воде. Она обвела зал яростным взглядом и, увидя по обе стороны от себя испуганно смотревших на нее нарядных женщин с букетами роз, быстро, прежде чем ее взяли под стражу, показала им всем язык.

Затем появилась супружеская чета до крайности изможденного вида; они непрестанно грызлись между собой, сами не зная почему. Истинная причина несчастья заключалась

в том, что муж и жена с первого дня ни разу толком не поговорили между собой, не высказали друг другу, что у каждого из них на душе, — а это, в свою очередь, объяснялось полным отсутствием у обоих той внешней привлекательности, которая позволяет найти почву для примирения. Муж, занимавшийся портняжным ремеслом, воображал, что обладает высокоразвитым чувством справедливости, и, орудуя иглой, в то время как другие портные мурлычат песенку или придумывают веселые проказы, без усталости размышлял о своей правоте. Жена возделывала принадлежавший им клочок земли и, работая в поле, давала себе слово при следующей суре пи за что не уступить мужу; а так как оба были трудолюбивы, то ссориться они могли разве что за сдой. Но и это время им не удавалось использовать как следует, потому что с самого начала переналки они попадали своими тщательно заостренными стрелами мимо цели и увязали в неведомых им самим трясилах, где сражаться по правилам военного искусства уже было невозможно и голос замирал от бессильной ярости. При таком образе жизни пища не шла им впрок, они казались олицетворением бедствий и злосчастья, хотя, как уже сказано, все злосчастье их заключалось в том, что они были так бедны привлекательностью и поэтому беднее последнего нищего. Накануне муж дошел до такого иступления, что за едой вскочил с места и хотел уйти из-за стола. Но пуговицей жилета он зацепил дырявую скатерть и стащил ее на пол вместе с овсяным супом, миской капусты и тарелками. Жена подумала, что он учинил это безобразие нарочно, а портной, которого вдруг осенила блестящая мысль, твердо решил не разубеждать ее, думая этим упрочить свой авторитет и показать свою силу. Жена, со своей стороны, не намерена была дать ему потачку и пожаловалась на него ландфогту.

Тот допросил обоих; послушав их унылую, бестолковую грызню, он быстро уяснил себе причину их разлада и приговорил обоих к месячному тюремному заключению с употреблением «супружеской» ложки. По данному им знаку сторож снял этот предмет со стены, где он висел на железной цепочке. То была красиво вырезанная из липового дерева двойная ложка, с двумя выемками на одном черенке, причем одна из них была обращена кверху, другая книзу.

— Глядите, — сказал ландфогт, — эта ложка сделана из дерева липы, а она, как известно, охраняет любовь, мир и справедливость. Когда вы за едой будете передавать друг

другу эту ложку (второй вы не получите!), думайте о зеленой цветущей лиле: в ее ветвях поют птицы, над ней плывут облака, в тени ее листы отдыхают влюбленные, заседают судьбы и царит согласие!

Ложка была препоручена мужу; жена последовала за ним, утирая глаза фартуком, и бледная, тощая чета уныло направилась к месту своего назначения, откуда через месяц вышла примиренной, согласной и даже с легким румянцем на щеках.

После них, на сей раз прямехонько из тюрьмы, сторож ввел угрюмую тучную женщину, сердито озирающуюся во круг; ей, видимо, нездоровилось. То была жена сельского фогта, подговорившая мужа преподнести ландфогту телячий окорок; она думала этим задобрить начальника и достичь того, чтобы он смотрел сквозь пальцы на разные грешки. Жена сама явилась к Ландольту и, всячески подлизываясь, вручила ему подношение, а он распорядился посадить ее в башню и держать там, покуда она не съест весь окорок, который по его приказу изжарили для нее. Она, разумеется, постаралась справиться с жарким как можно скорее, и по ее лицу видно было, что ей сильно нездоровится. Ландфогт объявил ей, что к этому наказанию он приговорил ее за попытку совершить подкуп и еще наложит на нее штраф в двадцать пять гульденов за то, что она собственного мужа склонила к такому беззаконию; не довольствуясь этим, он еще и мужа приговорил к штрафу, тоже в двадцать пять гульденов, за преступное попустительство жене, а писцу велел немедленно запестить оба решения в протокол. Толстуха неуклюже поклонилась и вышла, обеими руками держась за живот.

Две сестры, весьма привлекательной наружности, обвинялись в том, что вводят в грех степенных, добропорядочных мужей, вносят в семьи разлад и несчастье и в довершение всего оставляют без всякой помощи и средств к жизни больную старуху мать, прикованную к постели. Вызванные на суд, они явились в роскошных, соблазнительных нарядах, затейливо причесанные, украшенные цветами; сладко улыбаясь, они бросали ландфогту пламенные взгляды. Угадав их дерзкие намерения, он быстро закончил допрос и велел вывести их из комнаты, а затем постановил: отрезать блудницам их прекрасные волосы, наказать обеих розгами и посадить за прятку, покуда они не заработают известной суммы на содержание матери.

После этого перед судом предстали два жалобщника-сектанта. В свое время они наотрез отказались принести ланд-

фогту обязательную для всех граждан присягу в верности родине и столь же упорно уклонялись от выполнения каких бы то ни было гражданских обязанностей. Глухие ко всем увещаниям и настояниям, они ссылались на свои религиозные убеждения и внутреннюю правоту. Теперь они явились с жалобой на бедняков, которые приходили на их лесные делянки и без зазрения совести таскали оттуда топливо.

— Кто вы такие? — спросил ландфогт. — Я вас не знаю.

— Как же так? — изумились они и назвали себя. — Ведь вы уже неоднократно вызывали нас и отряжали к нам рас-сылного с устными и письменными приказами!

— И все же я вас не знаю! — невозмутимо продолжал ландфогт. — Раз вы, как вы сами мне об этом напомнили, не признаете никаких гражданских обязанностей, я не могу защищать ваших прав. Идите и ищите их в другом месте!

Смущенные жалобщики тихонько вышли, решив усердным выполнением своих обязанностей заслужить признание своих прав.

Сходным образом, проявляя чрезвычайную находчивость, ландфогт решил еще несколько дел. Он улаживал неурядицы, наказывал виновных, причем заслуживает особого внимания, что, за исключением дела сельского фогта, виновного в подкупе, он не наложил ни единого штрафа и, следовательно, не нажил ни одного шиллинга, хотя фогты имели право обращать налагаемые ими денежные взыскания в источник дохода для себя, чем они нередко злоупотребляли. Поэтому ландфогт в качестве судьи пользовался доброй славой и у знатных господ и у простого люда. Его решения слыли «соломоновыми» в двойном смысле, а суд, состоявшийся в тот памятный день, люди потом еще долго, по аромату роз, наполнявшему зал, называли «благоуханным» судом ландфогта Соломона.

Ландольт был рад, что покончил с судебными делами, которые долго откладывал из-за приготовлений к сегодняшнему торжеству, куда поневоле не пришлось назначить их на этот самый день. Он предложил дамам прогуляться еще немного, подышать чистым воздухом перед обедом, который, прибавил он, все они, можно сказать, заслужили.

Очутившись в саду, над озером, в тесной своей компании, женщины вздохнули с облегчением: уж очень смутила их спокойная уверенность, с которой этот холостяк разбирался в супружеских неладах и выносил свой приговор. Та или иная из них, до сих пор, возможно, считавшая Лан-

дольта человеком недалеким, даже усиленно ломала себе голову над вопросом — что же он, в сущности, представляет собой. Но все они невольно отвлеклись от этих беспокойных мыслей, когда к ним вприпрыжку с жалостным видом приблизилась обезьянка Кокко, с которой забыли снять стеснявший ее наряд. Мордочку закрывал сбившийся набок чепец, который зверек тщетно пытался сбросить; лапки и хвост запутались в платье, и все усилия высвободить их были напрасны. Сострадательные гости избавили обезьянку от мучений, а она принялась развлекать их уморительными ужимками и проделками. Эта забава развеяла сомнения и печальные мысли, тревожившие их прелестные головки, и когда ландфогт в сопровождении двух слуг явился пригласить гостей к обеду, оказалось, что они весело смеются.

— Э! — вскричал он. — Люблю, когда к обеду призывает такой звон! Когда все вы разом смеетесь, кажется, что в церковке святой Цецилии зазвонили во все колокола! Чей чудесный альт слышится среди них? Ваш, Вендельгард? Чей голос звучит словно набат, вещающий, что сердце объято огнем? Ваш, Аглая? Приветный колокольчик, зовущий к поздней обедне, — он ваш, Саломея? Серебряный колоколец, будящий к заутрене, раскачивается в вашей пурпурной звоннице, Барбара Тумейзен! А кто, когда багрянеет закат, легкозвучно благовестит к вечерне? Уж это известно — мой Паяц, Фигура!

— Как это неучтиво, — зазвенели четыре остальных колокола, — называть одну из нас Паяцем!

Они и не подозревали, что всем им даны такие же прозвища: одна Фигура Лей знала свое и разрешила так называть себя.

Теперь тонкий ледок, сковывавший сердца, окончательно был сломлен; в огромные окна столовой, наполняя ее ослепительным светом, врвалась сверкающая лазурь небес и яркая синева озера, а когда взор устремлялся вдаль, его успокаивала сочная молодая зелень противоположного берега. Посреди комнаты на круглом столе нежными переливчатыми красками сияли весенние цветы, свет играл на хрустале, — ведь ландфогт, чтобы украсить стол по-праздничному, собрал все, что было лучшего и в его садах и в поставцах его предков. Шесть стульев с высокими спинками были поставлены вокруг стола на таком расстоянии один от другого, что каждый из сотрапезников мог расположиться удобно и без стеснения, видеть и соседа справа и соседа слева и вести с ними приятный разговор. Словом, пригла-

шенных разместили так, словно они владетельные князья, не хватало только отдельного буфета за каждым стулом. Но тем величественнее вырисовывался в глубине зала огромный старинный буфет, уставленный дедовской утварью.

Возле этого буфета, положив на него одну руку, другую упершись в бок, словно полководец перед сражением, стояла Марианна в ярко-красной юбке и черной бархатной кофте; на груди у нее, поверх пышного жабо, висело серебряное распятие, смуглая шея была перетянута ожерельем филигранной работы, на седеющих волосах красовался чепец из куницы. Опоясывавший ключицу белый передник указывал на ее должность. Но из-под черных густых бровей она водила по залу таким властным взглядом, словно была здесь хозяйкой.

Однако внушаемое ею почтение не могло заглушить уже проснувшуюся веселость, и пять женщин, сияя улыбками, разместились за столом по указанию ландфогта. По правую руку он усадил Фигуру Лей, по левую — Аглаю, напротив себя — предмет первого своего увлечения — Саломею, два оставшихся места заняли Барбара и Вендельгард.

Теплое, радостное чувство охватило ландфогта, когда он увидел всех их за своим столом, и он тотчас завязал оживленный разговор, искусно обращаясь во все стороны; благодаря этому он мог, не нарушая светских приличий, любоваться всеми ими, глядя, по своей прихоти, то на ближайших своих соседок, то на тех, кто сидел поодаль и насупротив.

Марианна, стоя у буфета, разливала суп; переодетый камеристкой мальчик, сын священника ближнего села, хорошо воспитанный и сметливый, разносил и ставил тарелки. Он имел вид восемнадцатилетней барышни, стыдливо потуплял глаза, когда с ним заговаривали, и в точности следовал всем указаниям Марианны, а сделав то, что ему было велено, молча становился возле двери; но когда ландфогт, подозвав мнимую девушку к себе, ласковым шепотом давал ей какое-нибудь поручение, мигом выполнявшееся, гости вновь и вновь с удивлением смотрели на камеристку, о которой никогда не слыхали, и украдкой бросали на нее испытующие взгляды. Впрочем, это не мешало им болтать без умолку; напротив, все громче и веселее становилась застольная беседа, и перезвон, которым восхищался Ландольт, звучал так дружно и радостно, как звучат колокола перед торжественным въездом римского папы.

И, словно после его въезда, на минуту стало тихо. Этим воспользовалась Вендельгард, чтобы расспросить о располо-



женин и размерах области Грейфензе; ей втайне очень хотелось узнать, какими благами она пользовалась бы, если в молодости вышла замуж за нынешнего ландфогта. Остальные дамы удивились тому, что она, цюрихская гражданка, не знает этих вещей. Ландольт объяснил ей, что последний из графов Тоггенбург заложил цюрихским властям за шесть тысяч гульденов крепость, городок и замок Грейфензе, но впоследствии не смог выкупить свои владения, и далее, что эта область невелика — в ней только двадцать одно селение. Впрочем, добавил он, городские здания и замок не являются памятниками далекого прошлого, а воздвигнуты на месте древних строений, в 1444 году, как известно, разрушенных конфедератами, которые общими силами воевали против Цюриха. Воскресив в памяти времена этой долгой братоубийственной войны, ландфогт с увлечением повествовал о гибели шестидесяти девяти воинов, которые в продолжение всего почти мая защищали крепость от неприятеля, осадившего ее превосходными силами; он рассказал, как в силу господствовавшего в то время в борьбе партий жестокого правила — под видом суда истреблять побежденных, чтобы действовать устрашением, — шестьдесят из этих храбрецов, когда они наконец сдались, были казнены на площади, во главе с доблестным своим вождем — Вильдгансом из Ланденберга. Но подробнее всего Ландольт рассказал о народном собрании, созванном на обширном поле под Кениконом, чтобы решить судьбу этих шестидесяти воинов. Красочно передавал он и защитительные речи людей справедливых, восхвалявших доблесть, с которой пленные выполнили свой воинский долг, и дышащие ненавистью речи людей мстительных, старавшихся злостными наветами запугать сторонников милосердия, — весь долгий страстный спор между теми и другими, происходивший в присутствии намеченных жертв и закончившийся смертным приговором для всех. Непостижимая беспощадность, проявившаяся в том, что при голосовании за смертную казнь высказалось подавляющее большинство; почему не был даже произведен подсчет голосов; немедленное вслед за этим появление палача, которого швейцарцы в походах того времени всегда брали с собой, как в наши дни при войске всегда находятя лекарь и священник; отчаяние дряхлых старцев, женщин, детей, моливших сохранить им жизнь, и непоколебимое жестокосердие большинства, во главе с Этелем Ридингом, — все это предстало в его изложении с потрясающей наглядностью. Затем он

поведал оцепеневшим от ужаса женщинам о ходе казни, о том, как предводитель цюрихского ополчения, желая подать своим воинам пример мужества перед лицом смерти, первым лег на плаху, чтобы никто не мог подумать, будто он надеется на отмену приговора или на какое-либо непредвиденное событие; как палач, сначала после каждой жертвы, затем — после каждых десяти жертв, прерывал свое кровавое дело и ждал помилования, более того — даже сам просил о нем, но неизменно получал один и тот же ответ: «Молчи — и казни!», пока шестьдесят невинных людей не были преданы смерти; самых последних палач обезглавил при свете факелов. В живых осталось лишь несколько подростков и дряхлых стариков, не столько благодаря милосердию народа, вершившего суд, сколько по недосмотру или по всеобщей усталости.

Добросердечные женщины почувствовали невыразимое облегчение, когда ландфогт на этом прервал свой рассказ; под конец они слушали, затанув дыхание; он так живо передавал события, что, казалось, вместо пышно убранного цветами и хрусталем стола, по которому скользят лучи весеннего солнца, перед ними — тонущее в ночном мраке поле и в багровом свете факелов — стоящие сомкнутым кругом разъяренные воины.

— Да, — сказал ландфогт, — жуткое это было зрелище, такой воинский совет, что бы он ни решал — выступить ли в поход, совершить ли казнь. Но сейчас, — продолжал он другим голосом, — пора оставить эти мрачные деяния и снова обратиться к нам самим. Милые мои дамы сердца! Я хочу просить вас, в свою очередь, образовать небольшой, но несравненно более мирный совет, устроить заседание и вынести решение о предмете, который близко касается меня и тотчас будет мною изложен, если вы не откажетесь ненадолго обратить на этот предмет слух, обитающий в столь очаровательных ушках. А пока — пусть удалится посторонняя публика, так как заседание будет тайным.

По его знаку ключница вышла вместе со своим адъютантом, а Ландольт, повысив голос и время от времени смущенно откашливаясь, продолжал говорить. Десять белоснежных ушек настороженно внимали ему.

— Сегодня я приветствовал вас, дорогие гости, пословицей: «Время дарует розы». И несомненно, она как нельзя более к месту, ибо время начертало перед моими глазами ту, составленную из пяти прелестных лиц, магическую пента-

грамму, в которой чудодейственная линия таинственно тянется от одной головки к другой, многократно скрещиваясь, вновь возвращаясь у каждой из них к своему началу и отворачивая от меня злосчастье!

Да, сколь милостивы были ко мне и судьба и время! Ведь если бы я женился на первой из вас, я никогда не узнал бы второй; удостой меня вторая своей руки, навсегда бы осталась неведомой мне третья и так далее, и на мою долю не выпало бы счастье владеть чудесным зеркалом, пятикратно отражающим воспоминания, не замутненные хотя бы легчайшим дуновением житейской действительности, не выпало бы счастье обитать в башне дружбы, стены которой сложены богами любви! Спору нет — те розы, что принесло мне время, — розы мудрого отречения, но зато они неуязвимо прекрасны! Все столь же юными и прелестными, в пышном цвету вижу я вас всех перед собой, и воистину — ни одну из вас, мнится мне, не поколебали и не согнули жизненные бури! И за это мы прежде всего поднимем бокалы. Да здравствуют сердца ваши и очи — Саломея, Фигура, Вендельгард, Барбара, Аглая!

Женщины встали, пылая румянцем, и, когда они чокались с ним, каждая подарила его чарующей улыбкой. Одна только Фигура сказала ему на ухо:

— Что это вы затеяли, плутишка?

— Тихо, Паяц! — шепнул он в ответ и, выждав, пока все снова заняли свои места, продолжал:

— Но отречение ненасытно, и когда оно уже не находит пищи, дело кончается тем, что оно отрекается от самого себя. Это может показаться дешевой игрой слов, а между тем как нельзя лучше определяет то затруднительное положение, в котором я силою обстоятельств очутился. Высокая должность, мною занимаемая, необходимость вести дом на большую ногу — все это не позволяет мне дольше оставаться неженатым; меня неотвязно уговаривают отказаться от холостой жизни, мне твердят, что человек, возглавляющий область, являющийся судьей и правителем, должен прежде всего сам быть примерным отцом семейства; приводят и множество других соображений, чтобы встревожить и убедить меня! Словом, мне не остается ничего другого, как отречься от служения сладостным воспоминаниям и покориться неизбежному. Но когда в поисках избранницы я гляжу вокруг себя, то, разумеется, о любви и сердечном влечении для меня не может быть и речи: все мои чувства навек прикованы

к пентаграмме; нет, путь к решению мне должен освещать холодный светоч необходимости и пользы общества. Стрелка весов колеблется между двумя достойными созданиями, и решение я поручаю вам, милые мои подруги! Некое духовное лицо, давно уже являющееся моим советчиком и хорошо знающее свет, сказало, что мне надлежит взять в жены либо многоопытную старуху, либо молоденькую девушку, но только не женщину средних лет. Я нашел и ту и другую и бесповоротно решил жениться на той из них, которую вы мне укажете. Старуха — ретивая моя ключница Марианна, которая до сих пор прекрасно вела мое хозяйство; правда, она грубовата и сварлива, но зато честна, добродетельна и как-никак была хороша собой, хотя и в давние времена; ей нужно только переменить фамилию — и все в порядке! Другая — та молодая девушка, что прислуживала за столом, дальняя родственница Марпанны, которая выписала ее себе на подмогу и на испытание. Судя по всему, она кроткого, покладистого нрава; бедна, но крепкого здоровья, правдива, бесхитростна. Больше я на этот счет ничего не скажу — вы меня понимаете! Так вот — взвесьте все, посоветуйтесь между собой, обменяйтесь мыслями, окажите мне эту милую дружескую услугу, а затем мирно произведите голосование; если окажется, что единодушия не достичь, вопрос решится большинством голосов. Я ухожу; вот вам колокольчик: когда решение состоится, позвоните как можно громче, я приду и приму свой приговор из ваших белоснежных ручек!

С этими словами, сказанными необычайно весело, он так быстро вышел из комнаты, что ни одна из женщин не успела что-нибудь сказать в ответ. Оторопев от неожиданности, сидели они, словно пятеро членов государственного совета, на своих стульях и молча переглядывались. Они были так изумлены, что ни одна не решалась заговорить. Наконец Саломея, первая придя в себя, воскликнула:

— Этого нельзя допустить! Если ландфогт хочет жениться, нужно найти невесту, которая была бы достойна его. Сейчас он человек с положением, и я быстро подыщу ему подходящую жену; но от такого безрассудства его нужно отговорить!

— Я тоже так считаю, — задумчиво сказала Аглая, — нужно выиграть время.

«Вот оно что! Ты, наверно, сама не прочь стать его женой, — подумала Саломея, — но из этого ничего не выйдет, уж я знаю, кого ему сосватать». Вслух она сказала:

— Да, прежде всего мы должны выиграть время. Давайте позвоним и скажем ему, что сейчас не вынесем решения, а отсрочим его!

Она уже взялась было за колокольчик, как вдруг самая младшая из всех, Барбара Тумейзен, отвела ее руку и громко вскричала:

— Я возражаю против отсрочки: он должен жениться, этого требует благопристойность, и я голосую за старуху; неприлично, чтобы в свои годы он женился на девчонке!

Тут вмешалась Вендельгард:

— Фи! Жениться на старой карге! Я голосую за молодую. Она очень мила, и он ее перевоспитает на свой лад, она, видать, скромница. А раз она бедна, — значит, век будет ему признательна!

Саломея и Аглая в один голос с раздражением возражали, что сейчас речь идет о том, выносить ли решение сегодня или отсрочить его. Барбара еще более резко заявила, что она за то, чтобы решить вопрос немедленно и в пользу старухи; если же все выскажутся за отсрочку — она оставляет за собой право сама выбрать среди целомудренных и добродетельных девиц города Цюриха наиболее достойную; в кругу дочерей священников найдется не одна, чьи нравственные качества и твердые жизненные правила окажутся весьма полезными для господина ландфогта, у которого все еще слишком веселый нрав и слишком необычайные причуды.

Разгорелся спор; все говорили разом, перебивая друг друга. Одна только Фигура все еще молчала. Она была очень бледна, сердце у нее сжималось так сильно, что она слова не могла вымолвить. Обычно она мигом разгадывала все веселые выдумки и проказы ландфогта; но именно потому, что он все еще был ей дорог, она эту шутовскую затею приняла за чистую монету и решила: наконец произошло то, чего она давным-давно желала для Ландольта и страшилась для себя. Однако ценою большого усилия она овладела собой и попросила слова.

— Дорогие подруги! — сказала она. — Я думаю, отсрочкой мы ничего не выиграем, напротив, я считаю, что сам он уже решил вопрос, притом — в пользу девушки, а нашего утверждения домогается из утонченной вежливости и по давнишнему своему пристрастию к веселым проказам. Я никогда в жизни не поверю, что он женится на Марианне, да и она, видно, не такого склада, чтобы дать ему согласие, — старуха слишком умна для этого! А если мы ничего не ре-

шим или, что сводится к тому же, откажем ему в милостивом согласии, которого он ожидает, то я уверена: он завтра же объявит нам свое собственное решение!

Подумав, женский совет признал это предположение весьма вероятным.

— В таком случае я предлагаю приступить к голосованию, — сказала Саломея. — Сколько ему сейчас лет? Никто не знает?

— Без малого сорок три, — отозвалась Фигура.

— Сорок три! — повторила Саломея. — Хорошо, я голосую за молодую.

— А я — за старуху! — вскричала дочь господина секретаря комиссии по делам о новообращенных, хрупкая Машиновка, проявлявшая в этом деле не меньшее упорство, чем некогда участники памятного, обгадившего себя кровью, народного собрания в окрестностях Грейффензе.

— Я голосую за молодую! — решительно заявила прекрасная Вендельгард, легонько стукнув рукой по столу.

— А я — за старуху! — неуверенно сказала Аглая, потупив взор.

— Значит, теперь у нас два голоса за молодую и два за старуху! — воскликнула Саломея. — Фигура Лей, тебе решать.

— Я за молодую, — молвила Фигура.

Саломея тотчас взялась за колокольчик и громко позвонила.

Минуты, предшествовавшие появлению Ландольта, прошли в глубокой тишине. Женщин волновали самые различные чувства. На ресницах Фигуры повисли крупные слезы — ведь она сжилась с мыслью, что Ландольт останется холостым, а теперь поняла, что бремя одиночества ей придется нести неразделенным. Скрыть свою скорбь ей удалось благодаря забавной выдумке Вендельгард, которая, прервав гнетущее молчание, заявила: прежде чем сообщить ландфогту решение, нужно предложить ему поцеловать старуху; отсюда он заключит, что женский совет высказался за Марианну, и по выражению его лица будет видно, в самом ли деле он намеревался жениться на ней. Предложение было принято, хотя Фигура резко возражала против него: она не хотела, чтобы ландфогт очутился в целовком положении.

В эту минуту отворилась дверь, и он вошел величавой поступью, ведя под руку Марианну, которая с уморительными ужимками раскланивалась на все стороны, расточая улыбки, словно хотела заранее расположить всех к себе. При этом, чтобы всласть себя потешить, она устремляла

пронизывающий взгляд то на одну, то на другую из прелестных судей, вызывая в них страх и угрызения совести. Наконец ландфогт сказал:

— С уверенностью предвидя, что мои советчицы укажут мне тот путь, который отвечает и велениям трезвого ума и моему почтенному возрасту, я привел избранницу с собой и готов тут же обручиться с ней!

Тут Марианна снова раскланялась на все стороны, а женщины, сидевшие вокруг стола, еще более смутились и притихли. Ни одна из них не решалась вымолвить хоть слово; ведь даже Аглая и Барбара, голосовавшие за старуху, побаивались ее. Одна только Фигура Лей, потрясенная мыслью о глубоком падении, которое означал бы для ландфогта брак с выдавшей вида старухой, матерью девятерых детей, поднялась и дрожавшим от негодования голосом молвила:

— Вы ошибаетесь, господин ландфогт! Мы решили, что вам следует жениться на юной родственнице этой достойной женщины, и надеемся, что вы с уважением отнесетесь к нашему совету, если только вы не задумали подшутить над нами.

— Боюсь, что дело обстоит именно так, — с улыбкой сказал ландфогт, подошел к столу и позвонил в колокольчик. Марианна громко расхохоталась, когда на зов Ландольта вошел — теперь уже в обычной своей одежде — подросток, изображавший камеристку, и был представлен дамам как сын священника села Фелланден.

— Поскольку мне запретили жениться на старухе, да и она, судя по ее смеху, не склонна к этому браку, а молодая в мгновение ока стала мальчиком, — я думаю, мы пока что оставим все как было! Простите мою дерзкую шутку и примите благодарность за доброе ко мне расположение, которое вы доказали тем, что не сочли меня недостойным теперь еще вступить в союз с молодостью и красотой! Но разве могло быть иначе, когда сами судьи являют образец вечной молодости и красоты?

С этими словами он поочередно подал всем им руку и каждую из них поцеловал в губы, и ни одна не отказала ему в этом. Фигура первая выразила овладевшую всеми веселость, радостно воскликнув: «Значит, он все-таки потешался над нами!».

Звонко щебеча, прелестная птичья стайка выпорхнула из замка на небольшую пристань, где их ожидала красивая лодка, украшенная шатром из зелени и множеством разноцветных флажков. Все было готово для увеселительной про-

гулки; двое гребцов взяли за весла, ландфогт сел у руля. Впереди, на некотором расстоянии, плыла другая лодка, где сидели музыканты, — то были стрелки Ландольтова полка, игравшие на валторнах. Духовая музыка сменялась пением женщин; их голоса звучали задумчиво и радостно, ведь теперь они знали, как милы они сидевшему у руля ландфогту, и вместе с ним наслаждались его тихим счастьем. Время от времени эхо доносило из лесов Цюрихберга едва слышимый отголосок музыки и пения, величавые снежные вершины Гларнских Альп отражались в застывшей зеркальной глади озера. Когда вечерний свет окутал все вокруг прозрачным золотистым покровом, а синие воды озера потемнели, ландфогт повернул лодку назад и причалил к пристани под стройные звуки песни, которую женщины допевали, сходя на берег.

В замке их дожидались четверо приятных молодых людей, которых Ландольт на этот вечер пригласил к себе. Состоялся небольшой бал; Ландольт сам прошелся в танце с каждой из тех, кого он некогда любил, и каждой из них дал в провозачье одного из юношей; сопровождать Фигуру Лей он поручил учтивому мальчику, который ранее изображал камеристку. При разъезде он снова велел палить из пушек, а когда стемнело — распорядился спустить флаг на башне.

— Ну что, Марианна, — спросил он ключницу, когда та принесла ему прохладительное питье на ночь. — Как вам понравился этот конгресс былых возлюбленных?

— Ах, клянусь всеми святыми! — вскричала она. — Вот уж никогда бы не поверила, что для такой потешной истории, как эти пять отказов, можно придумать такой приятный и умильный конец! Никто другой этого не сумел бы! Теперь на душе у вас стало покойно, насколько это вообще возможно на земле; истинный глубокий покой мы ведь обретаем лишь там, где все мои ангелочки!

Так совершилось это примечательное событие. Впоследствии полковник Ландольт был назначен ландфогтом области Эглизау на Рейне и жил там, пока должность ландфогта не была упразднена повсюду. Это произошло в 1798 году, когда вместе с древней федерацией рухнули и все отжившие феодальные установления. Ландольт был очевидцем того, как иноземные войска вторглись в его отечество, как французы, австрийцы и русские занимали горные кряжи и прекрасные долины, где он провел свои юные годы. Хотя в ту пору Ландольт уже не служил, он, однако, без усталости разъезжая верхом, всюду оказывал помощь и словом и делом. Но



среди бедствий и сүмятицы этих тяжелых времен он глазом художника улавливал тысячи образов, сменявшихся словно в горячечном бреде, и даже в разгар великих битв, происходивших в окрестностях его родного города, ничто от него не ускользало — ни зарево ночного пожара, ни скачущий в предрассветной мгле зорко вглядывающийся вдаль казак или мадьяр. Когда бушующие волны наконец улеглись, он вернулся к любимым своим занятиям — живописи, охоте, верховой езде, — часто переезжал с места на место и в 1818 году умер в замке Андельфинген, на реке Тур. О последних днях его жизни уже упомянутый нами биограф говорит:

В теплые летние дни он после полудня сидел один под сенью платанов, особенно во время жатвы, когда весь этот хлебородный край полон жнецов. Он любил смотреть на них с возвышенности, на которой стоит замок. Когда они пели за работой, он нередко, сорвав с дерева листик, тихо посвистывал на нем, вторя веселой песне, долетавшей до него из равнины, и нередко засыпал при этом, словно усталый жнец среди снопов. На семьдесят седьмом году жизни, поздней осенью, когда последний увядший лист упал на землю, он почувствовал приближение конца. «Стрелок метко нацелился», — сказал он, указывая на «смертеныша» из слоновой кости, унаследованного им от бабушки. Фигура Лей, скончавшаяся еще в конце минувшего века, выпросила у него эту изящную безделку, очень ее забавлявшую, как она уверяла. После ее кончины Ландольт опять взял «смертеныша» себе и поставил на письменный стол.

Марианна умерла в 1808 году, после долгих лет труда и ревностного выполнения долга; ее проводили с теми почестями, какие оказывают людям с положением.





## СВЯТОЙ РАСПУТНИК ВИТАЛИЙ

*«Избегай близких отношений с одной какой-нибудь женщиной, лучше препоручи господу богу весь слабый пол».*

Фома Кемпийский,  
Подражание, 8, 2<sup>1</sup>

# В

начале восьмого столетия в Александрии Египетской жил удивительный монах по имени Виталий, который поставил себе особой задачей уводить заблудшие женские души с тропы греха и возвращать их добродетели. Но путь, который он избрал для этого, был столь

<sup>1</sup> Фома Кемпийский (1380—1471) — средневековый мистик.

необычен, а увлечение, более того — страсть, с которой он неуклонно следовал намеченной цели, сочеталась с таким поразительным самоотречением и вместе с тем лицемерием, какие едва ли можно было встретить в целом свете.

У него был на изящном свитке пергамента точный список всех блудниц, и как только он обнаруживал в городе или его окрестностях какую-нибудь новую дичь, он тотчас же заносил имя и адрес в свой список, так что распутные сынки александрийских патрициев не могли бы найти лучшего проводника, чем усердный Виталий, если бы он пожелал преследовать менее святую цель. Однако, хотя монах и выманивал у них хитростью в шуточной беседе немало новых сведений и указаний по этой части, сорванцам этим никогда не удавалось выведать что-либо подобное у него самого.

Список этот он носил свернутым в серебряном футляре в своем капюшоне и бесчисленное число раз вынимал его, чтобы вписать только что открытое им легкомысленное имя или пересмотреть прежние, пересчитать их и прикинуть, которая из обладательниц — ближайшая на очереди.

Затем, разыскав ее поспешно и полупристыженно, он взволнованно говорил ей: «Подари мне следующую ночь после сегодняшней и не обещай никому другому!». Придя в назначенное время к ней в дом, он проходил мимо красотки в самый отдаленный угол комнаты, опускался там на колени и всю ночь горячо молился вслух за обительницу дома. На рассвете он покидал ее, строго запретив ей разглашать, что он у нее делал.

Он занимался этим уже немалое время и приобрел себе отвратительную репутацию. Ибо в то время как он тайно, за закрытыми дверями в жилищах блудниц, потрясал и трогал своими горячими, громовыми речами и трепетно-сладкими молитвами не одну заблудшую душу, которая после этого, погрузившись в самое себя, вступала на путь благочестивой жизни, на людях он как будто нарочно стремился прослыть развратным и грешным монахом, который весело барахтается в водовороте жизни, выставив напоказ свое духовное одеяние как знамя позора.

Если вечером, когда уже начинало темнеть, ему случалось быть в почтенном обществе, он восклицал как бы невзначай:

— Э, да что же я? Чуть было не забыл, что меня ждет смуглая Дорида, моя маленькая подруга! Тысяча чертей, я должен торопиться к ней, чтобы она не вздумала на меня сердиться.

Если при этом его корили, он восклицал, как будто рассерженный:

— Вы думаете, я из камня? Вы воображаете, что господь бог не создал женщин для монахов?

Если же кто-нибудь говорил: «Отец мой, сбросьте-ка лучше рясу и женитесь, чтобы не смущать других!» — он отвечал: «Кто хочет, пускай возмущается, пусть хоть головой об стенку бьется! Кто мне судья?».

Все это он говорил громогласно и весьма ловко разыгрывал из себя человека, который защищает дурное дело многословными и наглыми речами.

И он шел и ссорился у дверей этих девок с соперниками и даже дрался с ними, раздавая немало увесистых пощечин, когда слышал: «Долой монаха! Неужели этот поп оспаривает у нас место? Проваливай, лысый черт!».

И он был таким упорным и навязчивым, что в большинстве случаев победа оставалась за ним и он незаметно проскальзывал в дом.

А на рассвете, вернувшись в свою келью, он падал ниц перед богородицею, единственно во славу которой он и пускался на все эти приключения и принимал на себя хулу света, и если ему удавалось спасти заблудшую овечку и поместить ее в какую-нибудь святую обитель, он испытывал перед лицом царицы небесной большее блаженство, чем если бы обратил в христианскую веру тысячу язычников. Ибо он находил особую прелесть мученичества в том, чтобы казаться всему свету грязным развратником, в то время как пречистая дева, конечно, знала, что он никогда еще не прикасался к женщине и невидимо для других носил венчик из белых роз на своей терпевшей столько поношений голове.

Однажды он услышал об одной особенно опасной женщине, которая вследствие своей необычайной красоты натворила много зла и была даже причиной кровопролития, так как некий знатный и жестокий воин осаждал ее двери и укладывал на месте всякого, кто затевал с ним ссору. Виталий тотчас же вознамерился вступить в борьбу с этим исчадием ада и победить его. Он не стал вносить имя грешницы в свой список, а отправился прямо к ее дому и в самом деле столкнулся у двери с одетым в пурпур воином, который надменно прогуливался, держа в руке копьё.

— Проваливай, монашек! — насмешливо крикнул он благочестивому Виталию. — Как ты смеешь копошиться тут, возле моего львиного логова? Небо для тебя, а мир для нас!

— Небо и земля, — воскликнул Виталий, — купно со всем, что в них есть, принадлежат господу и его веселым слугам. Убирайся прочь, разряженный болван, и пусти меня, куда мне нравится идти!

Воин в гневѣ взмахнул древком своего копья, чтобы ударить им монаха по голове, но тот выхватил из-под рясы сук мирного оливкового дерева, отбил удар и угодил буяну в лоб с такой силой, что тот почти потерял сознание; после этого воинственный монах хватил его еще несколько раз по носу, пока солдат, совершенно оглушенный, не обратился с проклятиями в бегство.

Таким образом, Виталий победоносно проник в дом, где наверху узкой лестницы стояла женщина с лампой в руке, прислушиваясь к шуму и крикам. У нее была необыкновенно высокая и статная фигура, крупные, красивые, но своенравные черты лица, вокруг которого ниспадали, подобно львиной гриве, волны пышных рыжеватых волос.

С презрением взглянула она вниз на приближающегося Виталия и сказала:

— Куда ты?

— К тебе, голубка, — ответил он, — разве ты никогда не слыхала о нежном монахе Виталии, о веселом Виталии?

Но она грубо возразила, загораживая лестницу своей мощной фигурой:

— А деньги у тебя есть, монах?

Он ответил озадаченно:

— Монахи никогда не носят при себе денег.

— Тогда катись своей дорожкой, — воскликнула она, — иначе я велю выгнать тебя из дома горящими головнями!

Виталий, совершенно растерянный, почесал за ухом, так как о такой возможности он не подумал; создания, которых он до сих пор обращал на путь истинный, разумеется, потом уже не думали о греховном вознаграждении, а необращенные довольствовались наглыми словами по его адресу в наказание за потерянное из-за него драгоценное время. Здесь же он вообще не мог попасть внутрь, чтобы приступить к своему благочестивому делу, и все же его тянуло превыше всякой меры укротить именно эту рыжую дьяволицу; ибо статные, красивые человеческие создания всегда соблазняют чувства, заставляя приписывать им большую человеческую ценность, нежели они имеют в действительности. Он стал смущенно шарить в своем одеянии и наткнулся при

этом на тот самый серебряный футляр, украшенный довольно ценным аметистом.

— У меня ничего другого нет, — сказал он, — впусти меня за это!

Она взяла футляр, внимательно осмотрела его и затем пригласила монаха войти. Войдя в ее спальню, он даже не оглянулся на нее, а опустился по своему обыкновению на колени в углу и начал громко молиться.

Гетера, думая, что он, по обычаю духовного лица, и мирские свои дела собирает начать с молитвы, разразилась неудержимым хохотом и уселась на свое ложе, чтобы наблюдать за ним, потому что его жесты весьма забавляли ее. Но так как этому занятию, казалось, не предвиделось конца и оно уже начало надоедать ей, она бесстыдно обнажила плечи, подошла к нему, обвинила его своими белыми сильными руками и так крепко прижала бритую голову добряка Виталия к своей груди, что он едва не задохнулся и начал кряхтеть, как будто сидел в чистилище. Но очень скоро он стал брыкаться, как молодой конь в кузнице, пока не освободился от адеских объятий. Тогда он взял длинную веревку, которой был опоясан, и схватил женщину, чтобы скрутить ей руки за спиной и тем избавиться от ее домогательств. Однако ему пришлось довольно долго бороться с ней, пока удалось ее скрутить; он связал ей также ноги и одним резким движением швырнул ее, как мешок, на кровать. После этого он вернулся в свой угол и продолжал молитву, как если бы ничего не случилось.

Связанная львица сначала каталась в гневе и беспокойстве взад и вперед и, пытаясь освободиться, извергала тысячи проклятий; затем она понемногу стала затихать, в то время как монах, не переставая молиться, проповедовал и заклинал; и наконец под утро явственно послышались ее вздохи, за которыми вскоре последовали покаянные, казалось, рыдания. Короче, когда взошло солнце, она лежала у его ног кающейся Магдалиной, освобожденная от своих уз, и обливала слезами край его одежды. Радостно и гордо Виталий погладил ее по голове и обещал с наступлением ночи вернуться, чтобы сообщить ей, в каком монастыре он искал ей келью для покаяния. Затем он покинул ее, не забыв, однако, строго внушить ей, чтобы она тем временем не проронила ни словечка о своем обращении и, главное, чтобы говорила всякому, кто станет ее о том спрашивать, что он изрядно повеселился у нее.

Но как он испугался, когда, явившись в назначенный час, он нашел дверь наглухо запертой, между тем как жепщина, нарядная и в цовых украшениях, выглядывала из окна.

— Что тебе надо, поп? — крикнула она ему сверху, а он изумленно ответил вполголоса:

— Что это значит, моя овечка? Скинь с себя эту греховную мишуру ипусти меня, чтобы я подготовил тебя к покаянию.

— Ты хочешь войти ко мне, скверный монах? — сказала она с улыбкой, как будто не поняв его. — А есть ли у тебя при себе деньги или ценные вещи?

Виталий уставился на нее разинув рот; затем стал отчаянно трясти дверь, но она оставалась запертой, а женщина в окне тоже исчезла.

Хохот и проклятия прохожих прогнали наконец, казалось бы, распутного и бесстыдного монаха от этого дома с дурной славой, но все его помыслы и устремления были направлены на то, чтобы вновь проникнуть в тот же дом и любым способом одолеть лукавого, сидевшего в этой женщине. Поглощенный этой мыслью, он направил шаги свои к церкви, где вместо молитвы принялся обдумывать пути и средства, с помощью которых он мог бы получить доступ к этому погибшему созданию. В это время взгляд его упал на ларец, в котором хранились дары милосердия, и как только стемнело и опустела церковь, он сильным ударом кулака взломал ларец, высыпал его содержимое, состоявшее из кучи мелких серебряных монет, в подол своей рясы и поспешил проворнее влюбленного к жилищу грешницы.

Как раз в это мгновение какой-то разряженный щеголь хотел проскользнуть в открывшуюся дверь; Виталий схватил его сзади за надушенные кудри, вышвырнул на улицу и, ворвавшись внутрь, захлопнул дверь у него перед носом. Таким образом, через несколько секунд он опять стоял перед этой бессовестной тварью, которая сверкающими глазами взглянула на него, когда он появился перед ней вместо ожидаемого щеголя. Виталий же быстро высыпал украденные деньги на стол и сказал:

— Достаточно за эту ночь?

Молча, она тщательно пересчитала деньги, затем сказала: «Достаточно!» — и спрятала их.

И вот они стояли друг перед другом. Она, подавив смех, смотрела на него, как ни в чем не бывало, а монах смерил

ее неуверенным и сокрушенным взглядом, не зная, с чего пачать и как потребовать от нее ответа. Когда же она вдруг стала принимать соблазнительные позы и хотела коснуться рукой его темной бороды, все нутро священнослужителя возмутилось, он гневно ударил ее по руке, затем опрокинул ее с такой силой на кровать, что та задрожала, и, наступив ей коленом на грудь и крепко держа ее за руки, нечувствительный к ее прелестям, стал говорить так пропикновенно, что ее душа, казалось, наконец готова была выйти из своего оцепенения.

Ее судорожные попытки освободиться постепенно уступили место слезам, обильно струившимся по красному, крупному лицу, и когда ревностный священнослужитель, отпустив ее наконец, выпрямился у ее грешного ложа, это большое тело лежало перед ним распростертое и усталое, как будто раздавленное скорбью и раскаянием, а затуманенные слезами глаза были устремлены на него, словно изумленные этим невольным превращением.

Тогда и гроза его красноречивого гнева сменилась мягкой растроганностью и искренним состраданием. Он славил в душе своей небесную покровительницу, в честь которой он добился этой самой трудной из всех побед, и его речь зазвучала теперь примирением и утешением, как мягкий весенний ветерок пад сложенным льдом ее сердца.

Более радостный, чем если бы ему довелось вкусить величайшее наслаждение, он поспешил оттуда, но не для того, чтобы найти минуту покоя на своем жестком ложе, а чтобы молиться вплоть до наступления дня перед алтарем святой девы за бедную раскаявшуюся душу, ибо он дал обет не смыкать глаз, пока заблудная овечка не окажется в надежном укрытии, под защитой монастырских стен.

И действительно, едва наступило утро, он вновь направился к ее дому, но в ту же минуту увидел, что с другого конца улицы приближается свирепый воин, который — полупьяный после бурно проведенной ночи — возымел желание во что бы то ни стало снова овладеть гетерой.

Виталий находился ближе к злосчастной двери, он порвонно устремился к ней, чтобы скорее войти; тогда воин метнул в него свое копьё, которое вонзилось в дверь на волосок от головы монаха так, что древко задрожало. Но прежде чем оно перестало дрожать, монах с силой вырвал его из дерева, обернулся к яростно подскочившему с обнаженным



мечом вонну и молниеносно вонзил ему копьё в грудь; тот упал, пораженный насмерть, а Виталий был почти в ту же минуту схвачен, связан и отведен в тюрьму ночным дозором, оказавшимся свидетелем этого происшествия.

С искренней скорбью он оглянулся на домик, в котором уже не мог завершить свое благое дело; солдаты же подумали, что он жалеет лишь о своей неудаче, помешавшей ему осуществить греховное намерение, и осыпали несправедливого, по-видимому, монаха ударами и бранью вплоть до самой тюрьмы.

Там ему пришлось провести много дней, неоднократно представлять перед судьей, правда, в конце концов он был отпущен без всякого наказания, так как убил человека, защищая свою жизнь. Все же он вышел из этого дела убийцей, и все кричали, что его следует лишить духовного сана. Однако тогдашний епископ александрийский Иоанн, по-видимому смутно догадываясь об истинной сути дела или по каким-то высшим соображениям, отказался изгнать опозоренного монаха из духовного сословия и приказал предоставить ему покуда идти своим удивительным путем.

Этот путь незамедлительно привел Виталия опять к обращенной им грешнице, которая тем временем снова вернулась к прежнему образу жизни и не впустила испуганного и огорченного Виталия до тех пор, пока он опять не похитил и не принес ей какую-то ценную вещь. Она раскаялась и пережила обращение в третий раз и таким же образом в четвертый и пятый, так как находила эти обращения гораздо более доходными, чем все остальное, а кроме того, сидевший в ней бес испытывал дьявольское наслаждение, дурача бедного монаха все новыми хитростями и выдумками.

Виталий и в самом деле был теперь настоящим мучеником, ибо чем коварнее он бывал обманут, тем меньше он был в силах отказаться от своих стараний, и ему казалось, что спасение его собственной души зависит от исправления именно этой одной женщины. Сейчас он уже был убийцей, святотатцем и вором, однако он скорее готов был бы отрубить себе руку, чем поступиться хоть малейшей долей своей репутации развратника; и если на душе его становилось все тяжелее и тяжелее, то перед людьми он все более ревностно стремился поддержать непристойными речами дурное впечатление от своего поведения. Ибо таков был избранный им вид мученичества. Однако при этом он бледнел, и худел, и бродил как тень с неизменной улыбкой на устах.

Между тем напротив дома его испытаний жил богатый греческий купец. У него была единственная дочь по имени Иола, которая могла делать все, что ей заблагорассудится, и поэтому целый день не знала толком, чем заняться. Отец ее, ушедший на покой, проводил время за изучением Платона, а когда он уставал от этого занятия, то сочинял изящные двустиишия на античные камни, которых он собрал великое множество. Иола же, напротив, когда отставляла в сторону свою арфу, не находила своим живым мыслям никакого выхода и то нетерпеливо поглядывала на небо, то смотрела вдаль, если ей было куда смотреть.

Именно так она и обнаружила посещение монахом этой улицы и узнала, что за дела были здесь у этого печально знаменитого служителя церкви. Испуганно и робко она наблюдала за ним из своего надежного тайника и не могла не пожалеть о его статной фигуре и мужественном облике. Когда же она услышала от одной из рабынь, которая была дружна с рабыней коварной гетеры, как та обманывает Виталия и как обстоит с ним дело в действительности, она изумилась свыше всякой меры и, отнюдь не склонная восхищаться этим мученичеством, пришла в состояние необыкновенного гнева, считая такого рода святость оскорбительной для чести своего пола. Некоторое время она думала и грезила только об этом, и неудовольствие ее все росло одновременно с интересом к монаху, интересом, который как бы переплетался с ее гневом.

Внезапно она приняла решение: поскольку у девы Марии не хватило разума вернуть заблудшего на более пристойный путь, взяться за это самой и вмешаться в ее ремесло; она не подозревала даже, что сама уже тем самым является орудием божественного вмешательства. Она тотчас же пошла к своему отцу, стала горько жаловаться на неподобающее соседство гетеры и заклинала его немедленно, любой ценой, с помощью своего богатства удалить ее из этого дома.

Старик тотчас же отправился по ее указанию к этой особе и предложил ей за ее домик некоторую сумму, если она в тот же час покинет его и совсем выедет из этого квартала.

Той ничего лучшего и не надо было, и она в то же утро исчезла из этих мест, а старик засел опять за своего Платона и уже больше не интересовался этим делом.

Иола же с тем большим рвением принялась за уборку домика. Она велела вынести все, что могло напомнить о его прежней хозяйке, и когда он был чисто выметен и прибран,

окурить его благовониями так, что клубы ароматического дыма заструились из всех окон.

Затем она велела принести в пустую комнату только коввер, куст роз и лампу, и когда ее отец, ложившийся с заходом солнца, заснул, она сама отправилась туда с венком из роз в волосах и уселась одна-одинешенька на разостланном коввре, в то время как двое надежных старых слуг охраняли входную дверь.

Они отгоняли прочь всякого рода почных посетителей; напротив, едва завидев приближающегося Виталия, они скрылись, и Виталий без помехи прошел в открытую дверь. Вздыхая, он поднялся по лестнице, боясь оказаться вновь одураченным и надеясь вместе с тем, что его освободит наконец от этого бремени искреннее раскаяние создания, мешавшего ему спасти столько других душ. Но как он был изумлен, когда, войдя в комнату, обнаружил, что здесь и следа не осталось от мишурной обстановки этой дикой рыжей львицы, а вместо нее на коввре сидит грациозная и нежная фигурка, подле которой тут же на полу стоит розовый куст.

— Где та несчастная, которая жила здесь? — воскликнул он, с изумлением оглядевшись кругом и затем остановив свой взгляд на прелестном создании, которое находилось перед ним.

— Она ушла в пустыню, — ответила Иола, не подымая глаз, — там она собирается вести жизнь отшельницы и предаваться покаянию; нынче утром на нее вдруг нашло что-то такое, что сломило ее, как травинку, и совесть ее наконец пробудилась. Она звала какого-то священника Виталия, чтобы он поддержал ее. Но дух, вселившийся в нее, не позволил ждать долее: безумная собрала все свое добро, продала его и раздала деньги бедным, а затем, обрезав волосы, тотчас же отправилась в пустыню, одетая во власяницу, с посохом в руке.

— Слава тебе, боже, и твоей милосердной матери! — воскликнул Виталий, складывая руки в порыве радостного умиления. У него точно камень с души свалился, однако одновременно он внимательно посмотрел на девушку в венке из роз и сказал: — Почему ты сказала: безумная? И кто ты сама? Откуда ты, и что у тебя на уме?

Тут прелестная Иола еще ниже опустила свои темные глаза; она наклонилась вперед, и густая краска стыда залила

ее лицо, так как ей самой стало совестно тех дурных вещей, о которых она собиралась говорить при мужчине.

— Я покинутая всеми сирота, у которой нет ни отца, ни матери, — сказала она. — Этот ковер, эта лампа и этот розовый куст — последние остатки моего наследства; с этим я поселилась здесь, чтобы начать жизнь, которую оставила та, что жила здесь до меня.

— О, так ты!.. — воскликнул монах, всплеснув руками. — Посмотрите, как усердствует дьявол! И это вот безобидное создание произносит такие вещи так спокойно, как если бы я не был Виталием. Итак, моя кошечка, что ты собираешься делать? Повтори-ка еще раз!

— Я хочу посвятить себя любви и служить мужчинам, пока будет жить эта роза! — сказала она, легким движением указывая на куст. Но эти слова она едва могла вымолвить и так при этом съежилась от робости, что почти припала к полу. Эта естественная стыдливость превосходно помогла плутовке убедить монаха в том, что перед ним невинный ребенок, одержимый дьяволом и готовый очертя голову ринуться в бездну. Он погладил себе бороду от удовольствия, что подоспел так вовремя, и, чтобы продлить это удовольствие, произнес медленно и с усмешкой:

— А затем, моя голубка?

— Затем я, как всякая погибшая душа, отправлюсь в ад, к прекрасной госпоже Венере, или, быть может, если найду хорошего проповедника, пожалуй, пойду потом в монастырь каяться.

— Превосходно, час от часу не легче! — воскликнул он. — Да ведь это настоящий план военных действий, и неплохо задуманный! Что же касается проповедника, то он уже тут как тут, стоит перед тобой, мое маленькое черноглазое жаркое из адской кухни. И монастырь тебе уже стоит готовенький, как мышеловка, только туда нужно прогуляться, пока ты еще не нагрешила, понятно? Без всякого греха, если не считать одного только превосходного намерения, которое, однако, может доставить тебе восхитительный повод для раскаяния на всю жизнь и оказаться весьма полезным: потому что иначе, маленькая чертовка, ты была бы слишком забавной и непохожей на настоящую кающуюся грешницу. Ну, а теперь, — продолжал он серьезным тоном, — прежде всего — долой с головы эти розы, и затем слушай внимательно!

— Нет, — сказала Иола, немного осмелев, — сначала я послушаю, а потом посмотрю, снимать ли мне розы. Раз уж я преодолела свою женскую стыдливость, одних слов недостаточно, чтобы остановить меня, прежде чем я познаю грех, а без греха я не познаю и раскаяния. Подумай об этом, прежде чем будешь стараться. Но так или иначе, я готова выслушать себя.

Тут Виталий начал самую прекрасную проповедь, которую он когда-либо произносил. Девушка слушала его грациозно и со вниманием, и вид ее оказывал незаметно для него самого благотворное влияние на выбор его слов, так как красота и изящество предмета, который ему надлежало обратиться на путь истинный, как бы сами собой усиливали его красноречие. Однако, так как она ни секунды не собиралась всерьез осуществить намерение, которое она так кощунственно высказала, речь монаха не могла особенно потрясти ее: напротив, прелестная улыбка витала на ее устах, и когда он, окончив речь, полный ожидания, отер пот со лба, Иола сказала:

— Я только наполовину тронута твоими словами и не могу решиться на то, чтобы отказаться от своего намерения, потому что мне очень уж любопытно узнать, как живут в грехе и в радостях.

Виталий остолебенел, будучи не в силах вымолвить слово. Первый раз его искусство обращать грешниц потерпело такую полную неудачу. В раздумье, вздыхая, ходил он взад и вперед по комнате и затем снова оглядел эту маленькую кандидатку на адские муки. Казалось, в ней зловещим образом соединились, чтобы противостоять ему, дьявольская сила с силой невинности, но с тем большей страстью в нем вспыхнуло намерение все же одержать победу.

— Я не тронусь с места, — воскликнул он наконец, — пока ты не раскаяешься, даже если бы мне пришлось провести здесь три дня и три ночи!

— Это только увеличило бы мое упорство, — ответила Иола, — но я хочу иметь время для размышления и согласна опять выслушать тебя в следующую ночь. А сейчас уже близится рассвет, отправляйся своей дорогой, а я обещаю тем временем ничего не предпринимать по своему делу и пребывать в моем нынешнем положении; ты же взамен обещай нигде не упоминать обо мне и прийти сюда только глубокой ночью.

— Да будет так! — воскликнул Виталий и удалился, а Иола торопливо проскользнула обратно в отцовский дом.

Она проспала совсем недолго и с нетерпением стала ждать вечера, так как монах, вблизи которого она провела целую ночь напролет, понравился ей еще больше, чем издали. Теперь она увидела, какой огонь экстаза горел в его глазах и как решительны были все его движения, несмотря на монашеское одеяние. Когда же вдобавок ко всему она воочию представила себе его самоотречение, его упорство в достижении намеченной цели, она не могла не пожелать, чтобы все эти достоинства были обращены ей на пользу и на удовольствие, как украшения влюбленного и верного супруга. Поэтому ее задачей стало превратить доблестного мученика в еще более достойного семьянина.

На следующую ночь Виталий, явившись в назначенное время, опять застал ее сидящей на ковре и снова с неослабным рвением пытался спасти ее добродетель. Во время этого занятия ему приходилось подолгу оставаться на ногах, за исключением тех минут, когда он преклонял колени для молитвы. Иола же, напротив, устроилась поудобнее; откинувшись на ковре, она закинула руки за голову и не сводила полузакрытых глаз с монаха, который стоял перед ней и проповедовал. Несколько раз она закрывала глаза, как бы охваченная дремотой, а Виталий, как только замечал это, толкал ее ногой, чтобы разбудить. Но эта суровая мера всякий раз оказывалась более мягкой, чем он имел в виду: потому что, едва приблизившись к стройному телу девушки, его нога сама собой умеряла свою тяжесть и только слегка касалась ее хрупкого тела; и все же, несмотря на это, странное чувство наполняло с ног до головы этого долговязого монаха, чувство, которое никогда даже отдаленно не возникало у него прежде, когда он находился у всех прочих прекрасных грешниц.

К утру Иола все чаще начинала дремать; наконец Виталий недовольно воскликнул:

— Дитя, ты ничего не слышишь, тебя не добудиться, ты погрязла в лени!

— О нет, — отвечала она, внезапно открывая глаза, и сладостная улыбка мелькнула на ее лице, как если бы на нем показался уже отблеск приближающегося дня. — Я все хорошо поняла, я ненавижу теперь этот несчастный грех, который стал мне в особенности отвратителен, потому что

вызывает твой гнев, милый монах, ибо мне не может более нравиться то, что не нравится тебе.

— В самом деле? — воскликнул он радостно. — Значит, мне все же удалось это? Ну, тогда идем тотчас же в монастырь, чтобы мне быть спокойным за тебя. На этот раз будем ковать железо, пока оно горячо.

— Ты меня не так понял, — отвечала Иола и снова, краснея, опустила глаза. — Я влюблена в тебя и почувствовала к тебе нежное влечение.

Виталию показалось, будто чья-то рука мгновенно ударила его в сердце, однако он не испытал при этом никакой боли. Со стесненным чувством стоял он перед ней, широко раскрыв рот и глаза.

Иола, краснея еще больше, продолжала тихо и мягко:

— Теперь ты должен своими речами исцелить и прогнать это новое наваждение, чтобы совсем освободить меня от зла, и я надеюсь, что это тебе удастся.

Не говоря ни слова, Виталий повернулся и выбежал из дома. Он бежал куда глаза глядят, в серебристый предраусветный сумрак, вместо того чтобы вернуться на свое ложе, и размышлял, следует ли раз навсегда предоставить эту подозрительную молодую особу ее судьбе или попытаться выбить из нее и эту последнюю причуду, которая казалась ему самой серьезной из всех и не совсем безопасной для него самого. Но при мысли, что и для него она могла бы оказаться опасной, густая краска гнева и стыда залила его лицо; однако тут же ему пришло в голову, что, быть может, это бес расставил ему свои сети, а если так, то самое лучшее — вовремя бежать. Но обратиться в бегство перед таким ничтожным призраком бесовского наваждения? А что, если бедное созданище в самом деле не думало ничего дурного и ее можно было бы излечить от ее последней неподобающей фантазии несколькими сильными, резкими словами? Короче, Виталий не мог ни на что решиться, тем более что где-то в глубине его сердца смутное волнение уже покачало челнок его разума.

Поэтому в своем смятении он укрылся в маленькой часовенке, где незадолго до того была поставлена прекрасная древняя статуя Юноны, теперь украшенная золотым сиянием, как изваяние девы Марии, чтобы уберечь от разрушения этот божественный дар искусства. Перед этой Марией он упал на колени и, пламенно поведав ей свои сомнения, просил свою госпожу о знаменнии. Если она кивнет ему, он

завершит обращение грешницы, если покачает головой в знак несогласия — он отступится от этого намерения.

Но статуя оставила его в мучительном неведении, не сделав ни того, ни другого, — она не кивнула и не покачала головой. Только когда красноватый отблеск плывущих мимо утренних облаков пробежал по мрамору, на лице ее как будто показалась прелестная улыбка: то ли это напомнила о себе прежняя богиня — защитница семейных добродетелей, то ли новая усмехнулась затруднительному положению своего почитателя; ибо в конце концов обе они были женщины, а у женщин всегда появляется улыбка, когда затевается какая-нибудь любовная история. Но Виталий не стал от этого умнее, напротив, от красоты этого зрелища ему стало еще более не по себе; мало того — ему странным образом показалось, что статуя приняла черты Иолы, когда та, краснея, требовала, чтобы он изгнал из ее сердца любовь к нему.

Между тем в это самое время отец Иолы бродил под кипарисами в своем саду; он приобрел несколько очень красивых камней, которые и подняли его на ноги в столь ранний час. С восхищением рассматривал он их, играя ими в лучах восходящего солнца. Тут был темный, как ночь, аметист, на котором луна гнала по небу свою колесницу, не подозревая, что сзади взгромоздился амур, а порхавшие вокруг амурчики кричали ей по-гречески: «Там сзади кто-то сидит!». Великолепный оникс изображал Миперву, которая в своей задумчивости не замечала, что сидящий у нее на коленях амур усердно полирует рукой ее панцирь, чтобы смотреться в него, как в зеркало. Наконец, на карнеоле амур в виде саламандры плясал в священном огне, приводя в ужас и смятение охранявшую его весталку.

Эти сцены вдохновили старика на несколько двустижий, и он уже обдумывал, за какое из них взяться сначала, когда в саду показалась его дочка Иола, бледная от бессонной ночи. Удивленный и обеспокоенный, он окликнул ее и спросил, что лишило ее сна. Но, прежде чем она успела ответить, он показал ей свои сокровища и объяснил их значение.

Тогда она испустила глубокий вздох и сказала:

— Ах, если все эти высшие силы — само целомудрие, разум и религия — не могут уберечься от любви, как же мне, бедному, ничтожному созданию, противостоять ей?

Эти слова удивили старика не на шутку.

— Что я слышу? — воскликнул он. — Неужели тебя сразила стрела всеильного Эрота?



— Она пронзила меня, — ответила Иола, — и если по прошествии суток я не буду обладать человеком, которого люблю, я умру.

Хотя отец и привык потворствовать ей во всех ее желаниях, все же такая поспешность показалась ему несколько чрезмерной, и он призвал дочь к спокойствию и рассудительности. Но в последней у нее отнюдь не было недостатка, и она так умело применила ее, что старик воскликнул:

— Значит, я должен выполнить самую тягостную из отцовских обязанностей — побегать за этим человеком, за твоим избранником, привести его за нос к самому лучшему, что у меня есть, и никак не просить его вступить во владение этим. Вот тебе, дескать, хорошенькая молодая женщина, сударь мой, будь так добр, не побрезгуй ею! По правде сказать, я предпочел бы дать тебе несколько пощечин, но тогда дочурка умрет, и мне приходится быть вежливым. Итак, благоволи снизойти до нее, полакомись, ради бога, кусочком, который тебе предлагают. Он, право же, неплохо испечен и растает у тебя во рту.

— От всего этого мы избавлены, — сказала Иола, — потому что, если ты только позволишь, я надеюсь повести дело так, что он сам придет свататься за меня.

— А что, если потом этот он, которого я совсем не знаю, окажется бездельником и плутом?

— Тогда он будет выгнан с позором! Но он святой!

— Ну, тогда иди и предоставь меня музам! — сказал добрый старик.

С наступлением вечера, быстрее, чем ночь приходит за сумерками, Виталий вслед за Иолой появился в знакомом домике. Но таким он еще ни разу не входил сюда. Сердце его билось, и он теперь чувствовал, что значит увидеть вновь создание, которое выкинуло такую штуку. По лестнице подымался уже не тот Виталий, который утром спускался по ней, хотя сам он менее всего сознавал это, так как бедный исправитель грешниц и столь дурно ославленный монах не знал даже разницы между улыбкой блудницы и честной женщины.

И все же он шел по-прежнему с твердым намерением выбить паконеец все ненужные мысли из головки этого маленького чудовища; ему только казалось, что потом, после удачного завершения своего дела, он, пожалуй, мог бы позволить себе небольшую передышку в своей деятельности мученика, так как она пачала уже утомлять его.

Но так уж было суждено, что в этом заколдованном жилище ему были уготованы каждый раз новые неожиданности.

Когда он на этот раз вошел в комнату, она была убрана самым изящным образом и обставлена со всеми возможными удобствами. Тонкий, ласкающий аромат цветов наполнял ее и настраивал на светский, но вместе с тем скромный лад; на белоснежном ложе, на атласе которого не было заметно ни малейшей складочки, сидела Иола в роскошном уборе, погруженная в сладостно-скорбную меланхолию и похожая на задумавшегося ангела. Ее грудь вздымалась под красивыми складками одежды, подобно буре в чаше с молоком, и хотя ее белые руки, сложенные на груди, были ослепительно прекрасны, все ее прелести выглядели такими пристойными и дозволенными, что обычное красноречие Виталия застряло у него в горле.

— Ты изумлен, прекрасный монах, — начала Иола, — найдя здесь это убранство и роскошь! Знай же, это мое прощание с миром, и вместе со всем этим я хочу одновременно сбросить с себя и влечение, которое я, к сожалению, испытываю к тебе. Но в этом ты должен помочь мне по мере своих сил и тем способом, который я придумала сама и как я потребую от тебя. А именно: когда ты обращаешься ко мне в этом одеянии и как духовное лицо, то это все одно и то же, и повадки монаха не могут убедить меня, так как я принадлежу миру. Монах не может исцелить меня от любви, так как сам он ее не знает и не понимает, о чем говорит. Поэтому, если ты действительно хочешь даровать мне покой и обратить мои помыслы к небу, пойдй вон в ту комнату, где приготовлена светская одежда. Смени на нее свое монашеское одеяние, нарядись как мирянин, а затем садись со мной за скромную трапезу и в этом светском положении напряги всю свою пронизательность и ум, чтобы оттолкнуть меня от себя и обратить к божеству.

Виталий ничего не отвечал на это и пребывал некоторое время в раздумье; затем он решил покончить разом со всеми трудностями и в самом деле победить беса мирских соблазнов его собственным оружием, согласившись на необычное предложение Иолы.

Итак, он действительно направился в смежную комнату, где его ждали слуги с великолепными одеждами из льна и пурпура. Едва надев их, он стал казаться выше на целую голову. С благородной осанкой и достоинством он вошел в

Иоле, которая впилась в него глазами и радостно захлопала в ладоши.

И тут с монахом произошло настоящее чудо и странное превращение: ибо не успел он оказаться в своем светском наряде рядом с прелестной женщиной, как недавнее прошлое словно улетучилось из его сознания, и он совершенно забыл о своем намерении. Не произнося ни слова, он жадно прислушивался к словам Иолы, которая взяла его за руку и рассказала ему свою истинную историю: кто она такая, где живет и как страстно желает, чтобы он оставил свой необычный образ жизни и просил у отца ее руки, дабы стать добрым семьянином, угодным господу богу. Она говорила еще много всяких удивительных вещей и красивых слов о счастливой и добродетельной любви, а в заключение сказала со вздохом, что она хорошо понимает, насколько тщетна ее страсть, и что теперь он должен постараться выбить у нее из головы все эти вещи, но прежде пусть он подкрепит себя для этого как следует яствами и питьем.

Тогда по ее знаку слуги внесли и поставили на стол соуды с напитками и корзинку с печеньем и фруктами. Иола налила притихшему Виталию чашу вина и так ласково предлагала ему поесть, что он почувствовал себя как дома и ему почти что вспомнились его детские годы, когда его, маленького мальчика, заботливо кормила мать. Он выпил и поел, а после этого ему показалось, что нужно прежде всего отдохнуть после долгой работы; и вдруг мой Виталий склонил голову пабок, наклонился к Иоле и сразу заснул и проспал до восхода солнца.

Когда он проснулся, он был один, вокруг не было никого. Он поспешно вскочил и испугался, увидев свой блестящий наряд; он помчался через весь дом, обошел его сверху донизу в поисках своей рясы, но нигде не нашел и следа ее, пока не увидел в маленьком дворике кучку углей и золы, на которой лежал полусожженный рукав его монашеского одеяния, из чего он вполне основательно заключил, что последнее было здесь подвергнуто торжественному сожжению.

Осторожно высунул он голову сначала в одно, потом в другое отверстие, выходящее на улицу, каждый раз отшатываясь, когда кто-нибудь приближался. Наконец он бросился на шелковую постель так легко и непринужденно, как будто никогда не отдыхал на жестком монашеском ложе; затем опять вскочил, привел в порядок свою одежду и взволнованно подгрался к входной двери. Там он помедлил еще

мгнутку и вдруг, широко распахнув дверь, гордо и с достоинством вышел на улицу.

Никто не узнал его. Все считали, что это какой-нибудь важный чужестранец, который приехал, чтобы весело провести несколько дней здесь, в Александрии. Он же не смотрел ни направо, ни налево, иначе бы он увидел Иолу, сидящую на крыше своего дома. Так он пошел прямою дорожкой к своему монастырю, где между тем все монахи вместе с настоятелем только что порешили изгнать его из своей среды, ибо мера его грехов переполнилась и они считали, что он приносит церкви только позор и ущерб. Когда же они увидели его в светской нарядной одежде, это было последней каплей, переполнившей чашу их терпения; они окропили и облили его со всех сторон водой, а затем крестами, метлами и вилами выгнали его из монастыря.

В другое время такое грубое обращение было бы для него высшим наслаждением и триумфом его мученичества. Теперь, хотя он тоже внутренне смеялся, но уже совсем по-другому. Он обошел еще раз вокруг городских стен; плащ его развевался по ветру; чудесный аромат доносился из-за сверкающего моря, от святой земли, но душа Виталия все более наполнялась мирскими мыслями, и невольно он вновь направил свои шаги к шумным улицам города, пошел дом, где жила Иола, и исполнил ее желание.

Теперь он стал таким же превосходным и безупречным светским человеком и семьянином, как прежде был мучеником; церковь же, узнав об истинном положении вещей, была безутешна, что от нее отошел такой святой, и употребила все, чтобы вернуть беглеца в свое лоно. Но Иола держала его крепко и считала, что ему совсем у нее неплохо.



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Левингтон. Повеллы Готфрида Келлера . . . . .</i>	3
<i>Сельские Ромео и Джульетта. Перевод А. Ариан . . . . .</i>	17
<i>Три праведных гребенщика. Перевод Л. Шапориной . . . . .</i>	82
<i>Сказка про котика Шпигеля. Перевод А. Кумишер . . . . .</i>	121
<i>Ландфогт из Грейфензе. Перевод А. Кулишер . . . . .</i>	156
<i>Святой распутник Виталий. Перевод Н. Сигал . . . . .</i>	237

### *Готфрид Келлер*

#### НОВЕЛЛЫ

Редактор Б. Томашевский

Художественный редактор Л. Чалова

Технический редактор В. Алексеева

Корректор В. Урес

Сдано в набор 13/1 1969 г. Подписано к печати 23/III 1970 г. Тир. бум.  
№ 1. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. 8 печ. л. 13,44, усл. печ. л. Уч.-изд. л. 14,399.  
Тираж 50 000 экз. Заказ № 32. Цена 61 к.

Издательство «Художественная литература» Ленинградское отделение,  
Ленинград, Невский пр., 28

Средна Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2  
имени Евгении Соколовой Главполиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР, Измайловский пр., 29